

● **ГАРИКА С ГУБЕРМАНОМ "ПРОГУЛКИ ВОКРУГ БАРАКА" –**

лагерная проза автора знаменитых "Еврейских дацзыбао"

● **ЭТОТ ЧЕЛОВЕК МОИСЕЙ –**

Зигмунд Фрейд о становлении еврейского монотеизма

● **РОССИЯ, МАРКСИЗМ И ГОРБАЧЕВ –**

продолжение очерков Александра Этермана

● **РОКОВЫЕ ЯЙЦА –**

Майя Каганская о последних произведениях братьев Стругацких

● **ЧУВСТВО РОССИИ –**

из писательского дневника Василия Аксенова

● **ЗВЕЗДА ДАВИДА: ИСТОРИЯ СИМВОЛА –**

историческое эссе Гершона Шолема

55

22

МИШУА И ДАВИД

MI

№ 55

# ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле  
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год*

## 55

*август-сентябрь 1987*



*издание общественного культурного фонда  
"МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"  
под покровительством израильского комитета ученых  
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

- 4 *СЕРГЕЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ*. Великий исход (субъективная реконструкция)  
13 *ВЛАДИМИР ТАРАСОВ*. Стихи  
17 *ДМИТРИЙ АКСЕЛЬРОД*. Братья Крошовские  
26 *ИГОРЬ ГАРИК (ГУБЕРМАН)*. Прогулки вокруг барака  
65 *ЮРИЙ КОЛКЕР*. Из книги "Кентавромахия" (стихи)  
68 *ВЛАДИМИР МАТЛИН*. Миндаль в шоколаде

### ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ

- 80 *ЗИГМУНД ФРЕЙД*. Это человек Моисей (продолжение)

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 119 *АЛЕКСАНДР ЭТЕРМАН*. Истина с близкого расстояния (о черк в торой)

### СУДЬБЫ ИДЕЙ

- 136 *ПИТЕР БЕРГЕР*. Демократия — для всех?

### ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 148 *ГЕРШОМ ШОЛЕМ*. Звезда Давида: история символа

### РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

- 167 *МАЙЯ КАГАНСКАЯ*. Роковые яйца, или о причинах упадка российской научной фантастики

### ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

- 187 *ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ*. Чувство России (из "Радиодневника писателя")

### ЛЮДИ И КНИГИ

- 194 *РАФАИЛ БЛЕХМАН*. Все, что вы хотели узнать об антисиионизме...  
198 *ШМУЭЛЬ ШНИЦЕР*. Свидетельство еврейской стойкости  
199 Краткая еврейская энциклопедия на русском языке (интервью с редакционным коллективом)

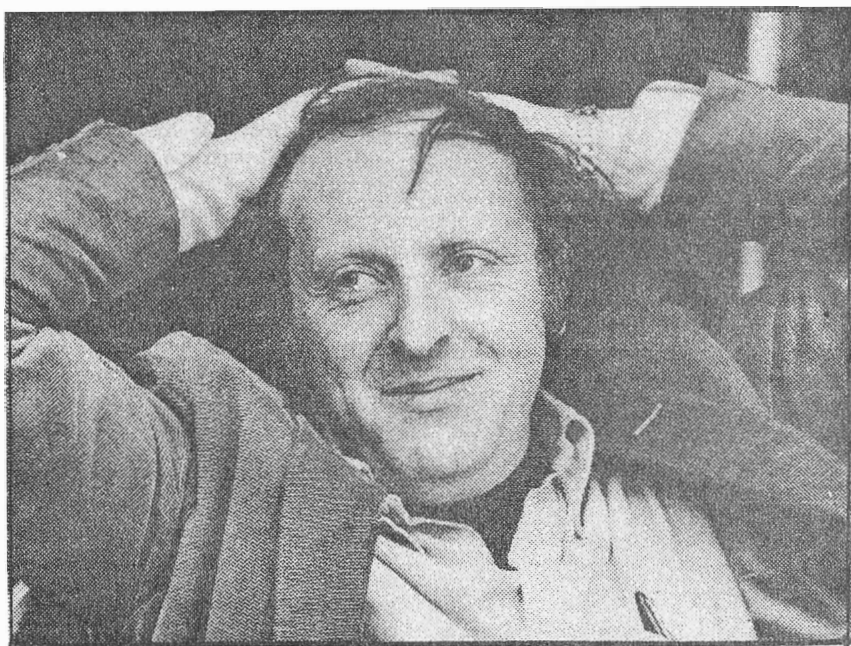
### ВОСПОМИНАНИЯ

- 210 *РИВКА ТАГЕР*. Расправа

### ЮБИЛЕЙНОЕ-ИРОНИЧЕСКОЕ

- 218 Юрию Любимову — 70 лет (отрывки из капустника)

*На последней странице обложки — Ида Нудель, Владимир Слепак, Виктор Брвиловский.*



**Редколлегия и авторы журнала "22" поздравляют Иосифа Бродского с присуждением Нобелевской премии.**

## ЛИТЕРАТУРА

Время и место действия — Египет XIV века до н. э., конец XVIII династии, правление царя Эйе.

Внутренний дворик в очень богатом столичном доме. Он перекрыт балками с густо вьющимся по ним виноградом. Прямо перед нами неровная глиняная стена, побеленная известкой. По ее верху идет ярко раскрашенный фриз, изображающий разных птиц, летающих и плавающих среди тростников. В середине стены — узкая дверь, завешенная пестрой тканью.

Боковые стены прорезаны плоскими прямоугольными нишами. В них стоят высокие деревянные подставки для статуэток богов. Все боги сняты, и на их месте — бронзовые вазы причудливой формы. Глиняный пол устлан циновками. Посередине — маленький столик, два кресла и низкая лежанка. Мебель богато украшена светлым золотом и синим фаянсом.

Входят двое.

**П е р в ы й** — крепкий человек среднего роста. Он уже очень стар, но это заметно только по легкой сутулости фигуры да по совершенно белым кудрявым волосам и бороде, отпущенной вопреки обычаю. Он одет в длинный шерстяной плащ с темной каймой по краю. Полное лицо почти без морщин, характерного египетского склада. Большой приплюснутый нос, толстые, очень яркие губы. Возможно даже, что они подкрашены. Удлиненные глаза с коричневыми веками. Это хозяин дома.

**В т о р о й** — на вид лет пятьдесят пять. Его внешность и костюм, в отличие от Первого, подчеркнута традиционны. Гладко выбритое лицо выражает властный характер. Сейчас оно выражает также и раздражение. На Втором тяжелый

*Сергей Хмельницкий*

### ВЕЛИКИЙ ИСХОД

Субъективная реконструкция

воротник, разноцветные кольца которого спускаются на ожиревшую грудь, накрахмаленный и топорщащийся набедренный, и длинный парик, который он скоро снимет.

Он занимает высокое общественное положение и привык к почету, поэтому его раздражает тон собеседника. Впрочем, он старается скрыть раздражение.

Они пришли сюда из сада, спасаясь от жары.

Продолжается разговор.

**В т о р о й :** Не понимаю тебя. И никогда не понимал, как и все нормальные люди... Я напрасно теряю с тобой время, нужное для дел государства. Я второй день стараюсь добиться толку от тебя. Не хочешь говорить со мной — не надо. Но ты затеял плохое дело. Царь, мой владыка, еще верит мне, и нити моей воли далеко тянутся. Ты никуда не уйдешь.

**П е р в ы й** (очень спокойно) : Как ты разговариваешь со старшим братом, свинья?

**В т о р о й :** Прости меня. Я виноват. Но почему ты никогда не говоришь со мной, как с братом? Я не глупее тебя и уж наверное честнее. Мне обидно! Я разбил князей Ливии и Палестины, я привез их в столицу, висящими вниз головой на носу моего корабля, я завоевал сердца трех царей Египта и любовь народа, и только твое сердце закрыто для меня. Ты меня не уважаешь. Мне обидно.

**П е р в ы й :** За взятие приступом моего сердца ты не получишь ни нового золота, ни нового почета. Мое сердце — неважная добыча. Оно тебе ни к чему, о "величайший из великих, могущественный из могущественных, великий владыка народа, царский глашатай во главе армий Юга и Севера, избранник царя, главенствующий над обеими странами в управлении обеими странами, военачальник над военачальниками, владыка обеих стран". Видишь, как хорошо я запомнил твой новый титул. А ты жалуешься, что я плохой брат. Кто когда-либо носил такой титул? Никто не носил. Кто обладал твоей властью? Никто. Ты не плохо успел в жизни, мой младший брат. Но о честности ты говоришь напрасно. Ты изменил мертвому, и это гораздо хуже, чем измена живому. Ты изменил Богу, и это уж совсем плохо. Не думай только, что я тебя укоряю. Каждый идет своей дорогой. Твоя дорога ясна. Ты добьешься своего, и тебе никогда не станет скучно. Мне гораздо трудней. Мне, видишь ли, уже давно стало очень скучно.

**В т о р о й :** Вы все там рехнулись вместе с царем. Привезли нам нового богас новыми порядками. Но жив Амон. Слава Амону.

Первый : Слава Амону. Царь умер, бог и его порядки погибли, а мне осталось вот это. (Ударяет тростью по одной из ваз. Ваза издает долгий и низкий звук.) Дзумм... А все-таки нам повезло, что мы жили при таком человеке.

Второй : Безумец, заслуживший свою судьбу! Он поднял руку на Амона.

Первый : Не говори дурно о человеке, чьей пыли под ногами ты недостоин. Теперь, впрочем, все равно.

Второй : Тебе все равно. Твоя дружба и твоя любовь ведут человека к гибели. И если бы ты использовал это для себя — я бы понял. Но ты губишь людей напрасно, просто так, ради непонятной прихоти. Играешь в жизнь и смерть. Ты не ведешь счет своим жертвам? Которым по счету был Аменхотеп?

Первый : Ты хочешь сказать — Эхнатон?

Второй : Все равно. Он был Аменхотепом, разумным и благочестивым мальчиком до той проклятой поездки. Не перебивай. Он был человеком. А что ты сделал с ним? Увез на край света, куда никто не забирался, кроме критских бродяг. А ты забрался, ибо превыше всего ставишь свою прихоть. Разве я неправ?

Первый : Продолжай.

Второй : Продолжаю. Твой повод был смехотворен. Всякому ясно, что с такой дальней страной нельзя вести торговлю. Вы ведь плыли туда больше года, это известно. И уж во всяком случае незачем было брать с собой царевича, твоего воспитанника. Никогда египетский царевич не участвовал в торговом посольстве. Правда, вы тогда привезли богатые подарки, много невиданных вещей и тканей. Где они теперь? Разграблены и уничтожены. Вы привезли не только подарки. Вы привезли с собой ту девушку, царицу, и от нее пошло все. Как будто нет красивых девушек в Египте! По всему было видно, что она не человек. Это видел всякий. В народе стали шептаться об этом тотчас после вашего приезда. А с ней прибыла свита, все эти надменные дьяволы с узкими глазами и ужасными именами, которые не выговорить никому.

Первый : Ша-Гуан-Ли, Цзи-Ма-Е, Хонг-О...

Второй : Ты-то их помнишь. Чем больше они возбуждали ненависть народа, тем больше становились твоими друзьями. Их участь не отличалась от участи других твоих друзей. Пускай гниют спокойно. Но они привезли своего бога, нелепого и чудовищ-

ного. И царь поставил его превыше наших богов Амона, Ра и Пта. О злосчастное время! О преступление, невиданное доселе!

П е р в ы й : Но ты сам, кажется, очень усердно молился этому богу?

В т о р о й : Приходится подчиняться обстоятельствам. Ничего, я потом тройне искупил этот грех. Ра в Гелиополе и Амон в Фивах помнят о моих жертвах. Я хорошо очистился, чего нельзя сказать о тебе. Еще недостаточно принять прежнее имя.

П е р в ы й : Ты можешь оставаться при своей чистоте. Но какое дело тебе до моей грязи? Оставь в покое мертвых. Оставь в покое меня!

В т о р о й : Ты еще очень живой. О, я хотел бы иметь твою силу и немного твоего счастья. Что тебе не удавалось в жизни? Ты захотел стать воспитателем наследника — и стал им. Расшатал и развалил государство. Ты взялся строить царскую гробницу — и вот два твоих компаньона гниют в мешках на дне большого канала, а ты жив, в славе и богатстве. И построил себе такую гробницу, что я слепну от зависти, глядя на нее. Ты захотел, и поехал в неведомые страны, где до тебя не был никто. Путь твоей долгой жизни усеян золотом и трупами друзей. Нужно признаться, ты не жалеешь ни того, ни другого. Зато желания твои исполняются. Вот ты задумал неслыханное дело, — и исполнишь, к сожалению. Я всегда тебе завидовал. Почему так? Вот, я достиг всего, чего может пожелать человек: еще одна ступень — и двойная корона сама упадет в мои руки. И все-таки я стою перед тобой, как мальчик перед строгим учителем. В каждой минуте моей жизни я могу отчитаться перед богами. Я чист перед ними и перед собой. Мертвые не в счет, им все равно. Только своим рукам и уму я обязан тем, чем стал. А твоя жизнь запятнана кровью и грязью. Ты никому не служишь, даже себе. И все-таки я тебе завидую.

П е р в ы й : Может, ты и прав. Мне и вправду всегда все удавалось, кроме одного. самого главного... У меня мало времени, но ты всегда был хорошим братом, и мне не хочется, чтобы ты был в обиде на меня... Не знаю, поймешь ли ты. Ты бы понял, если бы был там с нами. Но если хочешь, я расскажу.

В т о р о й : Я слушаю.

(Вдалеке возникает тихий, постепенно нарастающий шум большой толпы. Он постоянно усиливается. Можно разобрать отдельные гортанные возгласы. Но разговору это не мешает.)



П е р в ы й : Мы действительно очень долго плыли — около года. Наша земля больше, чем мы с тобой думали. Триста раз менялся цвет моря. Когда мы подплывали, оно стало зеленым, как вино, и прозрачным, как небо. И мы увидели, как из темной зелени поднимаются каменные стены и золотые кровли дворцов... Дело не в том, что Фивы пять раз поместятся в их столице. Золота и у нас много. Я всю жизнь думал, что люди везде одинаковы. Я знал, как разговаривать с царем, с друзьями, с северными и южными варварами. Я был уверен, что я — вершина человеческой пирамиды. А тут я встретил мир, отдаленный от меня пропастью будущих веков. Страну Чжоу. Систему государства всеобъемлющую и мудрую, перед которой наша система — как болотная грязь перед небом. И я, Амон-Шебк, мудрец, воин и поэт, перед любым из вельмож Чжоу — как последний раб. Да не как раб — как собака перед лицом царя обоих Египтов! Мои бедные боги оказались похожи на меня. Они побоялись дальнего пути и остались дома при своих храмах. Они не поддержали ни меня, ни царя, никого из нас. Мы пали сразу, и слава нам за это! Мы наблюдали, уничтоженные, за высокой жизнью, идущей вокруг нас. Потом мы даже не могли наблюдать. Я пытался перешагнуть через порог веков, стать рядом с ними — и не смог. Я сорвался. Впервые в жизни я не добился своего, ибо то, что я задумал, было выше человеческих сил. А вот царь смог. О святая Ти-Ти, Нофр-Ти-Ти, синяя змея в небе Чжоу! Память о тебе — как вечерние цветы для моего сердца, красный диск великого солнца на закате. Твоим дыханием жил царь. Без него он умер. Царь совершил немыслимое. И если ты да я — люди, то он стал гораздо больше, чем человеком. Он стал Чжоу. И таким приехал домой. На нашу песчаную почву перенес нежное благоуханное дерево иного мира. Не могут египетские скоты постичь высоту солнечных идей, и вот царь утвердил культ Атона, понятный нашим диким мозгам. Он положил на это жизнь. Видит небо! — Я всегда был его честным помощником. Какие проклятия посылали мне жирные жрецы Амона, когда я ломал стены их храмов, сбрасывал с пьедесталов статуи глупого бога, сдирал его имя со старых плит! Я знал, для чего я живу, — я видел Чжоу. Но вы погубили царя и уничтожили его дело. Дерево Чжоу так и не принесло цветов на земле Египта. Поделом вам. Оставайтесь так, со своим Амоном, — приобретенное мной остается при мне. Это была безумная затея, и следовало ожидать, что она плохо кончится. Но я не жалею об этом. Мне кажется, что сухой

ветер пустыни иногда полезней дурмана белых цветов Чжоу. Дело даже не в них. Эхнатон велик, ибо он начал. Пусть его дело развеяно песком, пусть его бог сброшен и разбит — но было начало! Начало не думает о конце. Он был первым! Этого достаточно, чтобы заслужить бессмертие. Ты станешь царем, дорогой, и за тобой пойдут другие — сотни других. Но твое имя сотрется с камня и из памяти людей. И что останется тогда от твоих мелких желаний? А мой Эхнатон велик, и его имя не сотрется в памяти людей, хотя сейчас оно по твердому приказу соскабливается с плит. Если можешь, пойми это. Только начало имеет значение и смысл. Потому мы и чтим великое солнце Атона, что оно — вечное начало в нашем мире. Из всех царей самым великим всегда будет Мина, ибо он начал. Великий взлет волны, порыв силы, простор будущего — вот что такое начало. Я слишком хорошо знаю, что следует за этим. Я знаю, что не может застыть гребень волны, все равно он растечется кругами грязной пены по песку. Что с того? Я хочу быть началом. Мне все равно, что будет со мной. Люди, подобные тебе, деятельные, хитрые и недалекие, подхватят мое дело, может быть, даже пронесут его сквозь века и куда-то вынесут. Куда вынесут — это уж мне все равно.

**В т о р о й :** И ради этого ты затеваешь безумное дело, расшатываешь и без того слабое государство?

**П е р в ы й :** Не нужно быть эгоистом. Знаешь, что скоро будешь царем, и хочешь, чтобы трон не очень шатался? Но мне плевать на это. Я мог бы много раз достичь твоей мелкой цели, если б только захотел. Кем я буду? Еще одним среди сотен мне подобных? Ну, я снова завоюю азиатские провинции, покорю хеттов и ливийцев, получу из Ассирии несколько льстивых писем, где поклон и просьбы золота — и все? Нет. Этим занимайся сам... Задуманное мной выше и неизмеримо значительней.

**В т о р о й :** Ладно. Спорить с тобой бессмысленно и не хочется мне. Делай, как знаешь... Тебе не кажется, что твоя затея несвоевременна? Страна и так распадается. Ты только завершишь гибель Египта. Отложи это дело на несколько лет, прошу.

**П е р в ы й :** Нет. Не могу. Я стар. Даже месяц для меня теперь большой срок. И потом, ты неверно рассуждаешь. Политик и будущий царь не должен так заблуждаться. Страна и вправду переживает тяжелое время. И уход нескольких тысяч озверевших и голодных беглых рабов будет для нее облегчением. Я уведу из

твоего государства добрую половину грабителей и воров. Разве это — не польза для Египта?

**В т о р о й :** Тысячи! Их много десятков тысяч! Они стекаются в столицу толпами, загромаждают улицы и площади, грабят и насилуют, размножаются и издыхают. Мы не успеваем закапывать их грязные трупы. Слышишь, как они воют? Я никогда не видел в одном месте столько отвратительного сброда. Дым их очагов, вопли женщин и бляение стад, которые мы не в силах вернуть владельцам, убеждают меня, что воистину настает конец Египта.

**П е р в ы й :** Тише, милый. Как знать, может быть ты говоришь о великом народе будущего.

**В т о р о й :** Это — народ? Скорее грязь станет хрусталем, чем в этой каше из племен будет отыскано что-нибудь общее. Это — народ? Бедуины и эфиопы, хетты и ливийцы, хабиру и финикийцы, десятки мелких племен, что некогда прибегали из своих безводных степей к нам — за зерном, водой и тенью, и оставались у нас рабами. Они перестали повиноваться, сбегаются толпами в Фивы, горланят и чего-то ждут. Я знаю, чего они ждут... Виновник этого нашествия — ты, и ты за это заплатишься! Эта твоя затея несравненно опасней первой. И кончится она гораздо хуже. Неужто ты серьезно думаешь повести этот бешеный сброд за собой и сделать из него народ? Не успеешь ты отойти от границ, как они передерутся, убьют тебя и разбегутся по пустыне. Они и сейчас ненавидят друг друга. Нужно быть безумцем, чтобы думать иначе.

**П е р в ы й :** Большие дела не делаются без подготовки. Я много потрудился за последние годы. Мои слуги ходили по всей стране и внушили им много хороших вещей. Ты знаешь, для каждой истины есть свое время. Мои истины, видимо, пришлись к сроку. И плоды работы моих слуг ты видишь своими глазами. Пять лет я внушаю этим бродягам, что они — вовсе не мелкие племена, забывшие родство, а потомки родных братьев, сыновей одного отца. Что они — один народ. Теперь они верят, и значит не передерутся, а на всякий случай со мной будет хорошая маленькая дружина. Но до этого дело не дойдет: они боготворят меня и боятся моих фокусов.

**В т о р о й :** А! Ты еще не забыл заморскую чертовщину? Давно я не видел твоих чудес.

**П е р в ы й** (берет бамбуковую трость, встает и идет на Второго, глядя

ему в лицо и держа трость вертикально вверх. Второй медленно пятится. Вдруг Первый быстро опускает трость в горизонтальное положение, направив ее, как копьё, в грудь Второго).

**Второй:** Убери змею! Не подходи! На помощь!

(Отступает спиной, с ужасом на лице. Первый швыряет трость и останавливается, громко смеясь.)

**Первый:** Как мало отличается от труса первый человек государства. Не оглядывайся так испуганно, нас никто не видел. Но будущему царю нужно быть спокойней. Ведь ты не первый раз видишь эти чудеса.

**Второй:** К таким вещам нельзя привыкнуть. Помнишь, в доме главного казначея ты высек из камня воду, и знатные гости полезли на стол, спасаясь от потопа.

**Первый:** Я приобрел тогда несколько новых врагов, и жрецы Амона сказали: "Давайте проклянем Амон-Шебка, чтобы народ его растерзал".

**Второй:** Ладно. Что ты все-таки будешь делать со своим сбродом?

**Первый:** Это не сброд. Это мой народ. Дикий, но народ. Дети Израиля.

**Второй:** Все-таки они подозрительно мало походят на потомков одного предка, а? Даже в их головы может запасть сомнение.

**Первый:** Если бы ты знал, сколько я положил труда! Я объединил их бесконечные легенды и придумал новые — получилось подобие системы. Здесь их больше шестидесяти племен, и меньше, чем на двенадцать колен я просто не смог их разделить. Пройдет несколько лет, и появится общий расовый признак. Для целого народа их не так уж и много.

**Второй:** А как обстоит дело с богами? Ты будешь проповедывать им Атона?

**Первый:** Это самый трудный вопрос. У них больше богов, чем муравьев в земле, ибо на всякий случай они чтут всех богов, каких только знают. Это хорошо: не будет драк. Но все-таки, чтобы не рассыпалось мое сооружение, придется одного бога сделать главным. Это создаст единство. Впрочем, еще ничего не решено. Посмотрим.

**Второй:** Ты и впрямь становишься отцом народа.

**Первый:** Мне для них — ничего не нужно. Мне нужно только для себя. Мое начало, мой след в истории земли, мой голос

будущим векам. Если хочешь знать, я ненавижу этот жалкий сброд, орудие моей гордости. Думаешь, мне легко? Бросаю мои дворцы, книги, картины, с толпой дикарей ухожу в пустыню — от моего прошлого, от моей жизни, от всего, что любил и чему молился. Но пришла пора подумать о будущем. Вот, я покидаю родину с толпой дикарей. Я сделаю из толпы народ, дам ему законы, страну и бога, и этим прослаблю себя в веках. Я буду первым, я начну. Если они взбунтуются, я не пожалею уничтожить половину, чтобы другая половина подчинилась. Я слишком многим жертвую, чтобы стесняться. А силы у меня хватит.

**В т о р о й :** Здесь что-то много говорится о начале. А ты будешь просто царьком, маленьким царьком маленького народа пастухов. Это твоя мечта?

**П е р в ы й :** Нет, я буду им вождем, беспощадным учителем и пророком. Я даже не возьму с собой имя, пахнущее Египтом. От Амона осталось “Мо”, от Шебки — “Ше”. “Мо-Ше”. Неплохо?

**В т о р о й :** Пророк Мо-Ше? Это звучит неважно.

**П е р в ы й :** Ничем, однако, не хуже, чем “царь Харемхаб”, правда?

**В т о р о й :** Тише, об этом еще рано говорить! Куда ж ты поведешь свое стадо?

**П е р в ы й :** Думаю дойти до Аравии. Сначала пойдем на север, вдоль моря. Там тоже много хорошей земли. Ты не хотел бы пойти со мной, Харемхаб? Мне будет грустно и тяжело одному.

**В т о р о й :** Благодарю. Но меня устраивает то жалкое место, на которое я возведен судьбой. Я не заражен ядом Чжоу.

**П е р в ы й :** Жаль. Вот что еще: моя гробница, видимо, останется пустой. Не нужно ей пропадать. Недавно там окончили роспись, но надписей еще нет. Она в полном порядке. Хочешь взять ее себе?

**В т о р о й :** Спасибо, брат. Я тронут. Возьму. Но как же ты?

(Распахивается ткань, закрывающая вход. Рев толпы. Вбегают двое. Один — огромный негр, с белой повязкой на бедрах. Другой завернут в желтые шкуры. Голова с горбатым носом, длинные пепельные волосы и остроконечная борода. Они падают ниц, и бородатый кричит:

— Учитель! Израиль ждет!)

**П е р в ы й** (встает, выпрямляется. Белые кудри на темном лице. Под распахнутым плащом виден длинный китайский меч с бронзовой рукоятью).

— Иду.

**Осколок**

Контуры ветра и узор души  
неотличимые как сны медузы  
застыли пристально узнав друг друга.

Единое иллюзии обоих  
познать от альфы до омеги их значенья  
напоминает странный поединок  
влюбленных в собственный  
зеркально-зыбкий облик...

Темный путь:  
глаза невидящие  
и не исказят.

\* \* \*

Я — нарцисс Саронский  
или  
я  
долин.  
Я  
нарцисс Саронский  
лилия  
один.  
Я...  
сгинь, блаженная одурь,  
колоколец любовных судорог.

Чужа озон  
куст воплощает собой жест познания;  
алчба — метафора пути.

Но льда  
прозрачные струи и нити — что  
как не весть о суверенном холоде —  
неподвластном нашим прихотям  
мире.

И рассудок  
лишит его  
— языка?!!

Всмотримся,  
будем мудры и строги.  
Полдень предстал черно-белой камере,  
полдень отторгнутой биологии.  
Время — каменно.

И ярче тени.  
В миг свивается ночь растений.  
Свет существенной жизни!

Каких-то мнений?..

Пусть  
бессловесная тварь, душа,  
скулит, животное,  
и ищет пару —  
по острию скользит ножа  
взгляд —  
полыхнуло лезвие —  
Истина Истина есть металл!

Это — знак  
трактуемый некогда  
с темным усилием:

Чары небес сжирает сердце  
орльего ока.  
Жаром клокочет зреющий клетот  
и небеса  
тяжело набухают —  
Ангела очи глухие к стенам  
горящие Очи  
к стенам  
неумолимы!..

Да, так оно и было,  
но выделим ныне  
иные линии:  
Эхо ветра явлю парение внявшая флейта.  
Алое льда черты и сияние  
ветр исчезает —  
дар дух духа виргилий  
во град созерцания  
ты ли  
привел?

## ВОИН

### Рельеф

Кольчуг чешуйчатые ткани  
опущены на лица,  
нетерпенье  
сталь конницы колышет.  
Выйдя вперед  
стрелки образовали ниши  
в рядах...  
Он — среди первых.

Зной обливает плечи,  
подан знак.  
Зажатый в пальцах круглый камень  
вынимает из мешка  
и медлит  
словно взвешивая  
его рука —  
таков обряд:  
он должен уложить снаряд  
в ячейку кожаной пращи  
и крикнуть  
смерти вслед —  
Ищи  
опоры в теле, черный ветер!..



## Ступня

Если  
у ангела спросят — А что есть полет? —  
разве в силах его объяснить?

Чудесное —  
оно неожиданно  
как неожиданно сходство  
припорошенного песком камня на дне  
и медлительно-пышного  
в уродстве своем совершенного  
морского порождения  
подрагивающего встревоженно фибрами  
невероятных своих плавников и отростков;  
чудо! —  
ибо одно оставляет нетронутой  
фантазию жизни, —  
а что еще поддержит надежды бытия  
как не все тот же всплывающий лейтмотив...

Даже сгусток земли станет соком —  
ибо познанное  
тешит дух причудливостью форм  
обретая свой жест,  
но аморфно безмолвное:  
ибо чуждое зиянью немоты  
чуждо гибридам ее и случая.

Чудо:  
сокровенное, оно — и сущее.

Об авторе романа "Братья Кросовские" нам известно немного. Вот что сообщили о нем в справочнике "Список политзаключенных СССР" за 1983 год: "Аксельрод Дмитрий Ефимович, р. 1922—23. Арестован 11 ноября 1982 года. Инкриминируется статья 190<sup>1</sup> ("Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй") — авторство романа "Братья Кросовские" и других самиздатских произведений. Суд 28 февраля 1983 года. Ранее осужден в годы войны. Был в штрафбате и лагере по уголовной статье — десять лет за оскорбление офицера (протест против антисемитской выходки). Мать — проживает в городе Ленинграде. Уголовный лагерь".

Отрывок из романа "Братья Кросовские", публикуемый ниже, дает представление о том, что именно считается "заведомо ложным измышлением, порочащим советский государственный и общественный строй".

Действие романа начинается с ареста евреев, братьев Кросовских, коммунистов, участников гражданской войны, осмелившихся протестовать против организации властями голода на Украине в 1932—33 годах. Сюжет посвящен странствиям братьев по островам Архипелага ГУЛАГ. В финале оба брата, беглецы из колымского ада, погибают от рук отряда НКВД.

В основу произведения положены личные впечатления автора: в этом сила романа, запечатлевшего подлинные картины лагерной жизни, и одновременно слабость: художественного дарования кажется не хватило для воссоздания духа лагерных 30-х. В его описаниях тюрем, этапов,

*Дмитрий Аксельрод*

**БРАТЬЯ КРОСОВСКИЕ**

зон явственно ощущается та послевоенная эпоха, свидетелем коей он стал в ГУЛАГе. Тем важнее, однако, эта рукопись, как документ времени, как своеобразное показание очевидца, обладавшего острым глазом и отличной памятью и зарисовавшего быт и нравы "бериевского заповедника", который остается материальным фундаментом и источником духовных традиций и для современного ГУПТУ.

М. Хейфец

Якова Кросовского отправили в Кузбасс на шахты. Везли в Столыпинском вагоне, в маленькие купе набивали по шестнадцать человек. Сидели скрючившись, один на другом. Воздуха не хватало, по целым суткам не выводили на opravку, не давали воды, чтобы меньше просились. Боялся конвой выпускать людей из купе, всего можно было ожидать от зеков в узких вагонных коридорах. Люди терпели, а Яков забуйствовал, страдая невыносимо от нехватки воздуха. Его "выдернули" и бросили в кандей\*, одев наручники. Он метался в ярости, кричал, плакал, выл, а наручники сжимались теснее.

В Караганде сгрузили, направили в местную тюрьму. Неделю сидели вновь прибывшие в карантинной камере — "отстойнике". Здесь узнали они, что тридцать пятая камера, называемая "Индией" — самая страшная, с "железным рядом".

Когда Якова вывели из отстойника и повели по тюремным коридорам, он решил, что его поместят именно туда. Вагонный конвой дал, небось, соответствующую характеристику.

Так и случилось. Дежурный, конвоировавший его, остановился перед камерой с номером тридцать пять.

Загремел ключ, дверь отворилась, и белый клуб пара вырвался оттуда, как из парильной, окутав шарахнувшегося в ужасе Якова, и таким же баннным пахнуло оттуда жаром.

Содрогаясь, ступил Яков в камеру, замерев у порога. То же чувствовали, наверно, ввергаемые в преисподнюю. Прямо перед ним был тот самый железный ряд.

— Господи, спаси и помилуй! Мокрые, скользкие, один на другом, стиснутые до предела в жестко отмеренном квадрате посреди камеры, с подтянутыми до самого подбородка коленями.

А по краям, конечно же, уголовники, господа тюремные, вольготно, во весь рост растянувшиеся у стен.

— Эх, влада ты радянская, для того ли боролся он за тебя, для того ли кровь проливал!

\*Кандей (жарг.) — карцер.

Он смотрел на них, они смотрели на него. И не знал Яков, кого он больше ненавидит — тех ли вдоль стен, или этих в ряду. У тех были, хоть и злые и насильные, но все же свои, выразительные по-своему лица.

Эти же смотрели, как бы всем рядом, вся масса походила на мокрого, скользкого гада, на утробу, готовую всосать, поглотить.

Тут к Якову подкатился, отделившись от стены, этакий маленький, шебаршистый, морщинистый, с шутовской какой-то физиономией, похожий на обезьяну.

— Ну-ка, казачни его, Федя! Покажи, как играют в казачий стос! — раздалось от стен.

Федя заулыбался, загримасничал; затрепыхался, замахал успокаивающе руками — не беспокойтесь, мол, будет сделано.

Он стал ощупывать и разглядывать одежду Якова, деловито, заботливо и был, видимо, разочарован — кивал сокрушенно головой, разводил руками.

Опустившись на пол, он стал ощупывать ботинки Якова, поспешно и блудливо, как обезьяна, по-обезьяньи же гримасничая, и по тому, как он крутил деловито головой и улыбался, Яков понял, что ботинки ему понравились.

— Снять? — спросил Яков кротко и предупредительно.

— Да, да, снять, снять, какой догадливый! — загримасничал Федя, засиял всеми своими морщинами, запрыгал сидя на полу, захлопал себя по коленям.

Яков снял не спеша ботинок и ударил им Федю по голове.

— Получай, гад, падло, холуй! — бил он его раз за разом. Потом бросился пинать ногами, охваченный дикой яростью, проводок, нарушив порядок железного ряда, до параши и швырнул на нее.

— Вот твое место, собака! — А сам устроился на его место у стены, бросив к параше его шмотки.

— Ого, настырный фраер! — хвалили урки.

А Федя скулил с параши: “Что ж вы смотрите, братцы! Заступитесь, сгоните его с моего места!”

Но над ним только смеялись, как над всяким поверженным и неудачным.

— Сгони сам, если сможешь!

Он не был уркой, он был их шестеркой, за это они и дали ему привилегированное место у стены.

А железный ряд, притихший было во время расправы над Фейей, снова загудел, как пчелиный улей.

Яков глядел на этот ряд, и ужас его не только не ослабевал, но еще усиливался. Никакие самые изошренные тюремные, охранные, полицейские умы прошлых предреволюционных лет не могли додуматься до такого измывательства над людьми, до такого попрания их достоинства. Все, что Яков читал о прошлых каторгах, и в далекой степени не могло сравниться с тем, что было тут, перед глазами. Он не мог поверить в реальность этого, это был сон, кошмарный сон, бред.

Голова его разбухла, гудела, но несмотря на кажущуюся огромность, не могла вместить в себя виденного. Специально ли изобретен был этот железный ряд или от нехватки, нехватки во всем. Даже тюрьмами не могут обеспечить, гады, накормить хоть ими досыта!

Чад и туман стояли в камере и духота невыносимая. Все плыло, колебалось, еле-еле мерцали тусклые лампченки на потолке, свет их расплывался радужными кругами, как свет от фонарей в слякотную погоду. Все мокро, липко, на потолке висят огромные капли, как в бане, срываются, с треском шлепая по голым телам. Все здесь в костюмах Адама, хотя стекла в окнах выбиты до последнего осколка. И сплошное жужжанье — жж-ж-ж-жжж!

А эти в ряду — как только могут терпеть они — уму непостижимо?! Крайние еще так-сяк, могут хоть чуточку время от времени, вполовину хоть, распрямить ноги, хоть на минутку, пока не лягнет их блатная лапа, не облает свирепо уркаганья луженая глотка. Срединные же, стиснутые со всех сторон в железные тиски, и этого себе позволить не могут. И непрерывная возня, драка, толкание и теснение друг друга, хлесткая дробь затрещин по голому телу, перемежающаяся с треском падающих с потолка капель. Концерт, симфония! И время от времени встает кто-нибудь выжатый, вытолкнутый неумолимыми тисками и стоит долго, как столб, клонясь все ниже и ниже, пока не упадет обессиленный на людей, и тогда уж волей-неволей его впускают, надавав затрещин.

К параше лезли прямо по головам. Их величества урки лезли смело, топтали беспощадно, под ним гнулись молча и безропотно, зато своего брата фраера избивали немилосердно.

Когда гудение становилось слишком уж несносным, поднимался кто-нибудь из урок и обрушивал на "ряд" несколько изы-

сканных тюремных выражений или сапогом запускал, и оно немного стихало.

На воров, этих господ голоштаных, Яков смотрел с непримиримой ненавистью и гневом. В Крестах он с ними дрался, они его избивали, даже руку сломали, потому что наваливались скопом на одного, ни единая холопская трусливая душонка его не подержала.

Здесь уж с ними не подерешься, вон сколько!

Яков наблюдает их с гневным презрением, сжав кулаки. Ма-тершинники несусветные, мат какой-то особенный, изуверски, уничтожающе для достоинства человеческого похабный и непотребный. И бесконечная игра в карты. Днем и ночью. Одни отбирают, тут же делают — “мастырят” — другие. Играть любят с комфортом, сидя на подушках и под карты подкладывая подушку, а то и две.

И наряжаться любят — страсть — как цыгане. Выиграет “шмотку” и сразу напяливает, ходит в ней, красуется, “фикстулит” по-ихнему. Даже в такой духотище ходят разряженные, как пехухи.

Самая колоритная фигура здесь в Индии — Иван Жареный, низкорослый силач с необъятно широкими плечами и руками гориллы, весь коричневый от ожогов (кипятком когда-то обварили). Говорили, что он легко выполнял нормы на 400—500 процентов на самых тяжелых работах.

Перед сном, после того, как в волчок скомандовали “отбой”, наступил час рассказов. Рассказывал “старородский”<sup>\*</sup> вор по кличке “Чародей”. Был он действительно какой-то чудной. Худой, страшный, с воспаленными, вытаращенными безумно глазами, больной по всей видимости чахоткой.

И вот успокоилась, наконец, камера, уснули, утихомирились господа воры, лежа на своих шмотках, вытянувшись и раскинувшись привольно. Свесил горемычные головы железный ряд, обмякнув натруженными членами.

Яков не спал, задыхался, глядя с неослабевающим ужасом на это спящее чистилище. Голова его по-прежнему была разбухшей, цепенели руки, сердце билось неистовыми, перебойными толчками, ударяя больно в виски.

В тишине капель с потолка выбивала неумолчную дробь и

---

<sup>\*</sup> Старородский — пожилой, матерый.

взбрызгивали непрерывные водяные фонтанчики, отскакивающие от людских тел, — спин, плеч, голов. Слышались стоны, тяжкие вздохи, скрежет зубовой. И во сне они пихались и дрались, наваливаясь друг на друга. И так же вставляли вытиснутые, и стояли сонные, гнущиеся, падавшие на остальных, и все закипало как в адском котле с грешниками, беднягу избивали, прежде чем впустить в гущу, дрались все против всех, покуда проснувшийся урка не лалял на них песно, не хлестал всех подряд сапогом.

Урки вставляли, курили, лезли по головам к параше.

Проснувшийся Чародей курил и долго, до посинения, кашлял, глядя перед собой выкатившимися безмерно глазами дико и ошалело. И Якову казалось, что Чародея, как и его, гнетет этот кошмар.

Только перед утром забылся Яков тяжелым сном и тут же проснулся от криков "подъем" и вспыхнувшего с новой силой гвалта. Железный ряд гудел обрадованно, предстояла разминка, — выход на умывание и opravку.

Всюду есть свои радости. Труся до уборных, умываясь и управляясь, разминая и распрямляя затекшие в течение целых суток члены, они искренне радовались, смеялись и шутили. Немного надо человеку для счастья.

Вскоре полетели "птенчики" — пайки хлебные. Затем внесли чан с кипятком, и все подняли дружный, рвущий ушные перепонки крик, требуя его выноса, потому что распространился такой чад, что дышать стало совсем невозможно, и не видно ничего — сплошной туман.

Так же точно отказались они и от обеденной баланды, хотя остались голодными.

И снова день, полный гвалта, ругани и смеха, да смеха и мало, особенно у урок. Не понимал Яков, как можно быть такими веселыми в подобном положении. Но если не понимал урок, то совсем уж не мог понять жителей ряда. Именно жителей, потому что они жили в нем, прижились, воспринимали, как свой дом, чувствуя себя по-видимому в нем вполне сносно, ведя мирные, обиходные разговоры, смеясь и шутя, отчаянно при этом пихаясь, ругаясь и дерясь.

За неделю, проведенную в Индии, Яков ослабел до звездного мелькания в глазах, а когда пожаловался врачу при обходе, услышал в ответ — "ничего, пройдет!".

Только неистовая ярость помогла ему справиться с противником, вздумавшим согнать его с места у стены. Это был вновь прибывший, сразу же храбро протолкавшийся к уркам, бросивший развязно: "Потеснитесь, братцы".

— Тесниться некуда, керя, потесни вот того фраера с краю, — и указали на Якова.

— Пошел! — пнул новичок Якова.

Дрались они ожесточенно. Пришелец был зол как черт, он ухитрился засунуть Якову пальцы в рот, пытаясь разорвать его, но Яков, не уступавший ему в свирепости, ударил его миской по голове, раскроил ее, и тот вынужден был отступить и уstraиваться в железном ряду.

В конце концов Яков не выдержал. Можно еще было как-то примириться с теснотой, с гвалтом, с соседством железного ряда и ненавистных урок, но нельзя было все время задыхаться.

Он подошел к волчку, постучал...

— Чего надо? — спросил дежурный, открыв волчок.

— Будь добр, поддержи немного волчок открытым, дай вдохнуть воздуха, — взмолился Яков.

— Я тебе вдохну! А ну, отойди прочь от волчка.

— Гад, палач, тюремщик! — заорал взбешенный Яков.

Щелкнул замок, дверь отворилась и возмущенный дежурный выдернул Якова на коридор. Стал бить огромными ключами по ребрам, Яков дал сдачи. Подоспели другие дежурные, отметили Якова и бросили в карцер.

Яков забегал как сумасшедший. Целая армия блох, крупных небывало, со среднего клопа размером, набросилась на него и принялась жалить. Говорили в камере, что надзор специально разводит в кандее блох, но Яков не верил.

Он носился по карцеру, как причмеленный, но убежать от них не было никакой возможности. Он скребся, рвал на себе все, — никакого спасения. Стоило опустить руку вниз, и она тут же становилась крапянистой, чуть ли не сплошь покрытая ужасными насекомыми.

Тогда он взобрался на парашу, на крышку ее, натянул на голову рубаху (даже пиджака не позволили взять с собой), руки спрятал в рукава, носки выпустил поверх брюк, туго-туго стянув брюки ремнем, и согнувшись в три погибели — замер.

Он просидел двое суток, неподвижно, не притрагиваясь к еде



и питью. Он сам удивлялся этому впоследствии, зная крайнюю свою нетерпеливость.

На третий день дежурный всполошился, видя, что Яков сидит как истукан, не ест и не пьет.

— Эй, не жрешь почему? — толкнул он Якова, выскочив тут же в коридор, чтобы не набрать блох.

Яков не отвечал, не шевелился.

— Жив ты или помер? — снова толкнул его дежурный.

Яков вскочил, заорал дико: "Не буду, не буду жрать, пусть меня самого блохи сожрут! — и снова угнезвился на параше.

Дежурный ушел и вернулся со старшим надзирателем.

— Ну, что, будешь еще бузить, герой! — смеялись они, отступив в глубь коридора. — Проваливай, да смотри веди себя как положено, а то отдадим на окончательное съедение.

Очутившись снова в камере, Яков даже первое время радовался. Сразу начался у него невыносимый зуд во всем теле. Все оно сплошь было покрыто красными крапинками, как сыпью. Он чесался, скреб себя остервенело. Сидевший напротив, жалея, чесал ему спину, как поросенку. Ходили смотреть на него и урки. Иван Жареный даже присел возле него, приговаривая: "Бедный мальчик, заболел корью. Ну почесись, почесись!"

Однако скоро снова началось мучение удушьем.

— Что делать, как спастись? — Он чувствовал, что не выдержит, сойдет с ума. Ночью он не спал, лихорадочно думая над возможностью спасения. И вспомнил — в Крестах, в больнице, где он лежал со сломанной урками рукой, был один "восьмерка"\*<sup>1</sup>, прокалывавший себе щеки иглой изнутри и надувавший туда воздух, отчего лицо раздувалось, как детская свистулька "уди-уди".

Выход был найден. Днем Яков раздобыл кусок медной проволоки, заточил ее о дно миски, а на следующую ночь принялся за дело. Однако, проволока из мягкой меди гнулась, не хотела вонзаться в щеки.

Нажав изо всей силы, он все же вогнал ее попеременно в обе щеки и надулся.

Проснувшись утром, поначалу даже забыл о своей "мастырке".

— Глянь-ка, ты весь опух, — сказал, испуганно уставясь сидевший напротив.

— Дошел наш жидок, — говорили урки. — Быстро он сдал.

---

\* Восьмерка — симулянт.

Иван Жареный подошел к волчку.

— Дежурненький! — позвал.

Тот, открыв волчок, осклабился. Любили надзиратели этого брызжущего весельем урку, подолгу простаивали у волчка, слушая его трепатню.

— Контрика-то нашего вон как раздуло, чисто воздушный шар. Улетит, смотри, в окно, поминай, как звали. Отвечать будешь.

Вызвали врача. Тот прослушал Якова и взял с собой в больницу. Яков блаженствовал. Тут были кровати, чистое, хотя и ветхое белье, кормили лучше, но главное воздух, вдоволь воздуха.

К утру щеки опадали и по ночам он поддувался.

Прокантовался он там больше недели, пока не погорел, переборщив со вдуванием.

Накачал себя так, что глаза закрыло и даже лоб вспух этойкой колбасой.

— Вот это так рог ты себе, паря, замастырил! Фуфло так фуфло! — смеялись в палате.

Врач, как только глянул, сразу понял, в чем дело.

— А ну, открой рот, симулянт!

Так и есть, вся внутренняя полость рта исколота в кровь.

— В карцер бы тебя следовало за это, да ты и так уж весь искусан.

Якова выгнали из больницы, не дав даже позавтракать.

А через два дня тюрьму разгружали, отправляли людей в лагерь.

Железный ряд радостно гудел. Приходил конец его мучениям.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НЕЛЛИ ГУТИНА

"ЖУРНАЛ"

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячью лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр.

12 долл.

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

*Моей жене — с любовью  
и благодарностью.*

Еще в самом начале века замечательно заметил кто-то, что российский интеллигент, если уж доведется ему пробыть неделю в полицейском участке, при первой же возможности напишет большую книгу о перенесенных им страданиях. Так что я исключением не являюсь. Только срок у меня много длинней, и пишу я это, не только что издать не надеюсь, но и не будучи уверен, что сохраню. Это дневник, хотя виденное и слышанное все я пишу в него с запозданием — спохватился уже год спустя после ареста. Впрочем, нет — оправдывается вполне и в моем случае эта давняя усмешливая констатация: появилась возможность у интеллигента — вот он и сел писать. А что еще не выйдя на свободу — это детали, частности. Когда опомнился, тогда и начал.

*Игорь Гарик (Губерман)*

## **ПРОГУЛКИ ВОКРУГ БАРАКА**

(главы из книги)

Рукопись прибыла по каналам Самиздата и публикуется без ведома автора.

Ибо вполне я ощутил, что нахожусь в заключении, что еду в лагерь, что ступил на дорогу, пройденную миллионами далеко не худших людей, — уже в поезде, везущем нас в Сибирь, да и то только где-то за Уралом. После пересыльной тюрьмы Челябинска я оказался в поезде в одной клетке со своим почти ровесником, чуть по-

старше, много лет уже отсидевшим, ехавшим куда-то на поселение. Очень быстро мы разговорились, а вечером он вдруг сказал мне запомнившуюся фразу:

— Ты в лагере нормально будешь жить, потому что ты мужик нехуевый, но если ты мне не перестанешь говорить “спасибо” и “пожалуйста”, то ты просто до лагеря не доедешь, понял? Раздражает меня это. Хоть и знаю, что ты к этому привык, а не просто выебываешься.

Я тогда засмеялся, помню, а потом вдруг ясно и ярко сообразил, что началась совершенно новая жизнь, и действительно, может быть, от многих уже в кровь ввевшихся привычек следует отказаться. И тогда же решил не спешить подделываться под общий крой и самим собой оставаться по мере возможности как можно дольше. В тюрьме я не задавался такими мыслями — оттого, быть может, и запомнился мне тот день, как какое-то важное начало.

А писать этот вроде как дневник я начал тремя месяцами позже, даже знаю, почему начал. Недалеко от моего места в бараке висят на стене часы-ходики, неизвестно как попавшие сюда, а главное — непонятно, почему не сдернутые кем-нибудь из проходящих надзирателей. И под утро вдруг, проснувшись сегодня до подъема, я услышал уютный звук их мерного хода, смотрел на них долго — очень уж не вязался их мирный домашний вид с барачным интерьером нашей полутюрьмы-полуказармы, потом снова попытался заснуть — и услышал их звук опять, только теперь он явственно переменялся. “Ты кто? Ты кто? Ты кто?” — говорили часы. Я даже уши заткнул, надеясь, что спустя минуту услышу снова их привычное “тик-так”, но ничего у меня не получилось. Так и пролежал до подъема, слушая их бесконечный вопрос, оказавшийся вовсе не случайным. Очевидно, и раньше зрела во мне жажда подумать, кто я, и вот — нашел замечательно удобное время и место для своих самокопаний. Тут я и решил делать записи, чтобы с их, быть может, помощью чуть в себе впоследствии разобраться — ибо очень ведь немало говорит о человеке, как и что он записывает из своих текущих впечатлений. Вот посмотрю на себя потом со стороны, подумал я. И, как говорится, замысел свой в тот же день привел в исполнение. Не без надежды, что и читатель найдется, когда и если мои листки попадут на волю.

Пусть только любители детективов, острых фабул и закрученных сюжетов сразу отложат в сторону эти разрозненные записи.

Ибо в них не будет приключений. Ни огня, тускло мерцающего в заброшенном доме, ни внезапных нападений из-за угла, ни щеко-чущих душу грабежей, ни утонченного воровства, никакой занимательной уголовщины. Кстати и о страданиях — заранее извиняюсь — тоже мне нечего написать, ибо не было их здесь особо тяжелых. Тех близких, кто на воле оставался, мне все время жалко было — это вот и впрямь тяжело. А страдать самому не довелось. Даже стыдно за свою толстокожесть.

И еще одного не обещаю: здесь и связного повествования не будет. Приходилось ли вам замечать, читатель, сколь похожи и сколь похоже скучны все беседы наши и разговоры? Разве есть в них связная тема? Нет, мы обмениваемся анекдотами. Байками, рассказами, случаями. Притчами, историями, слухами. Приходилось мне читать, как люди некогда обсуждали целые вечера, а то и ночи напролет лишь одну какую-нибудь тему, поворачивая ее так и эдак, приводя мысли и аргументы, доводы и возражения, даже самые анекдоты и случаи нанизывая на шампур единого развития темы. То ли наше общение стало сейчас иным, то ли слишком мы мало знаем, то есть недостаточно образованы, чтобы долго плести нить беседы на одну тему, но только факт, что застольные наши, компанейские и дружеские разговоры явственно и безнадежно раздроблены на короткие обрывочные истории. То трагичные, то смешные, всякие. Нет, мы обожаем поспорить о чем-то, даже пофилософствовать, наводя Монтень на плетень, но и там сохраняя ту же раздробленность общения на анекдоты, перекидываясь которыми, как шариками пинг-понга, коротаем мы вечернее время и расходимся, весьма довольные, если много было баек и анекдотов. По тому, что рассказывает собеседник, мы даже судим о нем (и не напрасно) и решаем, звать ли его в следующий раз и с кем совмещать, чтобы друг другу не мешали, а стимулировали. Ибо если не будет этого созвучия или хотя бы взаимного немешания, то не поможет и водка, без которой вообще мы разучились сейчас общаться.

Только здесь у меня не было водки. Мы общались, чифиря — за чаем, накрепко заваренным по-лагерному: полпачки на небольшую кружку, и — по кругу, каждый по два глотка. Очень он подерживал нас, уж не знаю насчет вреда его или пользы для здоровья. Думаю все-таки, что пользы было много более, чем вреда. Ибо он стимулировал дух, он бодрил нас, чифир, а главное — он

соединял нас. Ничего важнее этого я не знаю для человека в неволе.

Был я в неволе уже год. Повернулось где-то невидимо лотерейное колесо судьбы, а замшелое-архаичные слова эти, если чуть поиграться ими, превращаются в судебное колесо. Что и вышло у меня буквально. Потянулось долгое следствие — я преступником себя не признавал, ибо не был, потянулись долгие дни, проводимые мной то в камерах предварительного заключения при милиции маленького подмосковного городка, то в тюрьме, куда возили как бы отдохнуть, когда следователю я был пока не нужен. В тюрьме было много лучше: целый день играло радио, рассказывая то о новых стройках в лагере мира и социализма, то о стихийных бедствиях и безработице в странах капитала, бодрыми песнями и легкой музыкой освежая наш быт, были шахматы и много людей, легче с куревом было и кормили три раза в день, давали книги и по воздуху была часовая прогулка (в такой же камере, но вместо потолка — решетка). Спали мы опять же на тюфяках, а не на голых и грязных досках, баня была еженедельно. Много было и других преимуществ, из которых далеко не последнее — водопровод и канализация в камере, а не мерзкая посуда-параша, отравлявшая и воздух, и настроение. Даже полотенце давали. Нет, настоящим отдыхом была мне тюрьма во время следствия.

А потом был недолгий и заведомый суд, и я снова увидел своих близких, сидевших в зале, и от нежности к ним, от чувства вины, что им столько за меня приходится переживать, у меня влажно тяжелели глаза, и тогда я отводил их в сторону, и так все дни суда просидел, уставясь, в основном, за окно, где всю бушевала, капала, текла, голубела и солнечно разгуливалась весна.

К лету ближе уже ехал я в лагерь, и почти два месяца ушло на дорогу. Одна за другой пошли камеры пересыльных тюрем и столыпинские вагоны в промежутках (бедный, бедный Столыпин — мало, что его убил в театре запутавшийся в собственных делах еврей, еще имя его так идиотски оказалось увековечено этими вагонами, не имеющими к нему никакого отношения).

Уже в самом разгаре лета приехали мы, наконец, на зону. И когда нас высадили из вагона, то настолько тугой и душистый запах сибирского разнотравья оглушил меня с первой же секунды, что все те полчаса, что сидели мы на корточках у вагона (вряд ли это именно для унижения придумано — просто охранительная такая чья-то творческая находка), был я от этого запаха чуть ли не пьян и

по-дурачки счастлив. Словно дивное меня ожидало приключение, и я прибыл уже, и вот-вот оно состоится. После был огромный грузовик (с нами в кузове и конвой, и собака), железные впечатляющие ворота — лагерь, и сбоку ворот — на здании — всюдошний, только всюду незаметный, ибо приглядевшийся, а тут видный, ибо звучащий двусмысленно — здоровенный во всю стену плакат, что идеи Ленина живут и побеждают.

Поселили нас, новеньких, не в бараках, где места не было (лагерь зеков на шестьсот был рассчитан, навезли нас уже две тысячи), а загнали в клуб, где кино поэтому отменилось. Клуб легко вместил наш отряд, только узкие остались проходы между тремя рядами наскоро сколоченных нар.

На промзоне, где предстояло нам работать — благо, рядом она была — делали шпалы, барабаны для кабеля, дощечки для упаковочных ящиков и прочую нехитрую продукцию из огромных могучих лиственниц, подвозимых сюда с лесоповала.

Нет, не сразу я освоился здесь. Очень многое поначалу не то, чтобы испугало и пригнуло меня, но скорее до отчаяния и тоски расстроило. Часто очень трудно, к примеру, становилось на зоне с табаком. И табак превращался сразу в некую ценность, вокруг которой собирались компании, объявлялись приятели, оценивались связи. Голая и неприкрытая корысть поселялась в наши отношения. И впервые в жизни я вдруг совершил страшный и странный грех: неожиданно для себя сказал однажды, что закурить у меня нечего, хоть махорка еще была. Он спокойно повернулся и отошел, маленький слесарь Валера из Владивостока (покуривал опиум с приятелем, донесла теща, три года), он уже привык к отказам, он прекрасно знал, что табак у меня еще есть, но его нравственное чувство никак не было возмущено или даже задето моим отказом. Ибо он и сам поступил бы так же, просто очень хотел курить, не дали, вот и все, никаких проблем. Он уже давно от меня отошел, а я все еще стоял, вспотев внезапно, покрасневший, в невероятно омерзительном состоянии. Нет, не стыдно за себя — мне страшно стало, что по этой вот наклонной плоскости я легко покачусь и дальше. И я кинулся искать Валеру. Никуда он, конечно, деться не мог, и я вмиг его нашел на нашем крохотном дворике-загоне. Это первые были самые дни, нас держали еще в карантине, в так называемой этапной камере — было там, наверно, коек шестьдесят, так что наши полторы сотни умещались запросто, на полу вповал, тесно прижимаясь друг к другу. И та-

кой же был рядом дворик, отгороженный от зоны забором. Я Валере сунул махорку, что-то жалкое и невнятное бормоча, что достал, дескать, что забыл, что вот, пожалуйста, мол, бери и подходи всегда. Он ее у меня взял, никакого удивления не выказав, тут же протянулся ко мне еще десяток рук, и в минуту я остался без курева.

Ах, дурак! И я тут же остыл от своего раскаянного порыва. Ну, а что я буду курить через час? Завтра? А еще через неделю? Нет, на неделю все равно бы не хватило. Очень долго я в тот день раздумывал, как вести себя впредь и далее, и как разум, диктующий жлобство и скрытность, примирить с душой и совестью, привыкшими... погоди-ка, милый друг, к чему привыкшими? Только к тому, что ты щедро делился всю жизнь, отдавая нечто, что не обездоливало тебя самого, здесь же речь идет о последнем и трудновосполнимом. Это уже, брат, не филантропия, а потяжелей и посерьезней. И еще: отдавать ты будешь людям случайным и неблагодарным, кои сами с тобой так никогда не поступят. И поймут тебя, кстати, не обидясь, если будешь воздерживаться и ты. Ну, подумай-ка, подумай еще.

Я подумал и решил отдавать. Просто мне это было легче и проще. И до той поры поступал так, пока не узнал, что меня за глаза именует кто-то "профессором", только в такой тональности, как говорили бы "блаженный", знай они это слово. Тут я обиделся и стал поступать по настроению. Каждый раз мучаясь, когда проявлял жадность и зажимательство, и не менее того сожалея, когда расщедривался, как на воле.

А потом я не заметил и сам, как прижился и обжился на зоне. Просто лето очень быстро промелькнуло. И вот тут-то, к осени уже, втемяшилось мне это с дневником. Очень жалко мне стало вдруг, что сотрутся, забудутся впечатления — и от следственных трех тюремных камер, и от пересыльных пяти, и в "столыпинах" дни и ночи забудутся, и впустую вроде канут все встречи. И на зоне были разговоры разные, ибо скоро я оброс собеседниками. Я общался очень много с Писателем, тоже москвичом, белой здесь вороной такой же. Он писал какие-то книжки, о которых разговаривал неохотно, что писателям, похоже, несвойственно, а однажды был приглашен — с почтением — сотрудничать с лубянскими доброжелателями. Очень он был нужен им, потому что с кучей интересных людей общался тесно, а Всевидящее Око о них хотело знать поподробней. Отказался наотрез и безогово-



рочно. "И вот я здесь", — говорил он, совершенно этим, кажется, не огорченный. Очень жадно все смотрел он и расспрашивал. Собирался, должно быть, бедолага, что-нибудь из увиденного теперь художественно описать. Один зек хорошо ему сказал:

— Если у тебя, Писатель, про нас книжка хорошая получится, то ты сразу просись на эту зону, здесь прижился, легче будет новый срок тянуть.

После появился Деляга. Этот — инженер, институт закончил, но главное — был заядлый коллекционер. Собирал он иконы, а подсел за покупку нескольких штук краденых, те же воры его и посадили, что украв эти иконы, привезли их ему и продали. Явление редкостное, чтобы воры сажали своего же собственного покупателя, но те были на него злы, что он их из дому выгнал, догадавшись как-то, что они сбывают краденное. "За такую подлянку этим сукам нож полагается по хорошим старым обычаям", — сказал Костя, человек опытный и неболтливый.

А из тех, чье имя я до поры не называю (по причине простой и веской), был Бездельник — я люблю его больше всех. Он писал стихи, и уже две книжки его вышли за границей. "Такие сборники дерьмовые вышли, — говорил он беззаботно и не грустя, — даже как-то обидно за них срок отбывать. Видно, есть что-то в моих стишках ущербное — ни здесь они не нужны, ни там. Хоть зарежься". Его постоянный оптимизм и внезапно вспоминаемые байки — много раз мне жизнь облегчали в лагере.

Очень мне помогло общение с этими людьми, разговоры их, подначки, споры, ибо давно было замечено и сказано, что без привычной человеку среды он неуклонно превращается в Пяницу.

\* \* \*

Еще до лагеря, в Рязанской тюрьме, довелось мне дня три пообщаться с интеллигентным средних лет ленинградцем, ехавшим на поселение. Однажды на прогулке он отвел меня в сторону, закурил и сказал как нечто очень-очень важное:

— Старина, посидевшие на зонах различают людей насквозь, ты еще научись этому. А пока ты наивен, как щенок, несмотря на твои 45 лет, седину и возвышенное образование. Ты неизлечимо болен очень редкой даже на воле болезнью — ты ко всем сущься с добром. А на зоне это не просто глупо, это опасно. Добро

надо делать только в случае крайней необходимости, а по возможности — совсем не делать. За него тебе не отплатят добром, в лучшем случае — ничем от отплатят. А чаще — злом. Оно возникает само и ниоткуда...

Оправдалась грустная мудрость того встреченного ленинградца. На зоне один за другим были мне преподаны многочисленные и чрезвычайно наглядные уроки. Героем одного из них оказался Писатель, я же только смотрел со стороны и ужасался — как бы это выразиться точнее — краху гуманистического мировоззрения. Нет, никаких особенных трагедий не было, просто с четкостью взводимой пружины срабатывала логика неперменного наказания за добро. Отвечая той же мерзостью, что сменила гибельный кошмар былых лагерей грязным растлением человека в лагерях сегодняшних. Было так.

У отряда нашего был завхоз, тоже зек, здоровенный мужик из Красноярска, бывший таксист, севший за кражу двух ковров. Это странная должность — завхоз (ибо не было никакого хозяйства, кроме нас самих в отряде): самый старший зек в отряде зек, тот рычаг, которым нами управляли, и тот кнут, которым нас погоняли, первый исполнитель воли и прихоти лагерного начальства. Одновременно он должен был быть цепным псом и не забывать при этом, что тоже зек, чтобы после, а то и прямо в лагере не получить внезапно ломом по голове — очень распространенный, кстати, вид воспитания любых лагерных активистов. Было у нас восемь отрядов (кладбище называлось девятым), и очень по-разному вели себя их завхозы, одинаково только заботясь о своем будущем. Наш был оголтелым цепным псом — думаю, что просто по глупости, коей был наделен очень щедро. Его круглая большая голова с совершенно круглыми бараньими глазами (никогда ранее не видел я таких действительно скотских, неподвижных и тупых огромных глаз, только без той влажной грусти, что всегда теплится в глазах животных) то и дело мелькала возле штаба, где искал он и ловил указания, то в надзорке — на вахте у проходной, где ловил он лагерных офицеров, чтобы с ними лишний раз перекинуться словом уважения и покорства, то в бараке нашем повсюду, где всевластный он был хозяин. Бил он по малейшему поводу, а проснувшись — когда не в духе — без повода, и боялись его смертельно. Это он в значительной мере был причиной того общего душевного угнетения, что царило у нас в отряде с самого начала, превращая начина-

ющих зеков в отупевшие бессловесные создания. Одним из его первых начинаний было распоряжение никого не впускать в барак до отбоя, а как раз пошли дожди, похолодало, и продрогшие, мокрые, жались зеки у дверей, даже в самый дождь и ветер, даже после работы лишённые возможности отогреться и обсушиться. Ни в одном из отрядов такого не было. А Писателя как раз назначили культоргом, странная эта должность кем-то была придумана для показухи самоуправления зеков. Даже был такой балаган, что пришел офицер по политико-воспитательной работе и предложил отряду самому выбрать культорга (завхоз — тот назначался просто), но при этом фамилию того единственного, которого начальство утвердит, сразу назвал. Так что это были настоящие демократические выборы с голосованием и протоколом всеобщего единодушия. Кстати, и в бригаде каждой был культорг — этот явно и просто должен был помогать бригадиру в заставлении нас работать, отчего и брались в культорги (уже сам бригадир себе присматривал) кто пожестче и поздоровей (так что организаторами культурной жизни оказывались, как правило, могучие дебилы), а отрядный культорг — тот был заместителем завхоза. Хочешь — тоже бей, как он, хочешь — как угодно матерись или набери себе шестерок поздоровей в блюстители отрядной дисциплины и аккуратности, но чтоб в отряде был порядок и тишина. Дисциплина, послушание, исполнительность, полная чистота в помещении.

Так что Писатель попал в культорги случайно — по формальному признаку, что образован, да и пробыл им две всего недели, ибо в первый же час своего исправления должности, сразу после выборного собрания, сказал завхозу, что людей надо пускать под крышу в непогоду, потому хотя бы, что ведь и скотину пускают, а тем более во всех отрядах принято, что в любое время, когда свободен, можно находиться в бараке. Это была у нас личная инициатива нашего бараньего завхоза, потому что без людей в бараке чище и порядка больше. Был как раз день, когда лил дождь с утра, и пронизывающий дул холодный ветерхиус, и казалось сумасшествием выгонять людей на улицу, как это делали сейчас шныри (так именовались дневальные, дежурившие по бараку), ибо собрание уже кончилось. Завхоз, естественно, ответил новоиспеченному культоргу, чтобы тот не лез в чужие дела.

— Я тогда вынужден пойти к дежурному, — сказал Писатель.

— Ты хоть на хер иди, а будет по-моему, — сказал завхоз. — А в культорггах тебе не жить. И пойдешь горбатить на промзону. Мокрых бревен еще таскать не приходилось? Давай, иди к офицеру.

Тут Писателю ничего и делать не оставалось, ибо выбор ему предлагался простейший, вековечный, человеку всегда и всюду предстоящий: человеком оставаться или при должности. Оставаться самим собой или сдать, обвиняя время и обстоятельства, но зато на прекрасном теплом месте (и от работы культорг отряда освобожден). Зона вообще интересна тем, что обнажает догола, снижает до простейшего варианта очень многие узловые проблемы бытия, здесь ты можешь исповедовать любое мировоззрение, только не словами, что пусты здесь, а поступком.

Победили прочитанные книги, победило то спасительное нечто, что задавливало в себе большинство, чтобы жить на зоне было легче. И Писатель поплелся к офицеру, чтобы найти в нем поддержку своему сочувствию зекам.

— Вполне в такую погоду можно пускать в барак, — сказал встреченный им лейтенант с испитым, но незлым лицом. (Фамилию его Писатель еще не знал, а знал бы, между прочим, — не обратился бы к нему, ибо это был один из самых жестоких в лагере истязателей). — Я скажу сейчас. Не пускает кто? Дневальный?

Писатель что-то промямлил нечленораздельное, очень уж не хотелось жаловаться на этого барана, тоже зека, хоть и подонка. А не пускал действительно дневальный — только по приказу завхоза и боясь его кулака.

— Что же ты, сукин сын, людей под дождем держишь? — обратился лейтенант к дневальному. Шнырь этот, здоровенный тоже детина, только с мягким лицом семейного баловня, сидел за грабеж — отобрали у кого-то бутылку, потому что не хватало самим. Три года. Лучше его было бы высечь и отпустить, здесь этот маменькин сынок на глазах превращался в будущего блатного, в неминуемого в будущем преступника, только настоящего уже, а не бутылочного масштаба. А пока что ему очень нравилась возможность безнаказанно бить.

— Кто не пускает в барак? — сказал подобострастно дневальный. — Я, что ли, гражданин начальник?

И спокойно обратился к сгрудившейся толпе заключенных, мокрой и окоченевшей толпе:

— Я кого из вас не пускал? Тебя? Или тебя? Нет, ты скажи — я тебя, что ли, не пускал? — он поочередно обращался к стоящим впереди, а они, к ужасу и стыду Писателя, опускали глаза, молчали, отводили взгляд в сторону, пятались назад.

— Нет, ты мне скажи — тебя? — наседали шнырь, распаясь праведной обидой. — Кто же это вам напел, гражданин начальник?

— Когда холодно и дождь, можно пускать, — сказал лейтенант безразлично, недосуг ему было разбираться. Повернулся и ушел, скользя по размытой глине плаца для построений. А Писатель стоял, как оплеванный, а за шнырем стоял завхоз, усмехаясь, и стояли молча зеки вокруг, и никто не осмеливался войти.

— Мерины вонючие, настучали, — сказал шнырь громко. Он всего неделю назад был такой же, как они в этой толпе, но уже он поднялся на ступень по крутой лестнице лагерной иерархии, и уже он был совсем другой, и уже его следовало бояться, и невероятно сладостно ему было чувство, которое он теперь внушал, и то право, которым он теперь обладал. Ибо кроме права бить, он еще назначал, кому мыть сегодня полы, а полы были в бараке обширные и донельзя грязные, естественно.

А завхоз молчал торжествующе и величественно. И Писатель, постояв секунду, ушел. Не хотелось ему идти в барак, хотя он туда входил, когда хотел. И прилечь он мог поспать, когда хотел — и всего только молчанием заплатить. Означающим согласием и сотрудничеством с этим вот назначенным бараном. Как они выискивают таких? Безошибочно, быстро, наверняка. Только вот с Писателем ошиблись, гипноз образования их затмил. Но вольны исправить ошибку. И плевать. Но зеки-то хороши. Сволочи. Бедняги затравленные. Вот на этом все и держится здесь. А, да разве только здесь?

Это уже все Писатель говорил разысканным сразу же Бездельнику, Деляге и мне. И душа его прямо на глазах отходила и оттаивала, просто-таки светлела с каждой минутой, ибо срабатывала привычка анализировать и обобщать, а утоляемая привычка — это же и есть радость в ее чистом виде, так что уже не о поражении своем и не об обиде он рассуждал, а о потрясающе ярком факте. Ибо в сущности — повезло ведь неслыханно, если правильно рассмотреть происшедшее.

— Как воочию убедился я сегодня в правоте этих засранцев англичан, — бормотал нам Писатель торопливо. — В самом деле, всякий народ достоин своего правительства. На какой же крохотной модели это ясно видно!

— Ваша склонность обобщать, сэр, делает вам честь, но может завести гораздо дальше, чем вы находитесь сейчас, — благодушно сказал Бездельник. — Из культургов ты вылетишь на днях. Но неважно. Потому что я в тебе уверен — ты и в рядовых зек-ках сможешь попасть в непонятное. Ибо в тебе эта склонность не угасла. А как говорит моя теща, никакое добро долго не остается безнаказанным. Очень уж ты, брат, гуманитарий. Это я тебе как зек говорю. Набирающийся опыта зек.

— Я и добро отныне несовместимы, — сказал Писатель с патетикой провинциального трагика. Было видно, что он уже отошел. А потом мы еще и чифирили. Интересно, подумал я, вспоминая того провидца с пересылки — будут еще какие-нибудь уроки? Были.

\* \* \*

Замечательное понятие навсегда мне подарила зона: гонки. Или я услышал его раньше? Да, конечно, в Челябинской пересылке. Что-то я спросил у приятеля, он не оглянулся, задумавшись, а сидевший рядом наркоман Муса сказал:

- Не слышит. Гонки у человека.

Так вот гонки — понятие, ничего не имеющее общего со спортивным смыслом этого слова. И нет общего у него со словом "гнать" (тоже из уголовной фени), означающим, что человек что-то утверждает — гонит. Или следователю гнет свою версию, или в споре отстаивает что-то, или вообще рассказывает. Гонит. Но бывает, очень часто здесь бывает — ясно видишь, как тускнеет и уходит человек в себя. От общения уклоняется, не поддерживает разговор, нескрываяемо стремится побыть в одиночку с самим собой. (Что на зоне вообще очень трудно, и от этого сильно устаешь, очень хочется — особенно, если привык, — побыть хоть немного одному.) Что-то думает человек тяжело и упорно, что-то переживает, осмысливает, мучается, не находит себе места, тоскует. Сторонится всех, бродит сумрачный или лежит, отключенно глядя в пространство, но вокруг ничего не видит, вроде и не слышит тоже. Гонки. Это после свидания с родными почти

у всех бывает, это вдруг из-за каких-то воспоминаний, это мысли могут быть пустячные, но неотвязные. Гонки. После писем у многих гонки. От каких-то личных событий. По весне очень у многих гонки. И внезапные, беспричинные — от обострения вдруг чувства неволи. Не из лучших и очень странное состояние. У меня они от писем были. И чем лучше, чем роднее были письма, тем острее были недолгие гонки. Долгие — суток двое — были они после свидания. Только испытал их сам, я перестал пытаться выводить приятелей из этого состояния. Потому что только хуже от вмешательства. Необходимо переболеть самому. Или история нужна какая-нибудь, чтобы отвлекла и встряхнула. Так вот у Бездельника было.

В понедельник утром, в середине сентября, в дождь прибежал за ним стукач и подонок, шнырь штаба. Кстати, был он раньше завхозом этапной камеры, до сих пор помню, как петушился перед нашим неподвижным строем измочаленных этапом зеков. Угрожал, болтал что-то о дисциплине и карах, очень явно хотел к чему-нибудь придраться. На его предложение задавать вопросы вдруг отозвался какой-то зеленый мальчонка, даже странно было, что уже он не малолетка и что такой еще дурак наивный. Он вдруг спросил, по-школьному подняв руку, можно ли будет на зоне доделать татуировку, начатую им в тюрьме. А запрет на татуировки — категорический, в случаях, когда ловили кого-нибудь — и художника, и желающего украситься опускали немедленно в изолятор. И такой вдруг вопрос, все засмеялись. А этапник этот, Иван его звали, выволок мальчонку из строя и очень ловко, с удовольствием явным жестоко перед строем избил. Очень картинно при этом надел предварительно замшевые перчатки. Только это было не просто утолнением его жажды проявить власть, в этом еще расчет был, какой — я понял через час, когда нас по одному вызывали в его комнату, где жил он и двое его подручных шнырей, и отбирали они все, что сохранилось после этапа и шмона в лагере, когда нас принимали. Отбирали опытно, лишь у тех, по кому видно было, что жаловаться не посмеет. (Две недели спустя, кстати, я первую в жизни кражу совершил — в их комнату без них зайдя однажды случайно, вытащил я у них с приятелем из стенового шкафа большой пакет махорки, что они у нас же и отобрали. И не жалею. А тогда вообще был счастлив.)

Да, так вот потом Ивана этого перевели за что-то в шныри

(а они, эти лагерные полицаи добровольные, вечно друг на друга и доносы писали, и стучали устно, и через знакомых подсиживали, если хотели на чье-нибудь место попасть), и теперь он прибежал звать Бездельника. В оперативную часть, что добра отнюдь не сулило. Там сидели двое лейтенантов. Сразу же с порога спросили:

— Что это ты за письма домой пишешь? Вот, вернула цензура. Что здесь, мол, маленький убогий поселок при лагере, что медвежий угол и болото, что дожди и холодно, что осеннее у тебя настроение. Охуел ты, что ли? Мы его тебе сейчас мигом поднимем!

Лейтенантам было вместе чуть поменьше, чем одному Бездельнику, но он был зек, он понуро стоял перед ними, сняв шапку, и смиренно отвечал на вопросы.

— Так поселок ведь и правда здесь маленький, гражданин начальник, только те и живут, что охраняют. А что медвежий угол, это образ такой, не мной придуман. Мамин-Сибиряк, должно быть, сочинил. Еще в прошлом веке, стало быть. А что холодно, и дожди, и настроение — что ж тут страшного? Я не понимаю.

— Посидишь в изоляторе — поймешь, — сказал лейтенант. — Не хуя писать про настроение. Оно у тебя должно быть бодрое. И на погоду не хуя клеветать.

Тут он покосился на окно, за которым лил и лил — уже пятые сутки хлестал — холодный дождь. И с умешкой посмотрел на Бездельника.

— Для исправления полезно, — сказал он. — Понял? А расписывать про это в письмах запрещено. Понял?

Тут Бездельнику показалось, что он понял главное — в изолятор его не упекут, и он с искренней живостью сказал:

— Конечно, гражданин начальник. Давайте мне это письмо, я его пушу на сортир, а сейчас напишу другое. Что у нас тут тепло и солнышко, что цветы на зоне разводим, а в субботу — кино для всех, и настроение в полне отличное.

Тут мгновенно перед ним успел промелькнуть образ одобрительно кивающего бравого солдата Швейка и еще почему-то институтский военрук, часто говоривший к общей потехе, что “дела идут у нас отлично, даже, можно сказать, удовлетворительно”.

Лейтенант, однако, ничего про Швейка не знал, ибо идиотом Бездельника не обозвал. Но и не рассердился.

— Про цветы лишнее, — снисходительно ответил он. — А письмо напишешь после изолятора. Отправляйся сейчас на вахту к де-



журному и пусть он тебя опустит на пять суток. Постановление я ему после напишу.

— Да за что же? — грустно сказал Бездельник. — Я перепишу письмо, гражданин начальник.

— Сдуло! — закричал лейтенант, свирепея и привставая со стула. И второй поднял голову от бумаг. И Бездельника мигом сдуло в коридор. Тут ему пришла в голову великолепная спасительная мысль. Раз в неделю он писал по заказу замполита доклады для офицеров лагеря. Это были краткие выжимки из газет, страниц на пять из тетрадки, чтоб читать их по отрядам в четверг, назначенный для политического просвещения. Зекам же самим, кто пограмотней, эти доклады и заказывались в каждом отряде. А для трех или четырех отрядных офицеров их писал по средам Бездельник. Он писал всего один экземпляр, а потом его превращали в три или четыре красивым почерком, чтоб офицеры свой доклад могли прочесть, не запинаясь. И Бездельник смело двинулся по коридору в кабинет майора Тимонина — это был, кстати, единственный в лагере офицер, приглашавший зека при разговоре сесть, никогда никого не бивший и вообще человечности не утративший, отчего странно очень он выглядел среди других. Думаю, что потому именно, дослужившись до майора, был он всего-навсего замполитом в захудалом таежном лагере, где его начальник был по чину только капитан.

— Разрешите, гражданин майор? — спросил Бездельник и, войдя, даже не доложил по всей форме, что осужденный такой-то явился и просит разрешения обратиться, а сразу же, просто поздоровавшись, сказал:

— Гражданин майор, никак я не смогу к четвергу доклады написать, потому что меня лейтенант Решетников опускает вниз на пять суток.

— Это за что же? — спросил седой майор приветливо. И кивнул головой на стул. Но Бездельник не стал садиться, тут был натиск нужен и поспешность. Быстро и четко объяснил он, что плохое было настроение, и что правда ведь льют дожди, и что выйдет он теперь только в субботу из изолятора, потому что понедельник сегодня, и доклад уже напишет только следующий, а этот не напишет никак.

И майор Тимонин, по-отечески задумчиво глядя на него, сказал именно то, на что рассчитывал коварный зек Бездельник:

— Ты иди сейчас обратно в отряд, бери газеты и готовь доклад,

я поговорю с лейтенантом и на первый раз тебя простим. Потому что никак нельзя переносить или откладывать день политзанятий. Свободен.

Как на крыльях, шел Бездельник из штаба. А что были у него вчера гонки, вспомнил только вечером и со смехом.

Но с тех пор никогда, никогда, ни разу не сгущались тучи над поселком Верхняя Тугуша, и не лили дожди, не дули ветры, а сплошное сияло бодрое солнце. И поэтому все письма наши доходили до адресатов.

А про гонки я здесь должен добавить, хотя ту мерзость, из-за которой они меня постигли, было б лучше забыть совсем, но я дал себе тогда же честное слово, что накажу себя разглашением.

Тоже в понедельник это было, когда утром я сам себя поймал с поличным на подло быстром шевелении души, вдруг начавшей реагировать на жизнь по-лагерному. Вялые еще после сна, очень мятые (привозная здесь у нас вода, умывались не во всех бараках, а пока мы жили в клубе, где не было умывальника — вообще почти никто не умывался), сразу прохваченные на пороге холодным ветром и промозглой сыростью, толпились мы возле дверей, ожидая вызова в столовую, чтобы сразу после нее плестись на развод. Трое ребят сказали бригадир, что они сегодня работать не пойдут, их вчера освободили в санчасти.

— Я что-то не знаю, — сказал он. Остальные подтвердили. Да, вчера, когда все мы были на осмотре (в лагере свирепствовала чесотка), этих трех освободили от работы на неделю.

— Ну, тогда санитары отдали ваш список нарядчику, дело не мое, ваше счастье, что заболели, — пожал плечами бригадир.

И внезапно я себя явственно поймал на остро вспыхнувшей неприязни к этим троим, на желании поспешить, вмешаться и сказать, что я вчера там тоже ведь был и что это не от работы освободили их на неделю, а велели всю неделю после работы ходить в санчасть мазаться дегтем и прогреваться кварцем, что никто, никто, никто их не освобождал от работы. Похолодев и весь обмякнув как-то, ослабев, я стоял и с ужасом вслушивался в себя. Что за подлость, откуда это во мне, что за дело мне до того, что им повезло или просто они пытаются закосить? Все равно ведь, если нарядчику дали список, то они освобождены, если же не дали, то за ними сбегает в барак, и хорошо, если только обматерят за задержку развода. Причем здесь я? Отчего так остро и гнусно захотелось мне, чтобы всем было так же тяжело, как мне, отчего

так взбурлила во мне эта грязь, когда кому-то удалось ускользнуть? Мне от их отсутствия, кстати, не пришлось бы на работе трудней, мы на разных работали местах, оправдания не было и в этом. И ужасно муторно мне стало от короткого этого порыва к чисто лагерной подлянке. Да, я вжился в эту жизнь, это было ясно теперь. И смотреть за собой надо было куда внимательней. С этим я и вышел на работу. Заодно убедившись на разводе (нарядчик кричит фамилию, отвечаешь имя-отчество свое и проходишь вперед), что и впрямь освободили их в санчасти — по кошмарно запущенной чесотке, просто мест пока не было, куда их класть. Да какая мне теперь была разница.

И, пожалуй, сильнее гонок не было у меня на зоне. Только разве после свидания с женой. Но тут были другие ощущения.

\* \* \*

Очень грустное, страшноватое, главное же, если подумать, — разочаровывающее впечатление остается от близкого знакомства с блатными. Тот привлекательный образ вора или жулика, тот романтически-черный образ бандита, что вынесли мы все из читанных в детстве книг, он незримо витал, конечно, над моими здесь ожиданиями. Встретился же я — со множеством мальчишек, самая разнокалиберность, несимпатичность и разнохарактерность которых не давали никак ни малейшего основания, чтобы видеть в них некое единство, коим уважительно награждает их обобщающее название — блатные, о которых столько рассказывалось в тюрьме. Что же все-таки общего было у них у всех? Агрессивность? Не больше, чем у прочих. Или ненамного больше. Отвага, то преступное мужество, что делает столь привлекательным образ преступника в кино? Есть немного, это есть. Потому что именно блатные все-таки единственные, кто живет в лагере, не смиряясь с его режимом. Это они организуют себе время от времени перекиды — когда ночью через забор летят продукты, и немедля их надо подобрать и пронести в полной готовности попасться, вынести побои и отсидеть в штрафном изоляторе. Только мелкая это смелость, мальчишеская тоже вполне, что же им еще надо иметь, чтобы к высшей касте лагеря принадлежать? Ум? Наоборот! (И это очень важно.)

Странной мне сперва показалась фраза одного очень хорошего человека — лагерного нашего хирурга, вольнонаемного врача,

сделавшего даже карьеру некогда, но спившегося потом и сюда уже опустившегося, как на жизненное дно. Он спросил у меня, знакомясь, появились ли уже блатные в нашем только что возникшем отряде. Я чуть удивленно ответил, что отряд наш — сброд испуганных или хорохорящихся сопляков, и не в лагерь их надо было слать, а просто высечь в домоуправлении при соседях. Потому что большего наказания ни их преступления, ни их характеры (в смысле грядущей опасности для общества) никак не заслуживали. Появятся у вас блатные скоро, сказал хирург. Они ведь появляются, как вши — сами, неизвестно откуда. Я в ответ усмехнулся недоверчиво. Через месяц я убедился в полной правоте этого грустного доброго человека. Тут и мелькнула у меня мысль, быстро обросшая мелкими доказательствами. Мелкими, повторяю, я не смог бы их описать, просто не умею это делать, так что лучше изложу полную мою сложившуюся убежденность. Кстати, чуть об этом не забыл: выдающаяся сила — тоже вовсе необязательный для блатного признак. Очень средние, часто даже плюгавые мальчишки. Как-то видел я, как за баракком худосочный совсем мальчонка бил здорового и рослого парня, тот ему и не думал сопротивляться, только что-то бормотал, прикрывая лицо руками. Что за право знал за этим хлюпиком в черном костюме блатного (мужики носят серый, а блатные непременно раздобывают себе черный — тот же самый материал, но цвет становится знаком касты) избиваемый им более сильный зек?

Право силы знали оба, очевидно, никаких других они знать не знают прав. Кто же дал право силы хлюпику в черном?

Коллектив.

Да, да, да, коллектив, то человеческое единение, о котором веками со сладострастием твердили гуманисты всех мастей и направлений, на него возлагая главные надежды в построении замечательного светлого будущего. Коллектив. Община. Артель. Мафия, если угодно. Партия.

А когда я это сообразил, сразу все стало на свои места. Потому, кстати, с каждым в отдельности блатным очень трудно и странно разговаривать. Он мужик как мужик (в смысле кастового понятия: мужики — это те, кто не блатные, вся лагерная масса зек-ков), он ниже среднего — по уму, по развитию, по всему. Ниже среднего — вот что очень важно, он ничто без своего коллектива. А когда они все вместе — то хозяева. Очень гнусным и очень мерз-

ким оказалось это сплоченное единство, так что только любопытство понуждало, понукало меня с ними общаться. Западло работать, если ты блатной, и боятся их бригадиры заставлять, но зато не запахло им дружно заставлять работать мужиков — кулаками, палками, чем придется. Как только попросит их об этом бригадир или кто-нибудь из вольного начальства. И в бараке за порядком и послушанием наблюдают очень тщательно блатные, выполняя тем самым функции надсмотрщиков и внутренних полицейев, только сами они это не осознают. Потому что убежденно полагают, что мужик должен работать и молчать. Почему? Я рискнул об этом спросить, и не однажды. Пожимали презрительно плечами. И презрение это поровну относилось к мужику и ко мне, кто спрашивал, потому что я не мог, как видно, сам понять простейшие вещи, а мужик — он позволял с собой такое, потому ведь и мужик он, а не блатной. Большого я добиться не мог, да ведь и не надо большего, мне кажется. Позволял с собой мужик такое и тем самым плодил себе хозяев.

Их немного было в каждом отряде — человек по двадцать, не более. И везде они отдельно жили, самую лучшую комнату в бараке забирая или как-то еще отгородившись, если помещение было одно большое. Сами они жили семьями, человек по пять в семье в среднем, в каждой семье негласно старший был, но семейники друг за друга отвечали, что случись. Смысл семьи был в этой ответственности, и в опоре коллективной, если драка, и в дележке поровну всего, что удавалось добыть в добавку казенной пайки.

А на другом полюсе лагерной иерархии были чуханы. Это опустившиеся мужики, это те, в ком не хватает сил и духа — даже на то, чтобы содержать себя в чистоте. Интересно, кстати, — не отсюда ли и бытующее на воле слово зачуханный? Или наоборот — не от него ли слово чухан? Не знаю. Но звучит оно очень выразительно. Это и оскорбление в разговоре, если хочешь кого-нибудь оскорбить (хотя главное оскорбление — козел, уж не знаю, причем тут это симпатичное животное), даже есть такой глагол на зоне: зачуханить, довести то есть до такого состояния, что опустятся у человека душа и руки. Рваные, грязные, мерзнущие, понукаемые и презираемые, чуханы выполняют на зоне те тяжелые и грязные работы, на которые не шлют мужиков. От надрывного этого труда они катятся дальше вниз. Это главным образом у чуханов развивается здесь дистрофия или дикие

вдруг идут нарывы по телу. Я здесь понял окончательно и наверняка, что в таких вот крайних ситуациях существования не в здоровом теле — здоровый дух, а наоборот вовсе — сильный дух охраняет и держит тело. Это чуханам начинает не хватать вдруг еды, и они готовы на что угодно за птюху хлеба, они лезят по ночам на помойки, чтоб собрать в целлофановые пакеты (вот единственный в их жизни знак двадцатого века) неразделимо слипшуюся гадость — выливаемые отходы и остатки. Лучше я не буду продолжать о них. Только их здесь очень, очень много, чуханов, в разных стадиях распада и падения. И плохие у них очень глаза. Мертвые, мутные, отчужденные. Сразу видно, что надломлена коренная какая-то пружина.

Кроме работы на промзоне, кроме мытья полов в бараке, кроме стирки одежды для блатных, кроме приноса воды, когда привозит ее машина, чуханы еще стоят на атасе. Это то же самое, что на стреме или на шухере. Ходит возле барака человек, словно привязанный на незримом длинном поводке, или стоит неподвижно в одном месте, невзирая на дождь или ветер, холод, снег или жару, длится это долгими часами. Атасник. Все его назначение — вовремя предупредить кого-то, что поблизости лагерное начальство. Страшная это штука — зимой, но атасники сезона не разбирают. Что угодно может происходить в бараке — просто дружеская встреча за чаем, но атасник все равно стоит. Потому что нам нельзя уходить из своего барака в другой, а кого застанут в чужом — пятнадцать суток изолятора. Иногда атасник выставляется на кого-нибудь конкретного: например, оповестить, если кто-то нужный блатному пройдет к себе в барак или в штаб. Только чаще всего это дозорные и часовые. На промзоне вообще без атасников не обойтись: кто-то должен загодя увидеть начальство, чтобы вовремя предупредить спящих или чифирящих в биндуге блатных — чтоб успели они встать и сделать вид, что участвуют в работе. Их нещадно бьют, атасников, если прозевают или предупредят поздно, и не менее сильно бьют, если потревожат зря, а начальство проходит мимо. Кулаками, сапогами, досками — здесь не разбирают, чем бить. Окровавленные приходят они в санчасть. Что случилось? — спрашивает врач, зная заранее одинаковость ответов. Споткнулся, упал, расшибся. И застывшее в их глазах покорство, и животный затаившийся страх.

Но теперь о самом главном, ради чего я это все писал. Удивительно здесь, нет иного слова, как наш лагерь представляет со-

бой страну в миниатюре. Все грубее, обнаженной, конечно, многое смещено и чуть иначе. Но модель! Конечно, карикатура: у блатных на воле — черные “Волги”, а у наших — черные костюмы. Но уверен я, что сходство взглядов, мизерность души и готовность на все — сходятся, как две удачных копии. А сплоченность, круговая порука, замкнутость в своей касте? Сила черных костюмов — в их единстве, остальные — каждый сам по себе. А один — попробуй слово сказать. А охранники, они только снаружи, и блатные — позарез им нужны. Нет, не зря матрешка изобретена именно в России: удивительно похож наш лагерь на свой величественный прообраз. И еще: тут борьба за должности (со взятками, доносами и интригами) — такая пародия на волю, что хоть плачь. Я сказал здесь одному грузину: “Слушай, Дато, а ведь в лагере у нас стать заведующим баней так же трудно, кажется, как в Грузии стать, к примеру, директором магазина?” Он ответил, не задумываясь: “Что ты, здесь трудней гораздо!”

\* \* \*

Женщины лагеря — педерасты — парии и мученики зоны. Этот путь для большинства из них начинается издалека, еще в тюрьме. Чаще всего в наказание — за воровство в камере, за донос, в котором уличили (и просто по подозрению порой), за какой-то проступок еще на воле, о котором сообщили в тюрьму. Для других, для многих — ни за что, по системе игры, издавна существующей в тюрьме и особенно привившейся у малолеток. Взрослые в эту игру начинают играть от скуки, или если кто-то приходит в камеру всем особенно несимпатичный, или просто, наконец, если есть заводила игры, инициаторы ее и активисты. Так однажды в совершенно спокойной взрослой камере следственной тюрьмы в Волоколамске, где сидели мужики под тридцать, появился при мне двадцатилетний мальчишка, за избивание кого-то в лагере привезенный для получения нового срока. За неделю его пребывания камера преобразилась, он послужил словно центром кристаллизации всего темного, что бродило в остальных, ища себе выхода. Сразу двоих — с разницей в несколько дней всего — превратила камера в педерастов, и нельзя было остановить этот на глазах совершающийся страшный процесс — я, во всяком случае, не сумел. Третьего, очередную очевидную жертву, мне спасти удалось. Путем неожиданно удачным: отчаявшись в угово-

рах и не в силах видеть побои, я громко заявил, что выламываюсь из камеры, то есть стучу, зову начальство и прошу меня перевести. Забавно, что это подействовало. И не столько в силу сложившихся превосходных отношений, а из-за некоего странного и смешного престижа: нашу камеру часть тюрьмы знала благодаря мне — я отгадывал кроссворды, и сокамерникам очень льстило, когда вечерами нашу камеру выкликали разные другие, прося, к примеру, чтобы срочно им назвали хищную рыбу из пяти букв. Как было лишиться такого человека? И остался нетронутым третий, хотя полностью уже был подготовлен: спал под шконками, и глаза боялся поднять, и за общий стол не садился.

Тюремная игра эта — знаменитая “прописка”, ею пугают зеленых зеков еще раньше, еще в камерах предварительного заключения в милиции, где всегда находится бывалый или просто болтливый и охочий попугай сосед.

Прописка новенького в тюремной камере — это система вопросов (или приколов), задаваемых ему старожилками. Начинается с простых и не сразу. Два-три дня живет в камере человек, и чего он стоит, обычно видно очень быстро. Если стоящий, свой, привычный парень — отменяется, забывается традиция. Если чему не понравился: труслив, например (это видно, ох, как сразу видно в камере), или жаден (тоже очень скоро становится заметно), неумеренно хвастлив или надменен, и дурак если к тому же, неряшлив, вызывающе забывчив к этикету камерной жизни... Впрочем, о последнем — отдельно.

Мы и едим в камере, и храним здесь свои продукты из передач и ларька, а параша — она стоит тут же, и никак не унять и не уменьшить естественные отправления человека, а если камера еще битком набита, переполнена или просто человек на тридцать-сорок... Так возникли простейшие правила, сразу же объясняемые новичку: на парашу — только, если никто не ест, даже в дальнем углу если никто ничего не жует, и наоборот — если кто-нибудь сидит на параше, то нельзя даже на секунду приоткрыть занавеску, укрывающую полку с продуктами или просто дневными пайками хлеба. Если даже просто где-нибудь открыто лежит еда — хлеб, забытый на столе, например, или с утра приготовленный к дележке, не задернута занавеска продуктовой полки, или возле решетки (где прохладней) лежит незавернутое съестное — путь к параше запрещен. Весь нехитрый ритуал этот — разумнейшая условность: если нам столовую и уборную униженно соеди-



нили в одном пространстве, то мы их разделяем временем. Очень важный для душевной сохранности ритуал. Нарушаемый — что поразительно — то и дело. По неряшливости, по хамству, по забывчивости, по невидимой для себя самого и для самого себя неощутимой сдаче души тем силам, что неумолимо и настойчиво начинают в тюрьме, а потом на зоне толкать человека по наклонной плоскости вниз — к безразличию и опустошенной апатии. Это быстро выразится и внешне в его полном равнодушии к своему виду, облику, состоянию. Но забывчивость эта, видимое пренебрежение к окружающим вполне могут явиться и следствием внутреннего, душевного хамства, наплевательства к чувствам и ощущениям других.

Итак, он замечен в этом. Да еще и несимпатичен, неприятен сразу нескольким. И камера решает: прописка. Тут еще огромную роль играет, разумеется, и физическая сила новичка: рослым здоровякам и силачам легче (хотя те двое, например, чье падение я видел в Волоколамске, были очень здоровые молодые ребята — главное все-таки в силе духа, во внутренних данных человека). Хилые — в куда большей опасности. Слабодушные, трусливые, нервные — в особенности. Но даже вполне развитый физически, с каждым по отдельности могущий справиться новичок — он ведь противостоит сейчас всем, да и камера еще кажется ему на первых порах монолитно сплоченным коллективом сжившихся и сдружившихся уголовников, знающих уже нечто, до чего ему еще далеко. Он обычно насторожен, сдержан и осмотрителен. Если же слишком он хорохорится и бодрится — верный признак внутреннего испуга, еще более привлекающий внимание желающих поразвлечься. Словно у страха есть легко различимый запах (а так и кажется порой, что есть), привлекающий звериные инстинкты. И — прописка.

Предлагают поиграть в игру. От тюремных игр не отказываются. В летчики и шахтеры, например (игр много). Кем ты будешь? — спрашивают его. Неизвестно и непонятно то и другое. Ну, шахтером, отвечает он. Тогда ползи под шконками, там забой, собирай уголь. Он ползет, обтирая пыль и грязь под нарами. Вылезай. А теперь кем будешь? Ну, наверно, лучше летчиком, говорит он. Ему завязывают глаза полотенцем. С какой шконки будешь лететь — с нижней или верхней? — спрашивают его. Испугался если, скажет — с нижней. Но он уже слышал и понимает, что главное — ни в каких обстоятельствах не проявить себя трусом. С верхней,

отвечает он. А на домино будешь лететь или на расставленные шахматы? — спрашивают его. Когда стоишь с завязанными глазами, очень живо, очевидно, представляется картина того, как лежишь плашмя с двух метров на острия расставленных фигур. Плохо это, если выберет новичок домино: и свалиться его заставят, и прописка начнет ужесточаться. Если же преодолеет себя и спокойно скажет: на шахматы, — будут еще минуты три страха, и все. Пока расставляют фигуры, пока подсаживают на шконку, и секунды самые страшные, когда надо самому слететь с нее — свалиться всем телом вниз вслепую. Резко дернувшись — была не была — плюхается он, ожидая острой боли, но падает на растянутое одеяло.

Только игры эти вовсе не всегда так безобидны. Могут предложить другую (выбор целиком зависит от сложившегося отношения камеры). Новичку могут предложить состязаться с кем-нибудь из старожилов в стойкости к боли. Им обоим завязывают глаза (сперва старожилу), садят по обе стороны стола, мошонку новичка, он чувствует это с ужасом, затягивают тонкой веревкой, конец которой — это ему объясняют — дается в руки сопернику. И ему вручается конец так же привязанной веревки. Начало — строго по команде. Он стремительно натягивает веревку, ощущает невыносимую боль, кричит и тянет сильнее, но боль еще острее, и он почти теряет сознание, ибо тянет сам себя — веревка просто перекинута вокруг стола. Ему развязывают глаза и смотрят, как он отреагирует на это издевательство.

Новая игра — автобус. Это новичок, становящийся на четвереньки, а ему на спину взгромождается кто потяжелей. Поехали! Новичок проходит метра два-три — то пространство, что есть обычно в камере, — и останавливается повернуть и передохнуть. Всадник-пассажир спрашивает его, какая остановка. Соблюдая тон игры, новичок называет какую-нибудь. Поехали дальше! Это будет длиться до тех пор, пока он не догадается сказать: конечная остановка.

Очень много вопросов на сообразительность, вообще разум ценится в тюрьме и лагере, потому еще, что среди попавших сюда очень, чрезвычайно много умственно недоразвитых, отсталых и неполноценных. И еще нельзя в игре показать, что обижен, уязвлен, оскорблен. Ибо игра есть игра. Например, — в звездочеты. Звездочет-новичок лезет под телогрейку и должен сквозь ее вытянутый сверху рукав-телескоп считать громко звезды, нарисованные на

бумаге — он их ясно видит через рукав, как сквозь трубу. В это время на него через рукав неожиданно выливается таз холодной воды — таз для стирки, именуемый почему-то Аленкой, всегда есть в камере. Как новичок отреагирует на это, вылезая мокрый под общий хохот окружающих?

— Ты меня уважаешь? — спрашивает кто-то из старожилов. — Да! — готовно отвечает новичок. — Тогда выпей за мое здоровье кружку воды. — Он выпивает. — А меня уважаешь? — спрашивает второй. — Тогда и за меня кружку. — А в камере больше десятка человек, как правило. Кружек после трех-четырех это становится пыткой. Догадайся, новичок, на второй или на третьей кружке догадайся сказать, что уважаешь всех и пьешь последнюю за общее здоровье.

Сколько в камере углов? — спрашивают его. Четыре, отвечает он, не задумываясь. Неверно. Угол на языке прописки (вообще-то не употребляется это слово) — уголовник, надо назвать число людей в камере. Но откуда новичку знать об этом? И не надо знать, ибо цель множества вопросов — именно в том, чтобы не было ответа, ибо глупые эти детские вопросы за неотвечание наказываются битьем — но об этом чуть позже. И полным-полно поэтому вопросов, на которые верные ответы не дашь, если их не знаешь заранее, — тут, кстати, заодно выясняется, с кем общался новичок на воле, ибо многие из сидевших ранее приносят домой рассказы о прописке. Для знающего делается скощуха — уменьшается число вопросов или отменяется прописка.

А за все неправильные ответы назначается число штрафных ударов — коцев. Коцы — это вообще-то любая обувь, коц — это сильный удар подошвой снятого туфля (или сапога) по слегка оттопыренному (новичок наклоняется сам) заду. Боль терпима, хоть и сильна, а от ударов десяти-пятнадцати на ягодицах появляются синяки, с неделю мешающие сидеть.

Но теперь-то и кончаются пустяки (прописка длится несколько дней). Теперь, когда он знает, что такое боль от коцев, задается первый зловещий вопрос:

— Триста коц или глоток из параши?

И не дай тут Господи струсить перед ожидаемой болью. А на этом вопросе многие пасуют, бездумно предрешая себе будущее. Вообще в тех семи тюрьмах, что довелось мне повидать, была уже канализация, сделать чисто символический глоток проточной воды из параши кажется малозначащим перед бесконечно

более страшной, уже известной болью. Но кто сделал это — становится чушкой, чушкарем — прозвище тюремного изгоя. Он теперь будет есть отдельно и никто не подаст ему руки. Его может оскорбить или ударить любой — и не вздумай он дать сдачи: коллективная ждет его расправа. Он переступил порог, он в иной теперь тюремной касте. А ошалевшие от безделья великорослые двадцатилетние дети во все жестокости играют всерьез. Чушка ест отдельно, а не за общим столом, убирает камеру он, скоро он будет и стирать на всех, а зайдет разговор о драках, он будет поставлен посреди камеры в качестве тренажного манекена, и на нем будут показываться удары и болевые приемы. Через небольшое время его почти неминуемо сделают педерастом, если не успеет он за этот срок уйти на этап, выломиться из камеры в другую, попросив об этом у начальства (но не объясняя, в чем дело, разумеется, доносы караются незамедлительно при первой возможности). Но и в новую его камеру подкричат через решку или на прогулке, передадут записку, даже рискуя карцером и побоями от надзирателей, — нет, покой он получит на время только в специальной камере для обиженных. Но это только перерыв в его уже почти обозначенной судьбе.

Триста коц, отвечает не побоявшийся, разделяющий общее (чисто игровое, символическое) отношение к параше и всему, что связано с ней. Триста ударов лучше, отвечает он. И будет вознагражден: ударят его раз десять — и скощуха.

Но вопросы еще не кончены. Безобидные (не очень страшные, вернее) перемежаются с серьезно опасными.

— Пику в глаз или в жопу раз? — спрашивают его. Трудно верить, но я видел сам, как сдался молодой парень именно на этом вопросе. Пика предъявляется тут же, и это действительно серьезное оружие: очень остро заточенный длинный черенок столовой ложки выглядит, как нож или, скорее, стилет. И все-таки, найдя в себе силу отчаяния, надеясь на что-то, новичок выбирает пику в глаз. Это очень страшно, ибо его еще и предупреждают, что он ударит сам. Завязывают глаза носовым платком, дают в руки этот стилет из ложки. Бей! Надо видеть в такой момент лица испытуемых, это словами не описать. Бей! Мешает инстинкт самосохранения, он осторожно приближает — прислоняет острие к глазу. Бей с размаху! — рычит камера азартно и угрожающе. Он убыстряет движение, но все-таки останавливает острие перед самым глазом — все естество его сопротивляется сейчас, он дрожит,

покрываясь потом. Бей, хуже будет! — настаивает толпа. И ведь бьют себя, вот что поразительно. С размаху, отчаянно. Стоящий сбоку успевает (говорят, всегда) подставить тетрадь или припасенную обложку книги, он для этого и стоит наготове. Это одно из последних, часто последнее испытание. Новичок теперь полноценный житель тюрьмы.

Таковы мерзкие и мрачные игры недоразвитых жестоких детей. Их традиция то затухает, то вспыхивает вновь и не только — совсем не только у малолеток. Но когда я в разговорах осуждал их, мне возражали с жаром и убежденностью. Говорили об испытании мужества, о вообще проверке человека на вшивость, о возможности сразу определить тех, кто при случае, испугавшись боли (а менты, надо сказать, умеют бить) — выдаст, расколется, донесет. Что-то есть в этом оправдании, что-то есть, и навряд ли с этим стоит спорить. Только еще более явно есть в этих играх психологическое назначение: выделить сразу и отчетливо тех, на ком можно будет легко и невозбранно сорвать злость от своего бессилия, унижения и бесправия, тех, на ком сможет беспрепятственно разрядиться вся накопившаяся ненависть, весь запал воспаленных нервов — выделить кого-то, кто ниже, ибо это значит, что ты еще не на самом дне. В лагере это разделение продолжается еще более явно и еще более усложняется.

А бывает и вовсе просто: предлагает старожил новичку: давай, мол, сыграем в шашки. Под интерес? Нет, на просто так. И хищно настораживается камера. Это “на просто так” означает ставку на сдачу себя в педерасты, камера это знает уже, все, кроме новичка, знают, он же узнает это, когда будет уже поздно. И уже не сможет отказаться. Ибо рычаг принуждения — побои, носящие уже как бы законный по тюремной традиции характер. Коллективные, длительные, безжалостные. В перерывах — будут уговаривать, что, мол, ничего в этом страшного, только один раз и тогда побои прекратятся. Не хочешь, так давай в рот. Последнее, как ни странно, соблазняет многих, отупевших уже от боли и унижений, отчаявшихся, ищущих любого выхода.

Но нет, не прекратятся побои. Он уже другой теперь, он теперь петух (так зовут на зоне педерастов), и кошмарна его судьба — безнадежна до конца его срока. Он теперь отделен от всех этим новым своим качеством, кто угодно бьет его, кто угодно унижает, что угодно можно заставить его делать. И уступит он себя скоро — полностью, и таким поедет на зону. В лагере пету-

хи выполняют самые тяжелые, самые грязные работы, и еще их поднимают раньше всех, чтоб они мели и убрали двор, очищая его от мусора или снега, мыли все полы и закоулки в бараке. И едят они отдельно от всех, и посуда у них — отдельная, и вповалку они отдельно спят. Кому скучно — бьют их или издеваются, заставляют потехи ради драться друг с другом, человеческий облик большинство из них теряет совершенно. Их запуганность, опущенность и забитость — свидетельство того, как безжалостен ущемленный человек, сам довольно сильно поутративший в себе человеческое.

Посажу тебя за первый стол (где сидят прямо у входа петухи) — самая распространенная в лагере угроза. Превращение в петуха — самое страшное наказание. Это часто делают в изоляторах, если попадает туда известный доносчик (или крепко подозреваемый в этом), или крысятник — пойманный за кражей у своих, это делают с человеком, сводя с ним счеты за что-нибудь. Это очень страшная месть. Ибо нет здесь пути назад, возвращения в свое прежнее качество. Опустить, то есть превратить в педераста — можно, забыть это и стереть — никто не позволит. Первым — сам несчастный, знающий, что с ним будет за сокрытие где-нибудь на новой зоне своей бывлой принадлежности к этой особой касте. Хорошо, если от неминуемой расправы за это он останется калекой, но скорее всего — добьют до конца. Ибо даже те, кто с ним общался, еще не зная, что он петух, тоже теперь могут быть при случае наказаны посадкой за первый стол. Нет, скрывать это никто не рискует.

Одного петуха я запомню на всю жизнь. Мы с ним встретились в Калужской пересыльной тюрьме, где сидело нас в камере, как обычно, втрое больше того, на что она была рассчитана, и вповалку, тесно прижавшись друг к другу, спали на полу и на нарах. Было жарко, было грязно и душно, хотя потолки в этой тюрьме времен Екатерины Великой были очень высокие. Здесь сошлись этапы, идущие на восток из разных тюрем, а несколько — из знаменитой спецбольницы в Смоленской области, широко и зловеще известной своими нравами. В наказание за малейшееслушание там кололи больным огромные порции галопиридола и сульфазина, вызывающих жуткую боль во всех мышцах тела — человек пластом лежал несколько часов после укола, а потом еще долго отходил. Несколько таких, получивших порцию перед отъездом, ходили вялые, словно пришибленные чем-то, засыпали

где попало, постепенно приходя в себя. Среди этого этапа было трое, кажется, петухов — спали они отдельно ото всех на полу возле самой параша, и весь день сидели там же, не осмеливаясь двинуться с места. Двое были уже в возрасте, а один, рослый парень с симпатичным большелобым и большегубым лицом был, наверно, лет двадцати с небольшим. Было нас там человек шестьдесят-семьдесят, а когда все прижились и разместились в камере, то в углу отыскалось даже свободное место, его завесили равным одеялом, кинули на пол замызганный тюфяк, и туда по вечерам двое-трое коротким окриком звали этого парня, как собаку, и он покорно и торопливо шел. Получал он за это две-три сигареты, иногда кусок сахара или печенье — у кого-то, видно, сохранились еще остатки тюремных передач. А потом нас выкликнули, собрали, подержали часа три в отстойнике, выдали хлеб и кильку (кажется, килька была в тот раз, не треска), затолкнули в автозеки, до отказа набивая нами эту железную коробку, последних уже собакой подтравливая, чтобы вместились, и привезли на вокзал, где еще с час посидели мы на корточках, чтобы не смущать прохожих, и всадили в столыпин в подошедшем составе. Это был очень тяжелый перегон — трое суток нас везли до Челябинска. А конвой попался просто дурной — все зависит от характера и настроения конвоя на таких перегонах. В каждой клетке-купе было нас человек по восемнадцать, и по очереди мы спали на вторых и третьих полках, где можно было лечь, а сидевшие внизу дремали, ожидая своей очереди блаженно вытянуть ноги. Молодые конвоиры в наказание за какое-то возражение закупорили наглухо те чуть опускающиеся окна-форточки, что были с их стороны, духота стояла неимоверная. А за что-то, уж не помню, за что, кто-то выкрикнул, должно быть, какую-то ругань в их адрес, не давали нам воду почти весь первый день. А кормились-то мы килькой и хлебом, да еще была жара на дворе — июнь. Словом, трудный это был перегон. Целиком я помню его плохо.

Этот парень оказался в клетке у нас и лежал неподвижно на полу под лавкой, прижимаясь тесно к стене, чтобы сидящие не били его ногами, задевая и на него же озлобляясь — больше не на ком ведь было выместить чувства, что душили нас до красного марева в глазах.

А к исходу вторых суток полегчало сразу и сильно. На какой-то станции выкликнули и высадили ехавших на поселение, осталь-

ных распределили слегка, и камера наша показалась сразу просторней и для дыхания вполне сносной. К тому времени и конвой перестал лютовать, уставши, стало много свежей в вагоне от слегка приспущенных стекол, и не мучила уже жажда, только что напоили нас, разнося ведрами воду — пей, не хочу, и уже сводили в сортир, по пятнадцать секунд на человека, а потом тычок по голове или в спину, если задержался, и на улице летние сумерки легкие проступили, и тем, чья очередь лежать сверху, видно было, как мелькает, мелькает и проносится в окнах продолжающаяся всюду жизнь. Только ею мы любовались недолго, всех нас очень быстро сморил сон — первый настоящий полный сон за это время, а не дремотное тяжкое забытьё.

И приснилось мне — я спал наверху — что сижу я с друзьями, выпив водки, и кто-то из них поет одну из моих любимых песен. Я в тюрьме и потом на зоне слышал много разных песен, только те, что я любил, не пели — я был старше большинства остальных почти вдвое, и те песни, что я любил, были для них вчерашним днем. Как ни странно, пели молодые большей частью то же, что слышали по радио и в кино — в содержание, что ли, они не вслушивались? Не знаю. Не о том сейчас речь. Ибо мне-то снилась одна из тех, из нашей молодости снилась песня. В электричках пригородных пели ее когда-то калеки-нищие в старых гимнастерках. Я проснулся, а песня продолжалась. Тихо-тихо, но пели ее прекрасно. Как я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моею женой. Я заглянул в люк, выпиленный в третьей средней полке, которая откидывалась на петлях, как средняя дверь у шкафа с тремя дверцами, соединяя две полки в один настил.

Тихо пел, чуть высунувшись из-под нижней лавки и опершись головой на руку, тот несчастный парень-педераст. Голос у него был изумительный — нет, я не разбираюсь в певческих голосах, просто слушать было очень приятно, он был очень под стать песне.

Я перебрался через спящих и прыгнул вниз. Он, увидев меня, насторожился, замолчал, но не спрятался — уже чувствовал, очевидно, и безошибочно различал людей по степени опасности для себя. Я попросил его спеть еще раз ту же песню с самого начала и впервые увидел на его лице слабую улыбку. Она очень красила и очеловечивала его, у большинства петухов — не лицо, а неподвижная маска. Настороженность, зачумленность, страх. Он за-



пел. Очень негромко он запел, но постепенно просыпались наши остальные попутчики. Когда один из них сказал что-то унижительное в его адрес, я резко оборвал, мог такое себе позволить, в клетке нашей ехали старые мои приятели по этапам. Больше ему не мешали петь.

Уж не помню, о чем он заговорил, — кажется, пожалел, что нет гитары. Я спросил его что-то, он ответил. Очень здраво, очень спокойно. Почему-то он вспомнил о друзьях, они любили его слушать и на выпивках всегда просили спеть. Что-то он сказал еще, оживился, на мгновение потерял свою опасливую скованность, и я вдруг ясно увидел, как еще недавно совсем он был душой компании, его любили, все было ясно и привлекательно в его судьбе. А после — кража. Случайная, мелочная, глупая. Два года. Где и как он споткнулся в тюрьме, как попал в Смоленск, отчего начались побои, которых он не смог выдержать? Я бы спросил его об этом, будь мы вдвоем, но нас было слишком много, и мне стало жаль его: неминуемы были бы новые насмешки над ним и издевательства, а могли вдруг проявиться обстоятельства, за которые его снова начали бы здесь бить, а такое остановить я не мог, по тюремному канону был не вправе. Так что я его так и не расспросил толком. А он вскоре с чуткостью всех гонимых и ущемленных понял, что уже достаточно, и молча нырнул под лавку глубже. Я еще покурил немного, дав сигарету и ему — с бережностью он взял ее, стараясь не коснуться моих пальцев — что строжайше запрещено касте петухов, и курил, блаженно и небрежно откинувшись головой на грязный пол вагона. Мы молчали оба. Я все время думал о нем, сочиняя себе его прошлую жизнь и соображая с ужасом, что помочь ему ничем не могу — эти люди обречены. Если он, даже приехав один в лагерь, где никто его не знает, скроет свою тюремную масть, это рано или поздно обнаружится, неисповедимы пути разнообразной связи между лагерями. А тогда наказание неминуемо — коллективная расправа с очень частым смертельным исходом, видел я такое позже сам. Я кивнул ему головой ободряюще и благодарственно и полез к приятелям вверх.

А часов через семь-восемь был уже Челябинск, встречающий наш конвой, сидение на корточках, собаки, автозеки и тюрьма постройки годов двадцатых. То ли белые ее строили для красных, то ли красные для белых, как сказал мне спрошенный надзиратель. Нас, как водится, загнали в отстойник, где часа три-четыре

предстояло нам дожидаться, пока нас обыщут, сводят в баню и рассортируют по камерам, и этап наш, тесно сгрудившись, заполнил отстойник до отказа. Но в углу все же нашлось место — группа молодых парней его собой оградил, стоя бок о бок спиной к остальным, и туда проходили по одному. Кто блудливо и косо ухмыляясь, кто деловито нахмурившись. Цепь стоявших размыкалась время от времени, и один раз я увидел своего попутчика-певца. Он стоял в углу на коленях, опираясь спиной о стены. Мне, естественно, бросился в глаза его рот с ярко-красными воспаленными губами. Я отвернулся и протиснулся ближе к воздуху, текущему сквозь решетку. Больше я его уже не встречал.

\* \* \*

Я весь день сегодня думал о Боге. Думал коротко, обрывочно, по-лагерному. Длинных мыслей вообще здесь не бывает, куцые успевают лишь мелькнуть, пока что-нибудь не отвлекает внимания, потому что ты все время начеку. То охранник, то начальство, то знакомые, кого лучше обойти, — надо видеть зону все время. Говорят, бывалые зеки с полной точностью знают все, что происходит за их спиной. Оттого все мысли коротки и конкретны, и к сегодняшнему, много — завтрашнему дню обращены. А увлекся, ничего не стоит залететь, как здесь говорится, в непонятное. За баракom в этом смысле свободнее — если нет каких-нибудь разборок, толковищ, драки.

Но о Боге я не сразу начал думать. Почему-то сперва всплывали случаи — словно память себя листала, — когда люди какие-то вдруг ударялись в истовую веру. Я таких историй слышал много, впечатляли они изрядно, а вот что были правдивыми — не поручусь. Мне рассказывал один приятель, глубоко сейчас верующий пожилой человек, как сидел он в послевоенном лагере, где работал при санчасти санитаром. Это были как раз годы, когда насмерть схватывались повсюду в лагерях воры в законе и суки, то есть воры бывшие, решившие завязать, начавшие работать, пошедшие на контакты с властями. Лагерное начальство, исполняя инструкции, всюду стравливало их, чтобы сбылась чья-то идиотская, но ввиду личности сказавшего ее — должная стать провидческой — мысль о том, что преступный мир сам себя уничтожит. Загоняли, к примеру, целый воровской этап на сучью зону, и за неделю, если не быстрее, от вновь прибывших никого в живых

не оставалось. Или наоборот, соответственно. Мужики, судя по рассказам, хоть и старались не участвовать, но часто держали сторону воров в законе — здесь на зоне я даже понял, почему. Работать суки все-таки не хотели, отчего охотно шли в надсмотрщики, надзиратели, погонялы, а жестокость, вообще присущая таким людям, здесь удваивалась от полной безнаказанности и желания выслужиться, раз уже вступил на эту дорогу. У воров свято соблюдался кодекс того, что можно и нельзя в отношении мужика, иначе общий сходняк или пахан могли сурово осудить зарвавшегося, а у сук была полная свобода произвола. Так, собственно, и ведут себя блатные в сегодняшних лагерях. Но вернусь к приятелю. Однажды после кровешной ночи обоюдной резни, когда в его санчасть уже столько раненых принесли, что всю ночь не смыкали врачи и санитары глаз, вышел он на крыльцо в халате, залитом кровью, чтобы свежего воздуха глотнуть перед тем, как работать дальше. Постоял на крыльце немного, подышал морозом и снегом, утреннее солнце уже всходило, тусклое, но пробившее темноту, и внезапно, словно это вдохнул, ощутил он присутствие в мире Бога. Ясное и непреложное. Это чувство так и не покинуло его с тех пор. И когда я завидовал его выдержке, его твердости или его спокойствию, то вспоминал я и о том, как теплится в нем ясная вера, и завидовал уже ей как источнику этих завидных черт. Или вот рассказывали мне об одном астрономе, ныне очень известном, здравствующем, кажется, поныне — кстати, и сидел он где-то в этих же краях. Его взяли в конце тридцатых, а возможно — и сороковых, уж не помню, по какому делу, среди шедших в лагеря миллионов это вряд ли было важно тогда. А в тюрьме, пока бились с ним, вымогая признание (ибо оно считалось достаточным доказательством вины, и его следовало добиться), тосковал он более всего о прервавшейся своей работе над одной гипотезой, за которую бы жизнь отдать не жалко, только бы доказательствами оснастить (так Кибальчич, должно быть, в вечер перед казнью вдруг счастливым и спокойным себя почувствовал, передав адвокату схему реактивного двигателя — главное, как он считал, цельное и неоспоримое дело своей жизни). А для убедительной оснастки этой гипотезы астроному позарез нужен был какой-то справочный атлас, где расчислены движения небесных тел, так что не надо было отвлекаться на долгую математику. Но об атласе нечего было и думать, он остался дома среди множества других привычных и подручных книг. А в тюрьме

им, между прочим, давали книги, меняя их раз в десять дней. Подъезжала тележка к окошку в двери камеры — к кормушке, и зек-библиотекарь (или вольный у них был, не знаю) давал подходившему, не глядя, очередную из груды набросанных на тележку книг. Ну, я не буду нагнетать мистическую напряженность и загадочность, вряд ли астроном этот взволновался заранее от предчувствия чего-то невероятного, вряд ли. До него оставались только двое, потому он и обратил внимание на полученные ими книги. Одному дали томик стихов Демьяна Бедного, второму — Калинина "О коммунистическом воспитании", а ему библиотекарь так же безучастно протянул тот самый атлас, о котором он вождельно мечтал. Если этой истории поверить (она дошла до меня не из первых рук), то существенно ее продолжение — астроном говорил с тех пор о Боге совершенно иначе, чем прежде.

Вспоминал я и другие истории, все с одним и тем же концом. Думал о сложных собственных непонятностях. Я давно уже понимал (или чувствовал, утверждать не берусь), что есть нечто, организующее жизнь, только что оно собой представляет, это нечто, и следует ли писать его с большой буквы, наделяя даже какими-то чертами, — этого я решить не мог, а дыхание, несущее веру, не коснулось еще меня ни разу, а придумать здесь нельзя ничего, разуму не достичь того, что дается чувству. (Вспомнил еще вдруг некстати — или кстати? — как Бездельник хвалился своей идеей все поставить в этой области на свои места, к знаменитой ленинской фразе — или Энгельс это сказал, какая разница? — добавив лишь одно слово, эта фраза тогда даже в эпиграф журналу "Наука и религия" пошла бы. Вот как она тогда звучала бы: "Материя есть объективная реальность, данная нам Богом в ощущении". И все дела. Засранец ты, Бездельник, тебе все просто, а я тут ходи и мучайся.) Думал я, главным образом, о том, насколько легче жить на зоне верующим. Потому хотя бы легче, что можно думать, что Бог посылает им эти лагерные тяготы не в одно лишь наказание и назидание, но и затем еще, чтоб отметить их причастность к избранным и отмеченным, чтобы свое внимание к ним осветить этой жестокой пробой. Утешительная очень концепция, и бодрящая, как книга Иова, надо только малую малость — поверить в нее, но этого-то мне и не хватало.

А уже перед вечерней проверкой мне попался вдруг навстречу парнишка, что сидел здесь за отказ служить в армии, — был он из семьи пятидесятников, кажется, или баптистов, и сидело

за такой отказ брать оружие в руки много таких, как он. Положение же Саши Ващенко усугублялось еще тем, что уже с год, если не более, тому назад его отец и мать прорвались — причем буквально, ибо пробежали сквозь охрану — в американское посольство в Москве, попросили там убежища, и теперь, сидя там, дожидались своих детей. Нарожали они их — одиннадцать или двенадцать, и всех воспитали верующими. Дети же решили дождаться выхода Саши из лагеря, он здесь был уже последние месяцы, отсидев положенные три года от звонка до звонка, и теперь к нему ездили уже какие-то уполномоченные, уговаривая отказаться ехать с отцом и матерью, то суля всякие жизненные блага, то неприкрыто угрожая. Саша держался очень настороженно, и я давно его ни о чем не расспрашивал, натолкнувшись однажды на уклончивость и нежелание отвечать. Но сейчас он сам подошел ко мне.

— А ты знаешь, — сказал он, сильно пожимая мне руку, — слышал, что здесь на зоне есть сейчас пресвитер общины евангельских христиан? Хочешь познакомиться? Мужик что надо.

Почему именно сегодня здесь возник этот человек? Он давно на зоне?

— Уже недели три, — сказал Саша. — Он работает автослесарем, что ли. Приведу его после вечерней проверки. Прямо вот сюда, к бараку. Ладно? Вам будет обоим интересно.

Падал снег, частично тая где-то в воздухе, отчего казалось, что это одновременно снег и дождь. Тянул холодный осенний ветер — хиус. Очень было неуютно возле барака. Всюду сновали зеки, разбегаясь после проверки по своим нехитрым делам, я стоял, и слякотный воздух пронизывал меня, казалось, насквозь, хотя зима еще только начиналась. И еще знакомое возбуждение слегка трясло меня: к чему оно, сегодняшнее совпадение? Как я думал именно сегодня о человеке, могущем подарить мне веру! Так о деде-Морозе неотступно мечтают дети, когда подходит время смены года. Но уже мне столько лет, глупо надеяться на что-то подарки. Уж о том не говоря, что в сущности я не веры хотел как таковой, а той стойкости, которую она дает, — мне, во всяком случае, так казалось. Стало много тяжелей с холодами.

Он возник из темноты и снега, круглолицый, чуть моложе моих лет, оживленный, очень явно расположенный к разговору. Теплая рука, приветливо крепкое рукопожатие. Почему-то я спросил его сразу, по какой он сидит статье.

— Все по той же, — улыбочиво ответил он, — сто девяностая, голубушка. Распространял, значит, заведомо клеветнические измышления и порочил наш общественный строй.

— А распространяли? — спросил я, тоже улыбаясь ему, очень он мне сразу приглянулся.

— Да какой там, — он махнул рукой, — я молился, как все наши прихожане, и, как все, подписывал жалобы, что молиться нам спокойно не дают. Ну и повязали, как видите. Следовательно мне говорит: признаете ли вы, что утверждали письменно, что у нас за веру садят в тюрьму? Я говорю: а почему же я тогда здесь? Он говорит: здесь вопросы задаю я, признаете ли вы, что утверждали? И так далее. Одно и то же. Да когда же это я утверждал? Есть свидетели, что утверждал. Так ведь видите, я здесь за веру. Не за веру, а за то, что утверждал. Ну, три года, словом, дали. Круг-то замкнутый. Посижу, с меня не убудет.

Я невольно рассмеялся его словам, так спокойно он рассказывал все это, и лицо его было оживленным и безмятежным. Мне никаких вопросов он задавать не собирался. Мне, во всяком случае, показалось так, потому что он выжидающе смотрел на меня и молчал, чуть улыбаясь. Я достал табак и с трудом раскурил на ветру трубку. Сколько раз уже я натыкался здесь на необъяснимое обстоятельство: нам на зоне было не о чем говорить друг с другом. И какие бы необычные люди ни попадались, очень быстро иссякал к ним интерес — человек здесь склонен более всего говорить о себе и о касающемся себя, и любая отвлеченная беседа угасала после нескольких фраз. Я по многим замечал уже это, потому так и ценил собеседников, что гуляли со мной вокруг барака. Вот они разговорили бы его, подумал я. И куда они сразу делись, когда нужны?

— Я о вас-то, в общем, знаю уже, — сказал мне этот новый знакомец (тоже Саша, а тот Саша, что знакомил нас, он молчал — мы в отцы ему годились оба, он чего-нибудь, наверно, ждал от нашего знакомства, ибо явно был застенчиво любопытен). — И хотел я, повстречав вас, спросить: вы-то лично, как относитесь к слову Божьему?

Странно я, должно быть, посмотрел на него в ответ. Очень уж это продолжало мои мысли сегодняшнего дня. Он же, истолковав мой взгляд по-своему, торопливо объяснил:

— Не хотите если, говорить не надо. Просто я подумал, что, быть может, слово Божие вам полезно будет, нужно душевно?

И не только на сейчас полезно. Ведь пора уже о будущей своей жизни думать, как вы после смерти располагаете судьбой души вашей. Вы о Боге много ли думаете? А читать Евангелие не доводилось?

Чтобы сразу два вопроса закрыть, я ответил ему цитатой, насколько помнил ее сейчас:

— Верую, Господи, помоги моему неверию.

Он обрадованно и энергично заговорил. Он, по-моему, соскучился очень по такому ему привычному монологу. Это не передать дословно, да и не к чему пытаться. Нет, не из-за сути его слов, отнюдь нет, просто все это я читал уже много раз и слышал. О Христе и милосердии Божьем, об искуплении грехов человеческих и спасении души нашей, о великой благодати веры, о вручении себя Провидению, о неисповедимости путей Господних, по которым он ведет нас в этой жизни, о его неусыпной требовательной к нам любви.

А чего я, собственно, ожидал? Откровения, ниспосланного свыше? Он привычно стоял передо мной, мой ровесник, и привычно говорил мне все то же, что привык он и любил говорить, ибо сам, очевидно, веровал искренне, глубоко и неколебимо. И его держала эта вера и незримо сейчас за ним стояла. А за мной стояла школа, институт, десятки книг, ничему не научивших меня из того, что освещает жизнь до полной ясности пути по ней. И уж сейчас никак не ему было свернуть меня с дороги, на которой все невнятно и запутанно. Не по силам. Он, как видно, почувствовал это очень быстро.

— Все, что я знаю, — сказал он вдруг поскуцневшим голосом, — это из Евангелия, прочитанного мною много раз со вниманием и любовью. Вы ведь тоже, наверное, читали, лучших книг нет и не было на свете. И на все вопросы даются ответы, согласитесь.

Но не всем, подумал я, промолчав. Потому что сама ситуация сейчас больше занимала меня, и смотрел я на нас со стороны: три продрогших скрюченных зека тесно сжались у стены барака, и о чем-то говорят очень тихо, а вокруг снуют другие такие же, половина из них стучит, а мы трое говорим о Боге, и есть что-то нереальное в этом, книжное.

— Вас мирская суета развлекает, — сказал Саша неосудительно, — и о ней все мысли ваши. Вы подумайте, а я пойду, пора мне, отбой уже вот-вот. Приходите, если слово Божье вам понадобится.

— А если просто так посидеть? — спросил я.

— Это незачем, — сказал Саша мягко. — Устаю я очень за день, честно скажу вам, да и не о чем нам, наверно, говорить. Вы человек ученый, у меня вам узнавать нечего. А задумаетесь, приходите...

Настоящий пастырь, подумал я, пожимая ему руку. Профессионал. И не нашел я никаких в себе слов, чтобы объяснить ему, что просто поговорить здесь тоже бывает жизненно необходимо. Потому что не был уверен, что ему это бывает нужно. Он одним был единственным озарен. Что ж, удачи тебе, счастливый человек.

— Самый явный посланник Божий, — говорил мне отыскавшийся вдруг Бездельник. — Правду говорю тебе и всерьез. Он благую весть тебе принес. Ты просто очень вульгарно истолковал себе его появление. Что он тебя — вмиг обратить в истовую веру, что ли, мог — тебя, скептика от ушей до пяток? Он совсем о другом тебе рассказал своим появлением и своими пустыми для тебя словами. Ты так и не понял, что к чему?

— Честное слово, нет, — сказал я ему чуть растерянно.

— Эх ты, философ, — сказал Бездельник добродушно. — Перипатетик. Помнишь, были такие — гуляющие в садах? Что, если нам объединиться в гуляющих вокруг барака?

— Говори, засранец, — разозлился я, — настроение и без тебя пакостное.

— Это зря, — сказал Бездельник бодро. — Ему, дураку, явление было, благая весть, а он кукуется, неблагодарный. Что тебе должна была сказать эта встреча? Неуслышанное тобой — что? Очень важное: что на Бога тебе надеяться нечего. Что один ты здесь, и с бедами своими всеми один на один. Ты ведь о Боге сегодня как думал днем, признайся? Когда верующим завидовал, что им легче? Ты о Боге, сукин сын, думал, как о санчасти. Пожалее тебя, дескать, добрый доктор, снизойдет и выдаст бюллетень. Отдохнуть душой и телом, подлечить расстроенное здоровьишко и опять с прежней наглостью судить обо всем на свете. А тебе незамедлительно ответ: не надейся, голубчик, приема нет, санчасть наша не для таких, как ты, а для таких, которые бы от слов этого озаренного автослесаря плакали и таяли душой, аки воск. А вам ничего мы дать не можем, исцеляйтесь и спасайтесь сами, ибо ваше спасение — в вас самом. Врубился?

— Ну и сволочь же ты, Бездельник, — искренне сказал я, потому что здорово мне стало легче от его безжалостной идеи. Хо-



рошо я вдруг почувствовал себя. Человеком. Личностью. Мужиком. В самом деле, разве это настоящее все — эта мерзость и эти трудности? Да плевать я на них хотел. У меня же жизнь впереди. И какая, Господи, жизнь! Вот опять помянул я Твое имя. Неужели это правда мне знамение, а не просто случай? Или знаменательный случай? Или случайное знамение? Нет, я еще не кончился и не прогнулся. Жив. А значит — выдержу. Пустяки остались. Пятьдесят месяцев всего. Четыре пасхи.

### ГЛАСНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ ДЕЛУ МИРА

Обращаем внимание общественности на один новый аспект внутреннего развития в СССР, вызванный политикой гласности, осуществляемой Горбачевым. В последние годы резко усилился интерес советских людей к любой свободной литературе — не только к книгам, газетам и журналам, выходящим на русском языке за рубежом, но и к изданиям на тех иностранных языках, которыми в той или иной мере владеют советские граждане. Вся эта литература разными путями провозится или доставляется в Советский Союз, ходит по рукам, зачитывается до дыр. Огромным успехом там пользуются книги русских писателей-изгнанных — Солженицына, Максимова, Владимова, Аксенова, Некрасова, Войновича и других, которые, несмотря на гласность, советскими издательствами не печатаются. Их книги всегда пользовались исключительным спросом, нередко перепродавались за баснословные цены.

Наше общество, с момента своего основания, активно соучаствовало в этом процессе и достигало заметных результатов, о чем свидетельствуют отчеты правления. Однако, в настоящее время, в связи с психологическими сдвигами в СССР, спрос на неподцензурную литературу настолько возрос, что далеко перегнал все наши скромные возможности. Мы уже не в состоянии удовлетворять даже запросы наших старых друзей, приезжающих из страны, не говоря уже о создании новых каналов для переброски литературы. И нам приходится отказывать людям, которые обращаются к нам за книгами.

Поэтому у нас нет другого выхода как призвать на помощь общественность, всех людей доброй воли. Напоминаем, что проводимая нами работа представляет собой важный общественный интерес в мировом масштабе, ибо свободная литература, поступающая в Советский Союз, сильно ускоряет процесс превращения советского общества в общество открытое. А государствам с открытой, политически информированной общественностью невероятно трудно как планировать нападение, так и, тем более, его осуществлять. Таким образом наша деятельность способствует созданию мирового сообщества без напряженности между Востоком и Западом.

Мы просим всех людей доброй воли помочь нам как личным участием в нашей деятельности, в первую очередь со стороны тех, кто ездит в Советский Союз или общается с советскими гражданами, приезжающими за границу, так и литературой — мы готовы принимать даже слегка бракованные издания и "модерный антиквариат".

Но, главным образом, мы нуждаемся в денежных средствах для закупки заказанных нам советскими людьми книг и оплаты расходов наших добровольных помощников. Спрос на книги и другие издания теперь в Советском Союзе настолько велик, что этой нашей деятельности не видно конца.

Деньги и книги посылать по адресу: Postfach 111923 6000 Frankfurt am Main 11. Tel. (06171) 7 35 71, или переводить на счет: Frankfurt am Main Dresdner Bank B.L.Z. 500 800 00 Konto-Nr. 2132187.

ИЗ КНИГИ "КЕНТАВРОМАХИЯ"

Поскрипыванье снега под ногой,  
Как ручейка Журчанье  
Звучит, чтоб скрасить нам молчанье  
И слог в сознании оживить другой.  
Но день идет к концу, и близится прощанье,  
И Мойка выгнута дугой.

Пойдем, мой друг, пойдем над белою рекой.  
Здесь жил один поэт, его ты помнишь ясно.  
Он в этом доме жил. Смотреть опасно!  
Вот тень... смахни ее рукой!  
Тому и года нет — поэт другой  
Здесь побывал, я полон ежечасно  
Его прозрачную строкой.

Пойдем теперь и мы. Мне дела нет,  
Что этот путь кому-то неуютен,  
Все оттого, что я кобы бесплоден,  
Когда единожды воспет.  
Поскрипывает снег, мой дух свободен,  
И снят мучительный запрет.

23.12.71

Кентавр и Паллада

— Сними, владычица, раздвоенность мою!  
Я быть готов конем, седлу подставив спину, —  
Тогда избавь меня от разума, молю.  
Я человек, но лишь наполовину.

Освободи меня от совести, возьми  
Гнетущий пыл, порывы и сомненья.

Четвероногому — что делать меж людьми  
В венке, с проклятьем вдохновенья?

3.03.72

\* \* \*

Уходит вечер, ночь видна —  
И смерть приблизилась на сутки.  
Так эта истина ясна,  
Что стоит невеселой шутки.

На сутки раньше пустота  
Разучит ссориться, влюбляться.  
Так эта истина проста,  
Что будет чем полюбоваться.

Я эту истину приму,  
Как дочку, на руки спросонок: —  
Пускай подумает ребенок,  
Что легче сделалось ему.

23.12.71

\* \* \*

Прощай, не моя дорогая!  
В холодном свечении дня,  
В окне, на площадке трамвая,  
Мелькни, не заметив меня,

Растай в петербургском предзимьи,  
Где воздух колюч и тяжел,  
Панели в расплывшемся гриме,  
И ветер слезой изошел...

17.11.71

Ее приход

Зачем этот вечер ясен и сладок  
И долог, и уходящий час  
В окнах сгущается в виде складок  
Ткани, точно в последний раз?  
Я отплываю. Тускнеют лица  
Дневные, сумрак на материке,  
Во рту прохлада мятная длится, —  
И слово тает на языке.

6.03.72

\* \* \*

Не мучь себя: не избежать  
Тех дружб, возвышенных и жутких,  
Когда кощунственно дышать  
И размыкаться в промежутках.

Но сердцу страшно наблюдать,  
Как эти воды прибывают,  
И что за казни благодать  
Воображенью открывает...

1972

Желающие купить книгу

ЮРИЙ КОЛКЕР

ПОСЛЕСЛОВИЕ

стихи 1972–1978

могут обратиться к автору по адресу: 88/30 Мерказ Клита Гило Б,  
Гило, Иерусалим. Цена книги 8 шекелей. Стоимость пересылки  
учтена.

Третий день на автобусной станции Хьюстона начался для Алекса так же, как и два предыдущих: в грудe мусора он отыскал кусок картона и вывел на нем большими буквами "Нью-Йорк". Картонка уже послужила на своем веку — на обратной, более гладкой стороне Алекс разобрал запачканные надписи "Колумбус, Огайо" и "Канзас-Сити". Картонку со словом "Нью-Йорк" Алекс укрепил на груди с помощью шнурка, который он выдернул из своего огромного солдатского ботинка. Носить плакат долго в руках было тяжело — это он понял за два предыдущих дня.

Автобусная станция уже заполнилась народом. Проталкиваясь через толпу, Алекс читал укрепленные на груди и спинах самодельные картонные плакаты: "Мемфис", "Чарлстон, Ю. К.", "В западном направлении".

Наткнувшись на попутчика, люди отходили в сторонку, и начинались переговоры: у кого есть автомобиль, у кого — бензин или продукты на дорогу, кто обеспечит ночлег, кто — документы.

У Алекса не было ни машины, ни талонов на бензин, ни продуктов. Последнюю галету из своего армейского НЗ он доел вчера. В рюкзаке его, правда, лежала коробка конфет, но он

*Владимир Матлин*

**МИНДАЛЬ В ШОКОЛАДЕ**

скорее согласился бы умереть с голода, чем открыть ее. Единственное, что он мог предложить своим попутчикам, это вести машину, но водить машину умели все. Увидев его плакат с надписью "Нью-Йорк", люди подходили, расспрашивали, что он может предложить, и моментально теряли к нему всякий интерес. На второй день к Алексу уже никто не подходил.

Свой третий день на автобусной станции Хьюстона Алекс начал голодным и подавленным. Он все меньше надеялся на успех, но другого пути домой все равно не было, и он продолжал медленно кружить в толпе, читая надписи на картонках: "Атланта", "Санта-Фе", "Новый Орлеан"...

Многие лица в толпе примелькались — Алекс узнавал их издали. Его тоже узнавали и не обращали внимания, за одним исключением: высокий седой человек с плакатом "Новый Орлеан" то и дело поглядывал в его сторону, и Алекса не покидало неприятное чувство, что этот седой за ним наблюдает. Вчера он дважды подходил к Алексу и заводил какие-то пустые разговоры. Алекс отвечал односложно: он не любил разговаривать с посторонними людьми, стесняясь своего акцента. А сейчас, после вторжения в страну иностранных войск, говорить с акцентом стало просто опасно.

Протолкавшись через большой зал и миновав будочки, где когда-то продавались билеты на автобусы (это время казалось невероятно далеким и прекрасным, а ведь прошло всего шесть месяцев), Алекс вышел на улицу. Летняя жара спала, и стояла теплая осенняя погода. Алекс расстегнул на груди рубашку и прислонился к стене. От голода его мутило. Конфеты напоминали о себе, погромыхая в коробке, болтавшейся в рюкзаке. Он стал думать о том, как отдаст их Алисе. Как она станет спрашивать, что там в коробке, а он скажет "отгадай"; как она предположит, что это орехи в шоколаде, а он скажет "открой и посмотри", и как она пожалеет рвать красивую бумагу, в которую завернута коробка...

— Смотрите, в Хьюстоне тоже бывает хорошая погода.

Это был тот высокий, седой, с плакатом "Новый Орлеан". Он глядел на Алекса с выражением механической приветливости:

— Сам я из Нового Орлеана, и климат, по правде говоря, у нас тоже не самый лучший. — Он коротко рассмеялся. — А вам не приходилось бывать в Новом Орлеане?

— Нет, — буркнул Алекс.

— Вы, наверное, из Нью-Йорка?

— Да, из Нью-Йорка.

— Очень большой город, я там бывал. Меня зовут Арчибалд Нелсон.

Человек замолчал, вопросительно глядя на Алекса, и тому ничего не оставалось, как представиться:

— Алекс.

— Алекс? Что ж, будем знакомы. Впрочем, мы с вами уже разговаривали вчера. Вы здесь который день, позвольте спросить?

— Третий.

— Четвертый?

— Я сказал, третий.

— Простите, мне послышалось четвертый. Произношение, знаете ли, несколько другое...

Он сделал паузу, быстро оглянулся и сказал совсем иным тоном:

— Слушайте, Алекс, я хочу вам кое-что предложить. Мне кажется, в Нью-Йорк вам попутчика не найти. Не хотите ли поехать со мной в Новый Орлеан? Все-таки ближе к Нью-Йорку.

Торчать в Хьюстоне не было смысла, и Алекс сразу согласился:

— Но у меня нет ни машины, ни бензина... и вообще ничего. Я могу сидеть за рулем хоть сутки, но платить мне нечем.

— Я это знаю. Сутки сидеть за рулем незачем — здесь всего триста шестьдесят миль. Но вам придется кое-что сделать... Давайте пройдемся до моей машины — там поговорим.

Машина была запаркована совсем близко, сразу за углом, — выдавший виды "Бьюик", модель восемьдесят восьмого года.

— Старая, а бегаёт исправно, — сказал Нелсон. — Вот бензина нет. Зато есть бутылка виски. Понятно?

Он пристально посмотрел на Алекса.

— Не совсем.

— За бутылку виски мы получим полный бак бензина — как раз хватит. Это стандартная цена: бак бензина за бутылку. Значит, даю машину и бутылку, а вы обмениваете бутылку на бензин. Это будет ваш вклад в дело. Согласны?

— У кого обмениваю? — спросил Алекс, начиная понимать, о чем идет речь.

— Известно у кого, — Нелсон поморщился. — У наших освободителей, протянувших нам руку братской помощи. По-испански, надеюсь, вы говорите, Алехандро?

Вот в чем дело. Алекса часто принимали за "латино" — по акценту, темным волосам и смуглой коже. Что ж, сказать несколько слов по-испански он сумеет, да здесь особого красноречия не потребуется. Он нахватался простейших выражений, когда работал два года прорабом в Южной Калифорнии. Но как это сделать?

Нелсон заметил колебания Алекса:

— Здесь недалеко, по ту сторону центра, у них есть автобаза. Огромная, не меньше сотни грузовиков. Я думаю, там и нужно попробовать.

Они сели в машину — Нелсон за руль, Алекс рядом, и плавно двинулись с места. Светофоры не работали, так как днем электричество выключалось. Но особого значения это не имело: машин на улицах было мало.

— От чего они нас действительно освободили, так это от вечных заторов на улицах. Нет бензина — нет машин, — сказал Нелсон.

Город казался вымершим. Все эти зеленые, серебристые, голубые небоскребы, составлявшие гордость Хьюстона, стояли заброшенными: с отключенными лифтами и бездействующей вентиляцией они были непригодны. Впрочем, верхние этажи, трудно доступные для недавно созданной милиции, давали приют бродячему люду, сорванному с насиженных мест мобилизацией, страхом перед атомной войной и наступившим затем всеобщим развалом. Алекс и сам провел две ночи в одном из этих небоскребов, на двадцать каком-то этаже, на полу кабинета с табличкой "Глава отдела корпоративного права".

Как из ущелья, машина выскочила из оборвавшегося внезапно центра и оказалась среди бесконечных кварталов двухэтажных домов с выбитыми окнами. Сделав несколько поворотов, Нелсон притормозил возле тротуара.

— Там, направо за углом, — сказал он. — Я думаю, мы сделаем так: я останусь здесь с бутылкой, а вы, Алехандро, пойдете туда и попытаете найти покупателя. Только бензин! Денег не возьмем!

— Я попытаюсь, — неуверенно проговорил Алекс. Предстоящая встреча с "освободителями" его не радовала.

— Документы в порядке? — Нелсон по-своему истолковал неуверенность Алекса.

— Справка, что прошел проверочный лагерь и отпущен домой.

— Этого достаточно. Вы ведь не офицер?

— Нет, рядовой.

— Надеюсь, вы согласны, что вдвоем нам ходить не стоит?



Алекс не ответил: он уже был поглощен предстоящей встречей с солдатами.

\* \* \*

Территория автобазы была обнесена забором из колючей проволоки. Перегороженные шлагбаумом ворота выходили прямо на улицу. Перед шлагбаумом толпились вооруженные мексиканские солдаты: они осматривали грузовики, проверяли документы у водителей.

Алекс прошел мимо ворот, осторожно поглядывая на солдат. Он не хотел показаться подозрительным: в последнее время ходили слухи о нападениях партизан, и солдаты, наверное, нервничают. Он дошел до конца забора, перешел на другую сторону. Что делать, как к ним подступиться? Подойти и обратиться сразу ко всем — бессмысленно: они наверняка не доверяют друг другу. Надо бы отозвать кого-нибудь из них в сторону, но как это сделать?

Он еще раз прошел мимо солдат — теперь уже по другой стороне улицы. Они не обращали на него внимания. Алекс опять дошел до угла и остановился. Пора было на что-то решиться. От напряжения он перестал ощущать голод. Что ж, была не была... Алекс направился к воротам.

Когда он был от солдат шагах в двадцати, послышался скрип тормозов, и рядом с ним остановилась легковая машина. Из нее выбрался кубинский офицер с портфелем в руке и направился к будке при въезде на автобазу. А в машине, на водительском месте остался сержант.

Вот это удача! С кем еще говорить о бензине, как не с шофером?

Алекс сошел с тротуара, обошел машину сзади и приблизился к водителю. Тот заметил Алекса в боковое зеркало и обернулся. Маленькие серые глазки выжидательно смотрели на Алекса из-под выгоревших бровей.

— Добрый день, сеньор, — сказал Алекс и постарался улыбнуться. Испанские слова он произносил медленно и отчетливо: — У меня есть бутылка виски, я хочу обменять ее на бензин.

Сержант продолжал молча смотреть на Алекса, его веснушчатое лицо не изменилось, и казалось, он просто ничего не слышит.

Несколько обескураженный Алекс повторил:

— Виски меняю на бензин. Сеньор согласен?

Сержант помотал головой и сказал хриплым голосом:

— Но инглиш. Но ундерстанд инглиш.

На мгновение Алекс онемел. Что за черт?! Как бы ни был плох его испанский, — нельзя же все-таки принять его за английский. Алекс еще раз посмотрел на погоны и петлицы: все правильно, форма кубинская; он хорошо запомнил ее в проверочном лагере.

Но упускать эту возможность нельзя! Растягивая испанские слова, он произнес:

— Я... имею... бутылку виски! — Алекс запрокинул голову и показал, как пьют из горлышка. — Менять... менять... бензин.

Дверца хлопнула, и офицер плюхнулся рядом с водителем. Он был полноват, форма сидела на нем неуклюже, и выглядел он не то что пожилым, но недостаточно молодым для чина лейтенанта. Он взглянул на Алекса через окно машины и сказал сержанту:

— Что это за беседы с гражданским населением?

Алекс сначала понял содержание слов, а в следующее мгновение до него дошло, на каком языке они были сказаны. Кровь ударила в лицо, и сердце заколотилось. Ему захотелось бежать со всех ног, но он вовремя подумал, что на машине они его без труда догонят. Или пустят вдогонку очередь из автомата.

— Я по-ихнему не понимаю, товарищ лейтенант, — ответил сержант. — Он тут такие жесты показывал, что у него водка, мол, есть. Может, продать хочет. Спросите его, товарищ лейтенант. Очень надо...

Офицер откашлялся и, обращаясь к Алексу, сказал по-английски:

— Вы хотите продать нам водку? Какова ваша цена, пожалуйста?

“Господи, как от них отделаться”, — лихорадочно соображал Алекс.

— Боюсь, ваш водитель меня понял не совсем точно, — сказал он по-английски офицеру. — Я предлагал не продать, а купить выпивку. Если у вас найдется, конечно.

Офицер засмеялся:

— Видите, Пичугин, вы напутали. Он сам купить хочет...

— Врет он, — запальчиво сказал сержант. — Я, может, по-английски и не говорю, но соображение имею. Он жестом на себя, суку, показывал. Я, говорит, водку имею. Чего тут не понять-то? А теперь вас испугался и отпирается, меня дураком хочет выставить.

— Ладно, Пичугин, сейчас разберемся.

Офицер вылез из машины и внимательно осмотрел Алекса. Потом показал на рюкзак:

— Что там?

Алекс снял со спины рюкзак и протянул офицеру. Тот взял его за края и вытряхнул содержимое на капот автомобиля. Скомканные носки, трусы и рубашки выглядели при ярком солнечном свете особенно убогими и грязными.

— А это что у него? — спросил сержант, указывая на коробку, завернутую в пеструю бумагу и перевязанную красной лентой. Он стоял за их спинами, на груди у него висел автомат.

— Нет, пожалуйста, не открывайте! Это конфеты — миндаль в шоколаде. Для моей дочки. Прошу вас, не открывайте.

— Конфеты? — переспросил офицер. Он с любопытством рассмотрел коробку, поднес ее к уху и потряс. Потом сказал: — Нет у него водки, Пичугин.

— Его проверить надо, товарищ лейтенант. Подозрительный тип, крутится здесь, возле военного объекта. Нам каждый день про бдительность говорят. Чего он здесь крутится? Документы надо у него проверить...

При слове "документы" Алекс похолодел. Если дойдет до документов, все пропало. Он поспешно сказал по-английски офицеру:

— Вообще-то, я могу раздобыть виски. Если вы согласны, подождите здесь минут пять-десять, я принесу. Я быстро!

Он покидал вещи в рюкзак и сделал несколько поспешных шагов.

— Нет, нет, — сказал офицер, — мы вас отвезем. Садитесь в автомобиль. Куда ехать?

Алекс понял, что спорить бесполезно, и опустился на заднее сиденье. В конце концов, это и была его задача — найти покупателей на бутылку виски.

— Я знаю человека, который хочет обменять виски на бензин. Здесь, за углом.

— Он говорит, что может достать, — перевел офицер. — Предлагает менять на бензин.

— Там разберемся, на что менять, пусть только покажет бутылку.

Сержант включил мотор и резко взял с места.

Увидев Алекса в сопровождении двух военных, Нелсон приветливо заулыбался и вышел из машины.

— Кубинцы? — спросил он у приближавшегося Алекса.

Алекс подошел вплотную и ответил шепотом:

— Они русские. Одеты в кубинскую форму.

Улыбка окаменела на лице у Нелсона.

— Мне сказали, у вас есть бутылка виски на продажу, — сказал офицер по-английски, подходя к Нелсону.

— Не на продажу, а на обмен, — сказал Нелсон. — Бутылку виски — на бак бензина. Вот мой автомобиль.

— Бак бензина? — переспросил офицер, и в голосе его звучала неуверенность. Повернувшись к сержанту, он сказал по-русски:

— Они хотят бак бензина за бутылку.

— Да где же я его возьму, товарищ лейтенант? Вы же знаете, сколько его выдают — кот заплакал.

— Это ваше дело.

— Да что вы, в самом деле, как маленький, товарищ лейтенант! Отнять бутылку без всяких разговоров — и все! Чего тут международные отношения разводить! Мы имеем право: мы их, сук, освобождаем!

Сержант выступил вперед и, протянув руку Нелсону, стал настойчиво повторять:

— Виски... виски... гив ми виски... гив ми...

Нелсон вопросительно посмотрел на Алекса, и тот отрывисто сказал:

— Нет! Не давайте!

Солдат бросил на него злобный взгляд: он явно догадался, что сказал Алекс. Повернувшись к офицеру, он проговорил:

— Не нравится мне этот тип, товарищ лейтенант. Чего-то он крутит все время. И на чучмека похож. Давайте его проверим, нам все время про таких говорят, чтобы бдительность к ним проявлять. Мы у него документы не проверили...

Дальше медлить нельзя! Прежде, чем офицер успел ответить, Алекс метнулся в сторону, пересек одним прыжком тротуар и бросился в проход между домами. С обеих сторон были глухие стены. Он слышал, как сзади взревел автомобильный двигатель. Господи, только бы не тупик!

Вдоль улицы, на которую он выскочил, тянулась глухая огра-

да и кирпичная стена с другой стороны. Ни ворот, ни дверцы... Алекс несся из последних сил, рюкзак бешено колотил его по спине. Когда до конца улицы оставалось с полсотни шагов, он услышал сзади рев автомобиля.

Алекс почти добежал до угла, но машина влетела на тротуар, едва не врезавшись в стену, и преградила ему путь, Алекс с разбега ткнулся в капот. Сержант распахнул дверцу, но Алекс увернулся и бросился в противоположную сторону. Он слышал, как машина со скрежетом развернулась. На бегу Алекс оглянулся и увидел, что автомобиль несется за ним прямо по тротуару. Он спрыгнул на мостовую и услышал, как, шаркнув брюхом по асфальту, машина спрыгнула за ним.

“Нет, не успею”, — подумал Алекс, и в тот же момент ощутил сильный удар в спину. Он отлетел в сторону и покатился по тротуару.

\* \* \*

По мере того, как сознание возвращалось, Алекс все сильнее ощущал боль. Он словно выплывал из-под толстого слоя теплой воды, и чем ближе он поднимался к холодной поверхности, тем пронзительнее болело все тело. Он попытался пошевелиться и громко застонал.

— Ага, очнулся. Я ж говорил, не помрет.

Слова эти были сказаны по-русски. Алекс приоткрыл глаза и постарался понять, что происходит. Он полулежал на заднем сиденье быстро ехавшего автомобиля. Впереди, над водительским местом, он видел плотный белобрысый затылок сержанта. Офицер сидел тоже впереди, но обернувшись лицом к Алексу. В поднятой руке он держал бумажку, которую Алекс сразу же узнал: это была его справка об освобождении из проверочного лагеря.

— Значит, Александр Черняк? — спросил офицер, пропуская мимо ушей замечание водителя. — Родился в Москве? Давно в Америке?

Алекс не ответил. Каждый толчок машины больно отдавался в левом боку.

— Он бегать горазд, товарищ лейтенант, — снова подал голос сержант. — Сперва, падло, в Америку убежал, и тут тоже бегаёт.

Сознание постепенно возвращалось к Алексу. Преодолевая вялую апатию, он заставил себя возразить:

— Я выехал законно, с визой.

Голос его прозвучал чуть слышно, но сержанта это замечание вывело из себя:

— Как это "законно"? Это что за такие законы, чтобы родину предавать? Ну, до чего же нахальная нация!

— Ладно, Пичугин, — прервал его офицер. — Это к делу не относится.

Вскоре машина остановилась.

— Я пойду поищу, -- сказал сержант и раскрыл дверцу.

— Только недолго. Если его поблизости нет, сразу назад.

— Слушаюсь, — нехотя отозвался сержант. — Мне бы только эту машину разыскать...

Он захлопнул дверцу и вразвалку пошел от машины. Застонав от боли, Алекс повернулся к окну и увидел хорошо знакомое здание автобусной станции.

— Он надеется найти здесь вашего попутчика. Вы ведь знаете эту публику: если узнал про бутылку — не успокоится.

Голос офицера звучал мягко и даже, как показалось Алексу, несколько заискивающе. Алекс посмотрел на его лицо и увидел в близоруких глазах интерес.

Быстро взглянув в окно, офицер спросил:

— Вы давно в Америке?

— Четырнадцать лет.

— А где жили до эмиграции?

Алекс ответил не сразу. Что это — допрос? Сколько их уже было в проверочном лагере, этих допросов — и с угрозами, и с посулами, и с мордобоем...

— В Москве, — после паузы ответил Алекс. Он пытался справиться с мыслями.

— В Москве? — обрадовался офицер. — Я так и подумал, судя по произношению. Я ведь тоже москвич. А где вы там жили?

— На Метростроевской.

— В самом деле? Я этот район хорошо знаю, я учился в школе на Крымской площади.

— На Крымской? В двадцать третьей, что ли?

— Да, да! В английской спецшколе! Вы тоже ее кончали?

— Я школу кончал в Лос-Анджелесе. Когда моя семья эмигрировала, мне было семнадцать лет.

— Ну, и как же вы здесь все это время?

Алекс пожал плечами:

— Обыкновенно. Как все...

Офицер снова взглянул в окно.

— Слушайте, я же неофициально... Просто хотелось бы узнать, как на самом деле жили здесь люди. Вот, в частности, вы, эмигрант...

— Я как раз не типичный; в сущности, всю свою взрослую жизнь в Америке прожил. Образование здесь получил. С дочкой говорю по-английски.

— Ваша семья в Лос-Анджелесе?

— Нет, в Нью-Йорке. У меня только дочь, с женой мы в разводе. Что там сейчас происходит — ума не приложу...

— В каком смысле?

— Да во всех... Когда меня мобилизовали, она осталась с посторонними людьми. Ну, не совсем посторонними — с соседями... Что там сейчас?

Офицер, помявшись, сказал:

— Я знаю, что народные комитеты установились там на месяц, примерно, позже, чем здесь.

— Значит, и там уже жрать нечего, — вырвалось у Алекса. Он взглянул на офицера — тот отвел глаза и помрачнел.

Алекс старался заглянуть в глаза собеседника.

— Эти соседи... они приличные люди, но у них своих трое... Вы понимаете?

Офицер вздохнул и проговорил:

— Слушайте, Саша... Вас называют Сашей или Шурой?.. Слушайте, я хочу, чтобы вы поняли одно: я здесь бессилен. Что из того, что офицер? У них по штату положено давать офицерское звание переводчикам с высшим образованием. Я лингвист, четыре языка знаю. Английский, между прочим, хуже чем другие... Вот меня сюда и сунули: то испанский, то английский, то русский... А на самом деле я для них никто, как есть — никто! Этот жлоб, Пичугин, стучит на меня в спецчасть, его нарочно ко мне приставили. Он уже донес по радию, будьте уверены, что предателя поймали. Ей-Богу, Саша, если бы от меня зависело...

Его близорукие голубые глаза выражали такое неподдельное горе, что Алексу стало как-то неловко.

— Я понимаю, понимаю, — поспешно сказал он. — Но как же так? Почему же предатель? Ведь я выехал по закону, с советской визой. Они же должны знать советские законы!

— Господь с вами, Саша! У них тот же интеллект и та же философия. Законы, визы... смеяться изволите!

— А справка! — Алекс говорил через силу, преодолевая дурноту. — Справка из проверочного лагеря, кубинский полковник подписал. Меня же отпустили, ничего за мной не числится.

— И что из того? Кто для них кубинский полковник? Чучмек, извините, сраный, и больше ничего. Они здесь — хозяйева!

Неожиданно он отпрянул от окна:

— Вот он идет, Пичугин. Злой как черт, — значит, не нашел вашего попутчика.

Сержант плюхнулся на водительское место.

— Смылся, сука. Сообразил, — сказал он после тяжелой паузы. — Ну, пусть подавится своей бутылкой. А уж этого-то мы сдадим по назначению.

Он взглянул через плечо на Алекса и стал заводить машину. Что-то помешало ему нажать педаль акселератора, он, чертыхаясь, вытащил оттуда тряпку и швырнул на заднее сиденье. Алекс не сразу узнал свой рюкзак: он был смят и перепачкан.

Машина мчалась по раздолбанному шоссе, каждый толчок отдавался во всем теле. Превозможная боль, Алекс дотянулся до рюкзака, пошарил внутри и извлек коробку с конфетами.

Некоторое время он разглядывал, словно впервые увидел, узоры на оберточной бумаге и ленту, завязанную в виде розы. Потом сорвал бумагу, разодрал коробку и вытащил из нее конфету. Он помнил, что давно не ел, но голода не ощущал.

Машина съехала с шоссе и теперь медленно пробиралась среди развалин. Офицер и сержант молчали. Алекс развернул конфету и сунул ее в рот.

— Жрет чего-то, — тихо сказал сержант, бросив взгляд в зеркальце. -- Я же говорил — его связать надо.

— Хватит! Прекратите! — с внезапным раздражением крикнул офицер. — Без вас там найдутся...



*Первое предисловие*

*(написанное не позднее марта  
1938 года в Вене)*

С дерзостью человека, которому почти или совсем нечего терять, я намереваюсь вторично нарушить вполне обоснованное решение и продолжить два первых эссе о Моисее этим заключением, от публикации которого до сих пор воздерживался. В конце своего последнего эссе я писал, что вряд ли могу и дальше рассчитывать на свои силы. Я имел в виду, разумеется, спад творческих способностей, сопровождающий старость, — но было и другое препятствие. Мы живем в примечательные времена. Мы с удивлением видим, что прогресс вступил в союз с варварством. В Советской России была сделана попытка удушить жизнь миллионов людей, доселе живших под гнетом. Власти оказались достаточно решительными, чтобы лишить их религиозного транквилизатора, и достаточно умны, чтобы дать им разумную меру сексуальной свободы. Но при этом они подвергли своих граждан самому жесточайшему насилию и отняли у них всякую возможность свободы мысли. Итальянцев сегодня приучают к порядку и чувству долга с той же варварской жестокостью. Поистине тяжесть сваливается с сердца, когда хоть на примере немецкого народа видишь, что этот возврат к доисторическому варварству может происходить и вне связи с идеей прогресса. Как бы то ни было, события развиваются так, что сегодня консервативные демократии, да, пожалуй, — как ни стран-

*Зигмунд Фрейд*

**ЭТОТ ЧЕЛОВЕК МОИСЕЙ**

(продолжение;  
начало см. в № 54)

но — католическая церковь остались единственными защитниками культурного прогресса. Та самая католическая церковь, которая до сих пор была неумолимым врагом всякой свободы мысли и решительно отказывалась признать, что нашим миром правит стремление к поиску истины!

Мы живем в католической стране, под защитой этой церкви, не зная, насколько хватит этой защиты. Но пока ее хватает, я, естественно, не решаюсь сделать что-либо такое, что возбudit враждебность этой церкви. Не из трусости, а из осторожности; новый враг (национал-социализм. — Прим. переводчика.), которому я не хотел бы способствовать чем бы то ни было, куда опаснее старого, с которым мы уже научились жить в мире. Более того, психоаналитические исследования давно возбуждают подозрительность католицизма. Не буду утверждать, что эта подозрительность необоснованна. Коль скоро наши исследования ведут к признанию религии неврозом человечества и к объяснению ее грандиозной власти над людьми тем же механизмом, что власть навязчивого невроза над больными, не приходится сомневаться, что это вызывает сильнейшее недовольство властей предрержащих в нашей стране. Дело не в том, будто я намерен сказать нечто новое, чего еще не высказал за последнюю четверть века. Но сказанное, увы, забыто, и потому я считаю полезным повторить это снова и проиллюстрировать на типичном примере возникновения одной конкретной религии. Не исключено, что это повлечет за собой запрет на психоанализ. Такие резкие меры подавления ни в коей мере не чужды католической церкви; она даже расценивает как покушение на свои прерогативы, когда другие прибегают к таким же мерам. Увы, психоанализ, повсеместно распространившийся за время моей долгой жизни, все еще не нашел более подходящего приюта, чем в городе, где он возник и сложился.

Я не только думаю, я знаю, что эта внешняя опасность помешает мне опубликовать заключительную часть моей трактовки Моисея. Я пытался преодолеть это препятствие, сказав себе, что мои опасения проистекают из переоценки значимости моей персоны и что властям, скорее всего, нет дела до моего мнения о Моисее и происхождении монотеистической религии. Но я не уверен, что правильно оцениваю ситуацию. Боюсь, что злорадство и жажда сенсации могут с избытком компенсировать ту значимость, которой мне недостает в глазах мира. Поэтому я не опубликую этот очерк. Но это не помешает мне написать его. Тем более, что он уже был однажды написан, два года назад, и теперь нуждается только в переделке и объединении с двумя предыдущими эссе. Так что пусть он лежит в укрытии до тех пор, пока не сможет безопасно появиться на свет Божий или пока кто-нибудь другой, придя к тем же выводам, не скажет: "В те мрачные времена жил человек, который замышлял то, что я сделал".

### *Второе предисловие*

*(июнь 1938, Лондон)*

Необычайные трудности, стоявшие передо мной во время работы над очерком о Моисее — как внутренние опасения, так и внешние препятствия, — привели к тому, что его третья и последняя часть имеет два предисловия,

которые противоречат, в сущности — даже исключают друг друга. Ибо за короткий период между написанием этих двух предисловий внешние обстоятельства жизни автора кардинально изменились. Прежде я жил под защитой католической церкви и боялся, что опубликовав этот очерк, лишусь ее покровительства, а практики и теоретики психоанализа в Австрии не смогут продолжать свою работу. Затем, внезапно, грянуло немецкое нашествие, и католицизм оказался, как говорит Библия, “сломанной тростинкой”. Не сомневаясь, что на меня обрушатся преследования — теперь уже не только из-за моих трудов, но и из-за моей “расы” — я со многими друзьями покинул город, который с раннего детства, семьдесят восемь лет подряд, был моим домом.

Я нашел самый теплый прием в прекрасной, свободной, благородной Англии. Здесь я живу сейчас, — дружелюбно принятый гость, чудом спасшийся от преследований, — и счастлив, что могу опять говорить и писать, — я чуть не сказал “думать” — так, как я хочу или должен. И теперь я решаюсь представить читателям последнюю часть моего очерка.

Надо мной не тяготят ныне никакие внешние препятствия — во всяком случае, такие, которые могли бы меня встревожить. В последние недели я получил много приветствий от друзей, которые пишут, как они рады, что я здесь, а также от незнакомых мне людей, которых вовсе не интересуют мои исследования и которые попросту выражают удовлетворение, что я обрел здесь свободу и безопасность. А вдобавок приходит поразительное для иностранца количество писем другого рода, выражающих заботу о состоянии моей души и желание указать мне путь к Христу и просветить в отношении будущего, которое ожидает Израиль. Все эти добрые люди вряд ли знают меня достаточно близко. Боюсь, что после опубликования моей новой работы я утрачу среди этих корреспондентов и многих других значительную часть той симпатии, которую они дарят мне сейчас.

Внутренние трудности не зависят от политических режимов и нового местожительства. Как и прежде, я испытываю неловкость, глядя на свою работу; мне недостает ощущения целостности и интимности, которые должны существовать между автором и его творением. Не то, чтобы я не был уверен в истинности моих результатов. Эту уверенность я обрел уже четверть века назад, когда написал “Тотем и табу” (1912), и с тех пор она только укрепилась. С того времени я никогда не сомневался, что религиозные явления можно понять лишь на основе модели невротических симптомов — как возвращение давно забытых и важных событий в ранней истории человеческой семьи; что своим навязчивым характером эти явления обязаны именно такому происхождению, а свое поразительное влияние на человечество черпают из той исторической правды, которую в действительности содержат. Моя неуверенность начинается лишь в тот момент, когда я задаю себе вопрос, сумел ли я доказать это на избранном здесь примере еврейского монотеизма. Внутреннему моему критическому взгляду это исследование, начинающееся с анализа человека Моисея, представляется чем-то вроде танцора, стоящего на одном пальце. Если бы я не нашел поддержки в мифе о происхождении героя, а затем в догадке Селлина о гибели Моисея, весь этот очерк вероятно остался бы ненаписанным. Но позвольте мне приступить к делу.

Я начну с того, что подытожу результаты моего второго, чисто исторического эссе о Моисее. Я не стану заниматься анализом этих результатов, поскольку они послужат лишь вступлением к психологическому обсуждению, которое на них основывается и постоянно к ним возвращается.

## Раздел 1

### 1. Исторические предпосылки

Исторический фон заинтересовавших нас событий таков. В ходе завоеваний Восемнадцатой династии Египет стал мировой державой. Новый империализм нашел выражение в развитии определенных религиозных идей — если не всего народа, то во всяком случае правящего, интеллектуально активного слоя. Под влиянием жрецов солнечного бога из Она (Гелиополис), возможно усиленным азиатскими воздействиями, возникла идея универсального божества, Атона, уже не ограниченного одной страной и одним народом. В лице молодого Аменхотепа IV (позднее сменившего имя на Эхнатон) на трон пришел фараон, высшей целью которого была пропаганда идеи такого божества. Он превратил религию Атона в официальную, и тем самым универсальный бог стал *единственным* Богом; все разговоры о других богах были объявлены ересью и ложью. Фараон непримиримо отвергал все соблазны магической мысли и отказался от особенно дорогой сердцу египтян иллюзии загробной жизни. Поразительно предвосхитив грядущее научное знание, он распознал в энергии солнечного излучения источник всякой жизни на Земле и стал поклоняться Солнцу как символу Божественной силы. Он упивался радостью Сотворения и своей жизни в Маат (справедливости, правды).

Это был первый и, возможно, самый чистый в истории человечества пример монотеистической религии. Более глубокое понимание исторических и психологических причин ее возникновения имело бы огромную ценность. Но кое-кто позаботился, чтобы до нас дошло как можно меньше сведений о религии Атона. Уже при жизни бессильных преемников Эхнатона все, что он создал, начало рушиться. Униженные им жрецы Амона злобно отыгались на его памяти. Религия Атона была запрещена; столица еретического фараона — разрушена и разграблена. В 1350 году до н. э.

Восемнадцатая династия прекратилась; после некоторого периода анархии военачальник Харемхаб восстановил порядок. Реформы Эхнатона оказались эпизодом, осужденным на забвение.

Все вышесказанное установлено исторически, и с этого места начинается наше гипотетическое построение. Среди приближенных Эхнатона был человек, которого, вероятно, звали Тотмес, как и многих других в те времена (так звали, например, скульптора, чьи работы обнаружены в Тель-аль-Амарне); само имя не имеет значения, важно лишь, что его вторая часть была "мозе". Он занимал высокий пост и был ревностным приверженцем религии Атона, но в отличие от мечтательного фараона был человеком действия и кипучих страстей. Смерть Эхнатона и запрещение новой религии означали для него конец всех надежд. Остаться в Египте он мог, только покаявшись или скрываясь от преследований. Если он был правителем пограничной провинции, то вполне мог войти в контакт с некоторыми семитскими племенами, пришедшими туда несколько поколений назад. Разочарованный и одинокий, он мог обратиться к этим племенам в поисках компенсации утраченного. Он сделал их своим народом, чтобы попытаться осуществить свой идеал. Покинув с ними — и своими ближайшими последователями — Египет, он навязал им обряд обрезания, дал законы и ввел религию Атона, которую отбросили египтяне. Возможно, правление, которое этот человек Моисей навязал евреям, было даже суровее, чем власть его покровителя и учителя Эхнатона; возможно, он порвал и связи с солнечным божеством из Она, которые Эхнатон все еще сохранял.

Исход из Египта мы должны отнести к 1350 году до н. э. Все последующее, вплоть до завоевания Ханаана, чрезвычайно неясно. Из того пробела, который зияет здесь — а точнее, создан — в библейском тексте, современная историческая наука выудила два факта. Первый, открытый Эрнстом Селлиным, состоит в том, что евреи, которых даже Библия характеризует как жестоковых и непокорных, в конце концов взбунтовались, убили своего законодателя и вождя и отказались от навязанной им религии Атона, как это прежде сделали египтяне. Второй факт, установленный Эдуардом Мейером, состоит в том, что по возвращении из Египта эти евреи объединились с родственными им племенами, которые жили в стране, граничившей с Палестиной, Синайским полуостровом и Аравией, и там, в плодородном оазисе Кадеш, под влиянием аравийских мидианитов, приняли новую религию

вулканического бога Ягве. Вскоре затем они уже были готовы к вторжению в Ханаан.

Связь этих двух событий друг с другом и Исходом весьма запутана. Ближайшую историческую датировку дает стелла фараона Мернепты, царствовавшего около 1215 года до н. э., где в числе покоренных им народов Сирии и Палестины упоминается "Израиль". Если принять эту дату за конечную точку, на весь период от Исхода остается около ста лет — с 1350 до 1215 годов до н. э. Возможно, однако, что название "Израиль" не связано с теми племенами, за судьбой которых мы следим, и тогда мы в действительности располагаем более продолжительным отрезком времени. Заселение еврейским народом Ханаана наверняка не было быстрой единоразовой победой; то была, скорее, череда успешных кампаний, которая должна была продолжаться достаточно долгий период. Если отказаться от ограничений, налагаемых стеллой Мернепты, можно с достаточной правдоподобностью принять тридцать лет, или одно поколение, для периода Моисея (это будет грубо отвечать сорока годам странствий в пустыне, о которых рассказывает Библия) и по меньшей мере два поколения, а то и больше — до объединения в Кадеше (иными словами: 1350—1340 до 1320—1310 для времени Моисея; 1260 или позднее — для событий в Кадеше и 1215 — для стеллы Мернепты); промежуток между Кадешем и выходом в Ханаан не должен быть так уж долог. Как я показал в предыдущем эссе, еврейская традиция имела свои причины сократить промежуток между Исходом и принятием новой религии в Кадеше; наши выводы склоняют нас, наоборот, к противоположному.

До сих пор мы обсуждали внешнюю сторону событий, пытаюсь заполнить пробелы в наших исторических сведениях — это было воспроизведением моего второго эссе. Мы следовали за судьбой Моисея и его учения, которое лишь по видимости было похоронено восстанием евреев. Из рассказа Ягвиста, записанного около 1000 года до н. э., но несомненно опирающегося на более ранние источники, известно, что объединение племен и принятие новой религии в Кадеше было компромиссом, две стороны которого легко различимы и сейчас. Один партнер был заинтересован лишь в том, чтобы скрыть новизну и чуждость бога Ягве и обосновать его претензии на поклонение народа. Другой партнер не желал отказаться от дорогих ему воспоминаний об Исходе из Египта и величественной фигуры своего вождя Моисея; и он сумел выторго-

вать место для того и другого в новом каноне еврейской истории, сохранив, как минимум, внешний признак моисеевой религии — обряд обрезания — и добившись определенных запретов на употребление имени нового божества. Я уже говорил, что люди, которые этого добивались, были, по всей вероятности, потомками последователей Моисея (левитов) во втором-третьем поколении, еще хранившими память о его живой традиции. Поэтические описания соответствующих событий, которые приписываются Ягвисту и его более позднему сопернику, Элогисту, — всего лишь своеобразные могильные плиты, под которыми навечно похоронена правда об этих событиях, о сути моисеевой религии и насильственном устранении ее основателя, — та правда, которую хотели скрыть от последующих поколений. И если мы правильно ее восстановили, в ней не остается ничего загадочного; напротив, это вполне могло быть окончательным завершением моисеева эпизода в истории еврейского народа.

Замечательно, однако, что так не произошло; важнейшие последствия этих событий проявились намного позже и с течением веков постепенно проложили себе дорогу к самовыявлению. Непохоже, чтобы бог Ягве так уж отличался от богов соседних народов и племен; верно, он враждовал с другими богами, как враждовали друг с другом сами племена, но можно без опаски предположить, что тогдашний поклонник Ягве и не подумал бы усомниться в существовании богов Ханаана, Моава, Амалека, как не сомневался он в существовании поклонявшихся им племен. Монотеистическая идея, вспыхнувшая во времена Эхнатона, была снова забыта и осуждена долго таиться во мраке. Раскопки на острове Элефантина, вблизи первого нильского порога, дали поразительное свидетельство, что существовавшая там столетиями еврейская военизированная колония поклонялась в своих храмах не только главному богу Йаху, но еще и двум женским божествам, одно из которых называлось Анат-Йаху. Впрочем, эти евреи были отрезаны от своей страны и не прошли с ней ее религиозное развитие; они узнавали о новых церемониальных правилах, принятых в Иерусалиме, через персидское правительство (пятый век до н. э.). Возвращаясь к более ранним временам, мы можем с уверенностью утверждать, что Ягве совершенно не походил на моисеева Бога. Атон был Богом мира — как и его представитель, а точнее — земное воплощение, фараон Эхнатон, который сложа руки взирал, как распадается созданная его предками империя.

Племенам, которые намеревались покорить новые земли, несомненно больше подходил яростный Ягве. И вообще, все, что заслуживало преклонения в моисеевом Боге, превосходило умственные способности этих примитивных людей.

Я уже упоминал, и в этом меня поддерживают мнения других исследователей, что главной особенностью еврейской религии была постепенная утрата богом Ягве его первоначального характера и все большее уподобление старому богу Моисея, Атону. Конечно, различия оставались, и на первый взгляд они могут показаться существенными; но они легко объяснимы. Атон утвердился в Египте в блаженные времена безопасности, и даже когда основы империи зашатались, люди все еще могли отрешаться от земных забот, продолжая славить бога и наслаждаться Божественным творением. Еврейскому народу судьба уготовила суровые испытания и тяжкие удары, поэтому его бог стал суровым, безжалостным и, так сказать, угрюмым. Он сохранил характер универсального Бога, правящего землями и народами, но его переход от египтян к евреям нашел отражение в дополнительной доктрине, что евреи — его избранный народ, который в конце времен получит особое вознаграждение за свои особые обязательства. Думается, евреям было нелегко согласовать веру в свою избранность всемогущим Богом и выпавшие на их долю ужасные испытания. Но они не позволили сомнениям возобладать, они заглушили недоверие усиленным чувством вины и под конец, возможно, уверовали в "непостижимость воли Господней", как верят и по сей день все религиозные люди. Если они и недоумевали, почему он дозволяет все новым тиранам — ассирийцам, вавилонянам, персам — покорять и угнетать его народ, то затем находили подтверждение его могущества в том, что все эти коварные деспоты были побеждаемы следующими, а их империи постигала одна и та же участь.

Этот более поздний еврейский бог уподобился моисееву в трех важнейших пунктах. Первым и главным было то, что он действительно считался единственным и не давал даже помыслить о существовании других богов. Монотеизм Эхнатона был всерьез воспринят всем народом; по существу, этот народ так прилепился к монотеизму, что вера в единого Бога стала основным содержанием всей его интеллектуальной жизни, вытеснив любые другие интересы. В этом вопросе народ и священники, ныне возглавившие его, были заедино; но священники, которые ограничили



свою деятельность разработкой церемоний богослужения, оказались в оппозиции к сильному народному стремлению возродить две другие доктрины Моисея. Голоса пророков безуданно твердили, что Бог отвергает церемонии и жертвоприношения и не требует ничего, кроме веры в Него и жизни по справедливости и правде. Прославляя простоту и святость своей жизни в пустыне, пророки несомненно следовали влиянию идеалов Моисея.

И тут самое время задать вопрос, нужно ли вообще упоминать о влиянии Моисея на окончательные формы еврейской идеи Бога; нельзя ли обойтись предположением о самопроизвольном развитии высшей духовности в ходе многовекового становления культуры? В связи с таким объяснением, которое кладет конец всем нашим попыткам, я хотел бы сделать два замечания. Во-первых, оно ничего не объясняет. Те же условия почему-то не привели к развитию монотеизма у греков, которые наверняка были более одаренным народом; их политеистическая религия попросту рухнула, уступив место взлету философской мысли. В Египте монотеизм вырос (если мы правильно понимаем его рост) как побочное следствие империализма; Бог был небесной проекцией фараона, единолично управлявшего великой мировой империей. Политические условия жизни евреев были наименее благоприятны для перехода от идеи собственно национального божества к идее универсального повелителя вселенной. Как мог этот крохотный и бессильный народ посягнуть на роль любимца такого всемогущего Бога? Таким образом, вопрос о происхождении еврейского монотеизма останется без ответа, — разве что мы удовлетворимся банальными словами о каком-то особом религиозном гении евреев. Но гений — штука загадочная и ненадежная, поэтому призывать его на помощь можно лишь тогда, когда все другие объяснения оказываются недостаточны.

Во-вторых, остается фактом, что еврейская история и ее хроники сами предлагают нам объяснение, настойчиво намекая — и на сей раз в полном единодушии друг с другом, — что идея единого Бога была дарована народу Моисеем. Если что и противоречит правдоподобности этого факта, так лишь то, что священники, переписывая библейский текст, приписали Моисею слишком многое. Они объявили более поздние институты и ритуалы "моисеевыми" законами — с очевидной целью повысить их авторитет. Тут, конечно, есть причины для подозрительности, но для нас это вряд ли достаточно. Ибо нам ясны, как день, более глубокие при-

чины такого преувеличения. Священники пытались таким способом неразрывно связать свои времена с моисеевыми. Они хотели завуалировать как раз ту особенность, которую мы признали самой поразительной в еврейской религиозной истории — наличие разрыва между моисеевым законодательством и более поздней еврейской религией; того разрыва, который поначалу был заполнен культом Ягве и лишь постепенно был преодолен. Всеми имевшимися в их распоряжении средствами священники пытались отрицать этот истинный ход событий, хотя его историческая достоверность несомненна, тем более что даже библейский текст, несмотря на всю его целенаправленную обработку, сохранил достаточно тому подтверждений. Священническая версия ставила перед собой ту же цель, что и превращение Ягве в Бога праотцев. Если учесть эти скрытые цели священнического кодекса, трудно не согласиться, что монотеистическую идею действительно дал евреям именно Моисей. Нам тем легче согласиться с этим, что мы знаем, откуда сам Моисей взял эту идею, — деталь, которую еврейские священники наверняка забыли.

Здесь можно спросить, что мы собственно выигрываем, возводя еврейский монотеизм к египтянам. Ведь этим мы лишь отодвигаем проблему еще на один шаг, нисколько не выигрывая в понимании истоков монотеистической идеи. Но наша цель — не выиграть, а исследовать. А постигнув подлинный ход событий, мы возможно вдобавок кое-что еще и поймем.

## 2. Скрытый период и традиция

Итак, я считаю, что идея *единственного* Бога, равно как и упор на Его *этических* требованиях и отрицании всех магических церемоний действительно были отличительными особенностями моисеевой доктрины, поначалу неслышанной, но постепенно, по прошествии длительного времени, возобладавшей. Чем объяснить этот запоздалый эффект и где мы сталкиваемся с аналогичным явлением?

Размышления говорят нам, что с такими явлениями мы встречаемся в совершенно иной области, где они могут быть истолкованы более или менее легко. Припомним судьбу всякой новой научной доктрины — например, дарвиновского учения об эволюции. Поначалу она сталкивается с враждебным отрицанием и ярост-

но дискутируется в течение десятилетий; однако, уже следующее поколение видит в ней великий шаг к истине. Сам Дарвин удостоился почетного захоронения в Вестминстерском аббатстве. Этот случай не содержит ничего загадочного. Новая доктрина порождает бурное эмоциональное сопротивление. Оно подкрепляется рациональными аргументами, отрицающими факты, на которых основано неприятное учение. Борьба мнений продолжается достаточно долго. Поначалу у доктрины есть и сторонники, и враги; но число и влияние сторонников неуклонно возрастает, пока они не одерживают верх. Все это время враждующие четко отдают себе отчет, в чем состоит предмет их спора. Неудивительно, что этот процесс занимает столь долгое время; следует понимать, что мы имеем дело с проявлением особенностей массовой психологии. Всему этому нетрудно найти аналогию в умственной жизни отдельного индивидуума. Человек узнает о чем-то новом, что ему предлагают принять как истину, ссылаясь на определенные доказательства; это однако противоречит многим его эмоциям и подрывает определенные убеждения, в которые он свято верит. Он колеблется, ищет аргументы, которые позволили бы отвергнуть новые данные, какое-то время борется с собой, пока не признается: "Видимо, это все-таки верно, хотя мне трудно с этим согласиться". Вся эта аналогия говорит лишь о том, что наше "Эго" нуждается в определенном времени, чтобы проделать интеллектуальную работу по преодолению сомнений, вызванных сильными эмоциями. Но данный случай совершенно не похож на тот, который мы пытаемся разъяснить.

Следующий пример, к которому мы намерены обратиться, имеет, на первый взгляд, еще меньше общего с нашей задачей. Случается, что человек без всяких видимых для себя последствий покидает место какого-нибудь трагического, потрясшего его душу происшествия — например, железнодорожного столкновения. Однако с течением времени в его поведении обнаруживается ряд физических и моторных симптомов, которые можно объяснить только пережитым шоком или другим каким-нибудь воздействием этого инцидента. Такое явление называется "травматическим неврозом". Время, прошедшее между инцидентом и первым появлением симптомов, называется "инкубационным периодом" — прозрачный намек на патологию инфекционных заболеваний. Поразмыслив, мы можем заключить — несмотря на кардинальное различие обоих случаев, — что травматический

невроз имеет некий общий пункт с историей моисеева монотеизма. Этим общим для обоих является наличие *“скрытого периода”*. Имеются все основания думать, что в истории еврейского народа тоже был длительный период, начавшийся с отпадения от религии Моисея, в течение которого не видно никаких следов монотеистической идеи, осуждения ритуалов и подчеркивания этической стороны. Это наблюдение подготавливает нас к мысли, что ответ на наш вопрос следует искать в некой особой психологической ситуации.

Я уже не раз говорил о событиях в Кадеше, где две составные части будущего еврейского народа объединились в принятии новой религии. Те, кто пришел из Египта, все еще сохраняли воспоминания о Моисее и Исходе, и воспоминания эти были настолько сильными и живыми, что эти люди настаивали на включении их в историческую хронику народа. Среди них могли быть внуки тех, кто лично знал Моисея, и даже такие, кто все еще ощущал себя египтянами и сохранял египетские имена. Однако у них были вполне основательные причины *“подавлять”* в себе память о судьбе, постигшей их вождя и законодателя. Основным стремлением второй части народа было желание восславить нового Бога и скрыть его чуждое происхождение. Обе стороны были одинаково заинтересованы в том, чтобы отрицать существование какой бы то ни было предшествующей религии и в особенности ее непривычных идей. Благодаря этому был достигнут первый компромисс, который вскоре был узаконен письменно; выходцы из Египта принесли с собой искусство письма и увлечение историческими хрониками. Им однако было еще далеко до стремления к тому идеалу объективного описания, который выработали более поздние историки. Поначалу они попросту приспособливали свои хроники к собственным нуждам и взглядам, словно их совесть вовсе не отягачало сознание фальсификации. В результате появились расхождения между писаной хроникой и устным преданием (иначе говоря — традицией). То, что было опущено или изменено в хронике, могло сохраниться неизменным в традиции. Традиция дополняла хронику и в то же время противоречила ей. Она была меньше подвержена искажающим влияниям, а может — и вовсе свободна от них, поэтому она могла быть более правдивой. Впрочем, ее правдивость была подпорчена большей неопределенностью и неоднозначностью за счет многочисленных искажений при устной передаче от одного поколения к другому. Судьба устной тради-

ции может быть различной. Чаще всего она оказывается вытесненной писанным текстом, становится все более смутной и в конце концов забывается. Иногда традиция может сама стать письменной версией. Есть и другие возможности, о которых мы поговорим позже.

Наличие скрытого периода в истории еврейской религии может быть объяснено следующим образом: те факты, которые так называемая официальная писаная история хотела бы сознательно предать забвению, в действительности никогда не были забыты. Они сохранились в традиции, которая всегда оставалась живой среди народных масс. Согласно Селлину, существовала даже традиция в вопросе о судьбе Моисея, противоречившая официальным хроникам и находившаяся в большей согласии с истиной. То же самое, можно думать, имело место и в отношении других верований, которые, на первый взгляд, были отвергнуты после гибели Моисея, то есть в отношении тех частей моисеевой доктрины, которые были неприемлемы для большинства его современников.

Мы сталкиваемся здесь с примечательным фактом. Он состоит в том, что традиция вместо того, чтобы с годами все более ослабевать, становится все более и более мощной, постепенно пробиивает себе дорогу в последующие варианты узаконенных официальных хроник и в конце концов делается достаточно сильной, чтобы оказать решающее влияние на мысли и поступки людей. Непонятно однако, какие причины породили столь странный факт.

Факт между тем действительно странен и даже настолько, что вполне оправдано наше желание заново к нему присмотреться. В нем заключена вся наша проблема. Еврейский народ отверг религию Атона, которую дал ему Моисей, и вернулся к поклонению другому Богу, который мало чем отличался от "Баалим" соседних племен. Все последующие попытки скрыть этот унижительный факт провалились. Однако религия Моисея не исчезла бесследно; сохранилась некая память о ней, некая традиция, возможно — смутная и искаженная. И это воспоминание о великом прошлом продолжало свою работу в сознании, приобретая все большую власть над умами, пока наконец не трансформировало бога Ягве в моисеева Бога и вдохнуло новую жизнь в ту религию, которую Моисей учредил много веков назад. С такой ситуацией, когда дремлющая традиция оказала бы столь мощное воздействие на духовную жизнь народа, мы никогда не сталкивались.

Тут мы оказываемся в области массовой психологии, где чувствуем себя не так уж уверенно. Приходится искать аналогии, явления сходной природы, пусть даже в других областях. Но мы их найдем, я уверен.

К тому времени, когда созрели условия для возрождения религии Моисея, греки уже располагали богатейшей сокровищницей легенд и мифов о своих героях. Считается, что в девятом-восьмом веках до н. э. возник гомеровский эпос, который почерпнул свое содержание из этого комплекса мифов. Находясь на уровне сегодняшней психологической науки, мы давно уже, задолго до Шлимана и Эванса, могли бы поставить вопрос: откуда взялся весь тот материал сказаний и мифов, который Гомер и великие греческие драматурги превратили в бессмертные творения искусства? Ответ неизбежно был бы таков: видимо, в раннем периоде своей истории греки пережили времена внешнеполитического могущества и высокой культуры, которые завершились некоей катастрофой (как действительно говорит нам история), но следы которых сохранились в этих легендах. Археологические раскопки наших дней подтверждают эту гипотезу, которая, будь она высказана раньше, наверняка была бы сочтена слишком дерзкой. Эти раскопки доказали существование грандиозной минойско-микенской культуры, которая на греческом материке закончилась, видимо, к 1250 году до н. э.\* Более поздние греческие историки почти не упоминают о тех временах. Говорится, что были дни, когда греки царили на морях, упоминается имя царя Миноса, его дворца и лабиринта; но это и все. От тех великих времен не осталось ничего, кроме традиции, подхваченной великими писателями.

Другие народы — например, индусы, финны и германцы — тоже хранят аналогичные эпические сказания. Дело историков литературы решить, существовали ли и в этих случаях те же условия, что у греков. Я полагаю, что такие исследования дадут положительный ответ. Условия, в которых, на наш взгляд, возникают подобные народные эпосы, таковы: существует какой-то период ранней истории, который оценивается непосредственными его

\* Как полагают, в результате грандиозного извержения вулкана на острове Санторин, которое почти разрушило сам остров и вызвало катастрофические явления в Средиземном море, на его островах и берегах. Некоторые историки считают, что это породило миф о гибели Атлантиды; другие связывают эти явления с "казнями египетскими" и другими "чудесами" Исхода. — Примечание переводчика.

преемниками как величественный, судьбоносный, грандиозный и почти всегда героический. Однако события эти происходили так давно и принадлежали столь удаленному времени, что более поздние поколения узнают о них лишь в виде смутной и сбивчивой традиции. Зачастую удивляются, почему эпос, как литературная форма, исчезает в более поздние времена. Объяснение может состоять в том, что исчезают условия, необходимые для возникновения эпоса. Старый материал использован, а более близкие события запечатлеваются уже не традицией, а историей. Самые героические свершения наших дней уже неспособны вдохновить на эпос; Александр Македонский имел все основания жаловаться, что у него нет своего Гомера.

Отдаленные времена необычайно сильно, порой с загадочной силой, привлекают воображение. Стоит людям разочароваться в настоящем, — а это случается весьма часто, — и они поворачиваются к прошлому в надежде хотя бы там найти веру в незабываемый Золотой Век. Видимо, человек все еще находится под магической властью детства, которое в памяти представляется ему как время незамутненного блаженства. Смутные и сбивчивые воспоминания о прошлом, которые мы называем традицией, составляют источник вдохновения для художника, который свободен заполнять лакуны в воспоминаниях по воле своего воображения и трансформировать облик воссоздаваемого времени под диктовку своей цели. Можно даже сказать, что чем туманнее становится традиция, тем больше она ему годится. Поэтому нас не должно удивлять значение, которое традиция имеет для творчества, и аналогия, которую мы установили для условий возникновения эпической поэзии, должна склонить нас к принятию странной, на первый взгляд, гипотезы, что в случае евреев именно сохранение моисеевой традиции трансформировало поклонение Ягве в сторону возврата к древней религии Моисея. Однако во всех прочих аспектах эти два случая весьма различны. В первом результатом является поэзия, во втором — религия, и мы к тому же предположили, что под влиянием традиции эта религия может возродиться с такой точностью, которой мы не находим никаких параллелей в эпосе. Стало быть, в нашей проблеме остается еще немало такого, что побуждает к поиску более подходящих аналогий.

### 3. Аналогия

Единственная вполне удовлетворительная аналогия примечательному процессу, который мы разглядели в истории еврейской религии, может быть найдена в совершенно удаленной от нашей проблемы области знаний. Зато это очень полная аналогия, приближающаяся к тождественности. В ней мы вновь видим феномен скрытого периода, проявление непонятных симптомов, требующих объяснения, и четкую зависимость этих симптомов от более ранних, хотя и забытых, переживаний. Мы находим здесь характерную навязчивость, которая оказывается сильнее логики и резко влияет на психическую жизнь — особенность, которая не встречается в генезисе эпоса.

Эту аналогию мы находим в *психопатологии*, в генезисе человеческих неврозов, иными словами — в науке, которая занимается индивидуальной психологией (тогда как религиозные явления, несомненно, принадлежат к психологии масс). Поначалу эта аналогия не покажется нам поразительной, но это не вполне так; она является скорее аксиомой.

Развивая этиологию неврозов, я приписал большое значение переживаниям, которые мы испытываем в раннем детстве, а потом забываем. Они называются травмами. Сразу напрашивается возражение, что в биографии невротика не всегда можно обнаружить травму. Зачастую нам приходится ограничиваться констатацией, что мы имеем дело просто с преувеличенной реакцией на самые обычные, текущие переживания; большинство людей преодолевают эти трудности иным путем, который можно назвать "нормальным". Когда же мы не можем объяснить реакцию ничем, кроме наследственного и психического предрасположения, мы естественно склонны сказать, что невроз возник не сейчас, не внезапно, а развивался исподволь, из ранних корней.

Тут выявляются два существенных пункта. Во-первых, генезис таких неврозов неизменно восходит к *самым ранним* переживаниям детства (и поэтому, кстати, бессмысленно исключать этот период из практики психоанализа); во-вторых, точнее было бы сказать, что случаи, которые мы выделяем как "невротические", это именно те, корни которых со всей очевидностью уходят в *наиболее сильные* впечатления такого раннего периода. Эти впечатления не преодолеваются нормальным путем, и потому мы склонны утверждать, что если бы не то или иное детское переживание, то и никакого невроза бы не было. Для наших целей достаточно ограничить аналогию именно такими травматическими случаями. Однако пропасть между двумя разновидностями не кажется абсолютной. Вполне возможно объединить обе этиологии в одной фразе: все зависит от определения "травмы". Если предположить, что переживание приобретает травматический характер в чисто количественном смысле (то есть вызывает патологиче-



ские реакции лишь потому, что предъявляет слишком большие требования к личности), то можно утверждать, что переживание, которое у одного индивидуума порождает травму, у другого может ее не вызвать. Мы приходим к подвижной шкале, или к так называемым "дополнительным рядам", в которых два фактора объединяют свое воздействие на этиологию: минус в одном факторе компенсируется плюсом в другом. Обычно оба фактора работают совместно и только на полюсах спектра мы можем говорить о простой, однозначной мотивации. В силу этих рассуждений можно в дальнейшем обсуждении игнорировать разницу между травматической и нетравматической этиологией, как несущественную, по крайней мере — в нашем случае.

Рискуя властью в повторение, мы все же позволим себе снова сгруппировать факты, относящиеся к этой важной аналогии. Они состоят в следующем: наши исследования показали, что так называемый феномен (или симптомы) невроза является следствием определенных переживаний и впечатлений, которые мы поэтому называем этиологической травмой. Все эти травмы относятся к раннему детству, то есть возрасту до пяти лет. Особенно интересны впечатления, относящиеся к тому времени, когда ребенок еще не говорит. Самым важным является период между двумя и четырьмя годами. Мы однако не можем сказать, как рано возникает эта чувствительность к травмам вообще.

Как правило, упомянутые переживания забываются и впоследствии недоступны для памяти. Они относятся к периоду инфантильной амнезии, которая лишь порой прорывается какими-нибудь изолированными, отрывочными воспоминаниями, так называемыми "припоминаниями из-за экрана".

Впечатления эти связаны с различными агрессивными и сексуальными воздействиями на ребенка, а также с ранними обидами, которые больно ударили когда-то по младенческому нарциссизму. Следует добавить, что дети в таком раннем возрасте еще не проводят столь четкого различия между собственно сексуальными и чисто агрессивными действиями, какое проводят позже взрослые ("садистская" интерпретация детьми подсмотренного сексуального акта — характерный тому пример). Неудивительно поэтому, что во всем этом комплексе переживаний преобладает сексуальный фактор, и теория обязана принять это во внимание.

Эти три особенности: переживания первых пяти лет жизни, последующее забывание и наличие сексуально-агрессивного момента — тесно связаны друг с другом. Травмы — это либо физические воздействия, либо восприятия, особенно зрительные и слуховые; иными словами это переживания или впечатления. Единство трех перечисленных выше характеристик установлено теоретически, на основе аналитических исследований; только психоанализ способен дать нам сведения об этих забытых детских впечатлениях, или — говоря более конкретно, хотя и неточно — "вернуть" эти забытые впечатления в память. Теория утверждает, что, вопреки распространенному убеждению, сексуальная жизнь человека (или то, что позднее ей соответствует) проходит ранний пик, который обрывается примерно в возрасте пяти лет. Затем наступает так называемый скрытый период, длящийся до момента полового созревания; в течение скрытого периода не наблюдает-

ся никакого сексуального развития; напротив, во многом происходит даже движение вспять. Эта теория подтверждается анатомическим исследованием эволюции внутренних половых органов; она приводит к выводу, что человек, видимо, произошел от такого животного, у которого половая зрелость наступала уже в пять лет; возникает подозрение, что приостановка и последующее возобновление сексуального развития во многом связаны именно с переходом от животного к человеческому уровню. Человек, видимо, — единственное животное, имеющее “скрытый период” и “отсроченную” сексуальность. Исследования приматов (насколько мне известно, еще не производившиеся) могли бы послужить бесценным способом проверки этой теории. Психологически весьма существенно, что период “инфантильной амнезии” совпадает с ранним расцветом сексуальности. Возможно, это совпадение является необходимым условием возникновения неврозов, само существование которых представляется достоянием одного лишь вида хомо сапиенс; в этом плане неврозы могут рассматриваться как рудимент древнейших времён — подобно определенным органам нашего тела.

Каковы общие черты всех невротических симптомов? Здесь следует отметить два важных пункта. Влияние травмы является двойственным, негативным и позитивным. Позитивное влияние состоит в попытках возродить травму, припомнить забытое переживание или, еще лучше, реально испытать его — заново пережить его повторение в действительности; если это была ранняя эмоциональная привязанность, то возродить ее в виде аналогичных отношений с другим человеком. Такие попытки в целом именуются “фиксацией на травме” или “навязчивым повторением”. Они могут включаться в так называемое обычное Эго и в виде стойких желаний вести к неустранимым чертам характера, хотя — или, скорее, потому что — их реальные причины, их происхождение давно уже забыты. Так, человек, который провел детство под чрезмерной и с тех пор забытой материнской опекой (“фиксация на матери”), может всю жизнь искать женщину, от которой будет зависеть, которая будет кормить и защищать его. Девушка, соблазненная в раннем детстве, может в более поздней сексуальной жизни провоцировать повторение таких ситуаций снова и снова.

Негативные реакции направлены к противоположной цели — все забыть и ничего не повторять. Их можно назвать защитными реакциями. Они проявляются в стремлении избежать травмирующей темы, которое постепенно может превратиться в фобию. Эти негативные реакции тоже вносят свой вклад в формирование характера. В действительности они представляют собой не меньшую фиксацию на травме, чем реакции позитивные, но идут в противоположном направлении. Симптомы собственно невроза являются компромиссом между негативными и позитивными реакциями; иногда преобладает одна, иногда другая компонента. Такие противоположные реакции порождают конфликты, которые человек самостоятельно, как правило, не может разрешить.

Второе замечание состоит в следующем. Все эти явления — как симптомы, так и изменения в психике личности — имеют навязчивый характер; иными словами они отличаются большой психической силой и обнаруживают далеко идущую независимость от психических процессов, приспособленных к требованиям реального мира и подчиняющихся законам логики.

Внешняя реальность на них не влияет или почти не влияет; они не считаются с реальными вещами или их ментальными отражениями, так что легко могут войти с ними в противоречие. Они образуют нечто вроде государства в государстве, некую недоступную часть психики, не участвующую в общем содружестве; но при этом они могут возобладать над второй, так называемой нормальной компонентой и поставить ее на службу себе. В таких случаях внутренняя психическая реальность утверждает свой суверенитет над реальностью внешнего мира; так открывается путь к безумию. Но даже если до этого не доходит, практические последствия такого конфликта неизмеримы. Фобии, или даже просто неспособность справиться с требованиями жизни, проявляемые людьми, над которыми властвует невроз, играют существенную роль в человеческом обществе. Все эти неврозы следует рассматривать как прямое выражение "фиксации" на раннем периоде жизни человека.

Что можно сказать о "скрытом периоде", особенно интересном в свете нашей аналогии? Детская травма может сразу же вызвать невроз; это будет защитной реакцией, сопровождающей образование симптомов. Такой невроз может затянуться и привести к серьезным нарушениям психики; но он может остаться скрытым и пройти незамеченным. Как правило, защитная реакция одерживает верх, но в любом случае психика сохраняет шрамы травматических изменений. Детский невроз крайне редко переходит напрямую в невроз взрослого человека. Более часто между ними пролегает период ничем не возмущенного развития, чему способствует приостановка физиологического созревания. Лишь затем появляются те изменения, которые позволяют говорить о неврозе как отсроченном последствии травмы. Это происходит либо во время полового созревания, либо позже. В первом случае это вызвано тем, что инстинкты, усиленные физическим созреванием, снова начинают борьбу, в которой они раньше были побеждены. Во втором случае невроз выходит наружу позже, потому что реакции и изменения личности, порожденные защитным механизмом, становятся препятствием на пути приспособления к проблемам взрослой жизни, и это порождает тяжелые конфликты между требованиями внешнего мира и особенностями Эго, которое стремится сохранить ту структуру, что далась ему такой болезненной ценой в ходе защитной борьбы. Наличие скрытого периода между первой, детской реакцией на травму и последующим, во взрослом возрасте, проявлением болезни может быть признано типичным. Сама болезнь должна рассматриваться как попытка самоизлечения, то есть примирения травмированного Эго с остальной, здоровой частью психики, чтобы превратить эту психику в достаточно сильное целое, способное справиться с окружающим миром. Однако эта попытка редко кончается удачей без помощи аналитика, да и в этом случае успех приходит не всегда. Зачастую болезнь приводит к полному разрушению и распаду Эго или же к его подчинению той деформированной части, которая отгородилась от него еще в детстве и с тех пор контролировалась скрытой травмой.

Я сознаю, что все эти рассуждения прозвучат убедительно только для тех немногих, кто посвятил свою жизнь изучению и лечению неврозов. И поскольку я обращаюсь здесь к широкой аудитории, мне остается лишь попросить читателя хотя бы на пробу

поверить той сокращенной лекции, которую он только что прослушал; я же, со своей стороны, готов признать, что он может согласиться с нижеследующими выводами только в том случае, если теория, на которой они основаны, окажется верной.

#### 4. Приложение

Ранняя травма — защита — скрытый период — взрыв невроза — частичное возвращение подавленных переживаний — такова формула, которую мы вывели из невротического процесса. Теперь я приглашаю читателя сделать вместе со мной еще один шаг и предположить, что в истории рода человеческого происходит нечто, весьма подобное событиям в жизни каждого отдельного человека. Иными словами, человечество как целое тоже проходит через конфликты сексуально-агрессивного характера, которые оставляют по себе неустрашимые следы, но по большей части подавляются и забываются; позднее, после длительного скрытого периода, они снова возрождаются в коллективной психике и вызывают к жизни явления, сходные по структуре и тенденции с невротическими симптомами индивидуума.

Я надеюсь, что разъяснил эти процессы, и хочу теперь показать, что их последствия, столь сходные с невротическими симптомами, связаны с возникновением религии. Поскольку после открытия Дарвином эволюции уже нет сомнений, что человечество имело предысторию, и поскольку эта предыстория неизвестна (иными словами, забыта), мое утверждение выглядит почти как аксиома.

Я уже выдвигал этот тезис более четверти века назад, в книге "Тотем и табу" (1912), и теперь мне достаточно лишь вкратце повторить сказанное там. Мои рассуждения исходят из некоторых замечаний Дарвина и гипотезы Аткинсона. Они утверждают, что в первобытные времена люди жили маленькими группами под руководством сильного самца. Время этих событий неизвестно; никакой связи с геологическими данными не удалось установить. Возможно, что люди тогда еще не вполне овладели речью. Существенно однако, что все первобытные люди, включая, разумеется, наших предков, прошли через этот этап.

Я расскажу эту историю весьма сокращенно и так, словно то, что в действительности потребовало столетий и за это время неоднократно повторялось, произошло лишь один-единственный раз.

Сильный самец был вожаком и отцом всей орды и обладал безграничной властью, которой пользовался с величайшей жестокостью. Все самки орды принадлежали ему, а судьба его сыновей была плачевна: если они возбуждали ревность отца, их ожидала смерть, кастрация или изгнание. Им приходилось жить своими маленькими мужскими группами и добывать себе жен, воруя женщин с других стоянок. Постепенно, однако, тот или иной сын достигал положения, сходного с положением отца в родной орде. Один из путей такого возвышения был вполне естественный — я имею в виду возвышение *младшего* сына, который был защищен от гнева отца материнской любовью и замещал вожака после его смерти. Отголосок традиции изгнания старшего сына и предпочтительного положения младшего проходит во многих мифах и сказках.

Следующий решительный шаг к изменению этой первичной “социальной” организации мог состоять, как мы предполагаем, в таком повороте событий: старшие братья, изгнанные из орды и жившие отдельной группой, собирались вместе, убивали отца и, следуя обычаям тех времен, совместно пожирали его тело. Этот каннибализм не должен нас шокировать, он еще долго удерживался в человеческих коллективах. Существенно однако, что тут мы молчаливо приписываем тем первобытным людям те же чувства и эмоции, которые обнаруживаем в “примитивных” людях нашего времени — в наших детях — с помощью психоанализа. Иными словами, мы полагаем, что они не только ненавидели и боялись своего отца, но одновременно почитали его как пример для подражания; в сущности, каждый сын хотел бы стать таким же, как отец. Поэтому упомянутый акт каннибализма следует понимать как попытку отождествиться с отцом путем съедения его части.

Разумно допустить, что после убийства отца наступил период взаимной борьбы за главенство, которое каждый брат хотел захватить себе. Вскоре они увидели, что эта борьба столь же опасна, сколь и бесплодна. Достигнутое с таким трудом взаимопонимание, равно как и воспоминание о совместном героическом освобождении, а также взаимная привязанность, укрепленная годами изгнания, привели в конце концов к союзу, или своеобразному “общественному договору”. Так возникла первая форма социальной организации, в которой все стороны взаимно отказались от удовлетворения своих инстинктов, признали взаимные обязательства и

провозгласили священные нерушимые правила общежития — короче, заложили основы морали и закона. Каждый отказался от стремления стать единоличным заместителем отца и обладать своей матерью или сестрами. С этого момента возникли известные нам табу на инцест и закон экзогамии. Значительная часть власти, освободившейся после убийства отца, перешла к женщинам; последовал период матриархата. Но все это время в "братской орде" сохранялось воспоминание об отце. Суррогатом этого первого вожака орды стало какое-нибудь сильное, возможно — опасное животное. Такой выбор может показаться странным, но первобытный человек еще не проводил того различия между людьми и животными, которое создали его потомки. Не проводят такого различия и наши дети, страх которых перед животными оказалось возможным объяснить именно страхом перед отцом. Отношение орды к такому животному—"тотему" сохранило всю амбивалентность первичного отношения к отцу. С одной стороны, тотем воплощал в себе телесного предка и духа-хранителя орды; его следовало почитать и защищать. С другой стороны, был учрежден праздник, во время которого его постигала та же судьба, что некогда — первобытного отца: братья совместно убивали и поедали его. Этот праздник тотемного пиршества в действительности символизировал победу объединившихся сыновей над жестоким отцом.

Какое же место в этой картине занимает религия? Тотемизм с его поклонением суррогату отца, с его амбивалентностью отношения к этому отцу, которое проявляется в тотемном пиршестве, с его обычаем праздника воспоминаний и законами, нарушение которых карается смертью — такой тотемизм, заключаю я, можно рассматривать как самое раннее проявление религии в истории человечества, и он показывает, какие тесные связи существовали с самого начала между социальными обычаями и моральными правилами. Последующее развитие религии может быть очерчено здесь лишь в самом общем виде. Несомненно оно происходило параллельно культурному развитию человечества и изменениям в его социальных институтах.

Следующим шагом после тотемизма было очеловечивание существа, которому поклонялась орда. Место животных заняли человеческие боги, связь которых с тотемом все еще достаточно прозрачна: либо эти боги вообще изображаются как животные, либо сохраняют определенные признаки животных; сам тотем-животное может стать атрибутом такого божества или же миф

рассказывает, как это божество побеждает именно то животное, которое в действительности было его предшественником. В какой-то период — трудно сказать, когда (возможно — еще до появления мужских богов) — появляется культ великих богинь-матерей; они долго остаются объектом поклонения еще и потом, наряду с богами-мужчинами. В это время происходит великая социальная революция. Матриархат сменяется возрожденным патриархатом. Верно, новые отцы уже не достигают того всемогущества, что первобытный отец. Их слишком много, и они живут в более многочисленном коллективе, чем вожаки первичной орды; им приходится поэтому ладить друг с другом и подчиняться социальным ограничениям. Возможно, богини-матери появились как раз тогда, когда матриархат был ограничен, чтобы компенсировать урон, понесенный свергнутыми с трона женщинами. Мужские божества появились сначала на ролях сыновей этих великих богинь, и лишь позднее они явно обретают черты отцов. Эти мужские божества политеистической эпохи отражают в себе все особенности патриархальных времен. Они многочисленны, делят между собой власть и порой подчиняются старшему божеству. Но уже следующий шаг прямо ведет к интересующему нас вопросу: это *возвращение* одного-единственного бога-отца, обладающего *безграничной* властью.

Я вынужден признать, что этот исторический очерк грешит многими пробелами и нуждается в дальнейшем подтверждении. Но тот, кто назовет эту реконструкцию первобытной истории слишком фантастичной, в свою очередь погрешит серьезной недооценкой многочисленности и силы доказательств, на которые она опирается. Многие из того, что вплетено в эту целостную картину, доказано исторически или даже сохранилось по сей день у примитивных племен (матриархат, тотемизм, мужские группы); многое другое обнаруживает себя в примечательных воспроизведениях. Нет недостатка в исследователях, удивлявшихся сходству между обрядом христианского причастия (когда верующие символически поедают плоть и кровь их Бога) и тотемным пиршеством, внутренний смысл которого причастие в сущности воспроизводит. Многочисленные следы нашей забытой ранней истории сохранились в легендах и сказках различных народов, а психоаналитическое исследование духовной жизни детей принесло неожиданно щедрые результаты, заполнившие лакуны в наших представлениях о первобытных временах. В нашей реконструкции

нет ничего придуманного, ничего, что не покоилось бы на достаточно надежных основаниях.

Предположим, что это представление о первобытной истории в целом верно. Тогда в религиозных обрядах и доктринах можно немедленно распознать два элемента: с одной стороны, фиксацию на давней истории орды-семьи, с другой — воспроизведение и возвращение прошлого после долгого периода забвения. Именно этот второй элемент доселе не был замечен и потому — не понят. Проиллюстрируем его поэтому хотя бы одним впечатляющим примером.

Для этого стоит подчеркнуть, что всякое воспоминание, возвращающееся из забытого прошлого, обладает некоей особой силой, производя ни с чем несравнимое воздействие на человеческие массы и порождая непреодолимое желание в него поверить, против которого бессильны все логические аргументы. Эта странная особенность может быть понята только в сравнении с навязчивыми представлениями в случае психотиков. Давно уже установлено, что такие представления содержат элемент забытой реальности, которой — по возвращении — приходится мириться с искажением и непониманием; стойкая вера людей в такие представления порождена именно этим зерном истины, в них содержащимися, и распространяется не только на него, но также и на те искажения, которые на это зерно наслоились. Наличие такого "зерна истины", — которое мы можем в данном случае назвать *исторической правдой* — следует приписать и религиозным доктринам. Они отягощены, это верно, признаками психотических симптомов, но будучи массовыми явлениями, не поддаются проклятию изолированности, которое постигает их в психике индивидуума.

Ни в одном разделе религиозной истории этот феномен не проявляется с такой широкой ясностью, как в становлении еврейского монотеизма и его перерастании в христианство. (Кстати, каждый из четырех евангелистов имеет свое излюбленное животное.) Если мы на минуту предположим, что правление фараона Эхнатона послужило внешней причиной появления монотеистической идеи, то немедленно увидим, что эта идея, изъятая из ее почвы и переданная другому народу, пережив долгий скрытый период, возвращается к народу, воспринимается им заново, ценится как величайшее достояние и сама в свою очередь сохраняет этот народ, наделяя его гордостью за свою избранность. Идея эта — в сущности, ни что иное, как религия *первобытного отца*



с присущими ей надеждами сыновей на вознаграждение, выделенность и первенство в мире. (Любопытно, что отголосок последней из этих надежд, давно уже отброшенной самим еврейским народом, все еще сохранился среди его врагов в виде веры в заговор "мудрецов Сиона".) Мы позже обсудим, как получилось, что особенности заимствованной в Египте монотеистической идеи сформировали еврейский характер, направив его по пути возвышенности и духовности. Люди, убежденные, что обладают истиной, и увлеченные сознанием своей избранности, начинают высоко ценить всякие интеллектуальные и этические достижения. Я покажу также, как их горестная судьба и заготовленные для них действительностью беды повели к усилению этих тенденций. Сейчас однако нам следует проследить их историю в несколько ином направлении, — в сторону возникновения христианства.

Восстановление первобытного отца в его исторических правах означало большой прогресс, но не могло положить конец религиозному процессу. Другие элементы праисторической трагедии тоже добивались признания. Трудно сказать, как развивался этот процесс. Возможно, к тому времени еврейский народ (а может, и вся тогдашняя цивилизация) был охвачен мощным чувством вины и греховности, которое было предвестником возвращения некогда вытесненного воспоминания. Этот кризис продолжался до тех пор, пока какой-то еврей, маскируясь под религиозно-политического агитатора, не провозгласил революционную доктрину, которая — объединившись с зачатками другого, христианского учения — отделилась от собственно еврейской религии. То был Павел, римский еврей из Тарсиса, который ухватился за разлитое в воздухе времени чувство вины и заново связал его с подлинным первичным источником, — убийством Отца (то есть Моисея). Он назвал этот грех "первородным"; в сущности, то был грех против Бога, который можно было искупить только смертью. Таким образом, смерть пришла в мир через первородный грех, ибо этим грехом, заслуживающим смертной кары, в действительности было убийство Отца, который позднее был обожествлен. Само это преступление, конечно, никто уже не помнил; его место заняла доктрина "искупления", и она-то получила широчайшее распространение среди тогдашних людей в виде вести о спасении (евангелия). Искупление это состояло в том, что сын Бога, незапятнанный первородным грехом, пожертвовал собой и тем самым принял на себя вину всего мира. Разумеется, Спасителем должен

был быть *Сын*, потому что преступление было совершено против *Отца*. Возможно, на эту фантастическую доктрину спасения повлияли также греческие и восточные мистерии. Но ее подлинная суть представляется собственным вкладом Павла. Он был человеком необычайного религиозного дара — в точном смысле этого слова. Мрачные следы прошлого залегли в его душе, сляясь пролиться в область сознательного.

Представление, будто Спаситель пожертвовал собой, будучи невинным, было конечно явным и тенденциозным искажением, которое трудно совместить с логикой. Как мог невинный человек принять на себя грех убийцы тем, что разрешил убить себя? Но историческая *реальность* не знает таких противоречий. "Спасителем" действительно мог быть *только самый виновный*, то есть вождь той группы братьев, которая восстала против Отца. Существовал ли такой "Искупитель" в действительности, останется по-видимому навсегда неясным. Это вполне возможно, но следует также помнить, что любой другой из братьев наверняка тоже стремился быть главным и этим обеспечить себе право на отождествление с отцом, которое он утратил бы, растворившись в безымянной группе. Если такие лидеры-искупители в первобытные времена не появлялись, значит Христос является всего лишь порождением неосуществленной фантастической мечты; если же эта мечта — отголосок прадавних, происходивших в реальности событий, то Христос — их наследник и воплощение. Для нас однако несущественно, имеем мы здесь дело с фантазией или возвращением забытой реальности; в любом случае, мы видим тут зарождение концепции героя — того, кто восстает против отца и под тем или иным прикрытием убивает его. (Эрнест Джонс обратил мое внимание на возможность того, что бог Митра, убивающий Быка, представляет собой такого вождя, символически прославляющего свое деяние. Известно, как упорно митраизм боролся за первенство с христианством.) Здесь мы видим также источник "трагической вины" героя греческой драмы — вины, которую трудно обнаружить в других великих творениях древнего искусства. Вряд ли можно сомневаться, что в греческих трагедиях герой и хор представляют именно этого героического бунтаря и орду его братьев, и не случайно возрождение театра в средние века началось именно с представления Страстей Христовых.

Я уже упоминал, что христианская церемония причастия повторяет содержание давнего тотемного пиршества; но она повторяет

его только в смысле любви и обожания, а не в его агрессивном плане. Однако амбивалентность отношений отца и сына полностью проявляется в суммарном результате религиозных нововведений Павла. Предназначенные умиловать Бога-Отца, они завершаются Его свержением и отбрасыванием. Религия Моисея была религией Отца; христианство стало религией Сына. Прежний Бог, Отец, перешел на второе место; Христос, его Сын, заместил его, как некогда, в далекие темные времена, всякий сын хотел заместить родителя. Желая обновить еврейскую религию, Павел в сущности отверг ее. Своим успехом на этом пути он был несомненно обязан тому, что с помощью доктрины спасения ублаготворил алчный призрак вины. К тому же он отказался от еврейской идеи избранного народа и зримого признака этой избранности — обрезания. Благодаря этому новая религия стала всеобщей, универсальной. И хотя этот шаг мог быть продиктован всего лишь желанием Павла сквитаться с противниками его новшеств среди евреев, тем не менее одна из характеристик прежней религии Атона (универсальность) была возрождена; было отброшено ограничение, наложенное на нее при переходе к новому носителю, евреям.

В определенном смысле новая религия была шагом назад по сравнению с прежней еврейской доктриной; так происходит всегда, когда новые массы людей более низкого культурного уровня вторгаются или допускаются в старую культуру. Христианство не дотягивало до тех вершин духовности, к которым поднялась еврейская религия. Оно не было чисто монотеистическим; оно заимствовало у окружающих народов многочисленные символические ритуалы, возродило богиню-мать и допустило множество политеистических божков — хотя и в подчиненной роли, но весьма легко распознаваемых. И сверх всего оно не было ограждено, в отличие от религии Атона и последующей моисеевой религии, от проникновения всевозможных магических и мистических элементов, которые весьма затруднили духовное развитие в последующие два тысячелетия.

Триумф христианства был повторением победы жрецов Амона над богом Эхнатона, только с перерывом на полторы тысячи лет и на гораздо большем пространстве. И тем не менее христианство обозначило также определенный прогресс в истории религии — в смысле возвращения некогда вытесненного, "истинного" ее содержания. С этого момента еврейская религия превратилась, так сказать, в окаменелость.

Стоило бы попытаться понять, почему монотеистическая идея произвела такое глубокое впечатление именно на еврейский народ и по какой причине он так неотрывно к ней прилепился. Я думаю, что на этот вопрос можно ответить. Великое деяние — и злодеяние — первобытных времен, убийство Отца, было приписано евреям, потому что судьба распорядилась так, что они воспроизвели его в виде убийства Моисея, этого их “отцовского суррогата”. То был типичный образчик “реального воспроизведения” вместо “мысленного припоминания”, довольно часто встречающийся также в практике индивидуального психоанализа. Но евреи ответили на доктрину Моисея (которая должна была бы послужить для них стимулом) тем, что стали отрицать его убийство, они не пошли дальше признания его великим отцом и остановились перед тем пунктом, с которого Павел позднее подхватил и продолжил первобытную историю. Тот факт, что исходным пунктом создания новой, павловой религии послужила насильственная смерть другого великого человека, вряд ли можно считать случайным. То был человек, которого небольшая кучка его приверженцев в Иудее считала Сыном Бога и долгожданным Мессией и которому позднее был приписан ряд особенностей, характерных для истории детства Моисея. В действительности однако, мы знаем о нем едва ли не меньше, чем о Моисее. Мы не знаем, был он действительно тем великим человеком, какого рисуют нам евангелия, или же все его значение связано лишь с особыми обстоятельствами и фактом его смерти. Павел, его великий апостол, лично Христа не знал.

Убийство Моисея его народом — о котором Селлин догадался, анализируя сохранившиеся следы традиции, и которое Гете загадочным образом предположил, не имея вообще никаких доказательств, — было важнейшей частью всех наших рассуждений, связующим звеном между забытым деянием первобытных времен и его последующим возрождением в форме монотеистической религии. (Интересно в этой связи сравнить наши рассуждения с известным вступлением “Умиравший бог” в книге Фрэзера “Золотая ветвь”.) Так и хочется предположить, что именно это чувство вины, связанное с убийством Моисея, явилось толчком к возникновению чаемой фантазии о приходе Мессии, который придет, чтобы дать своему народу искупление и обещанную власть над миром. Если Моисей был первым Мессией, то Христос — его суррогат и преемник. Тогда Павел имел полное пра-

во сказать своим слушателям: “Смотрите, Мессия действительно явился. Он действительно был убит на ваших глазах”. И тогда есть некая историческая правда в легенде о воскресении Христа, потому что он является “воскресшим Моисеем”, равно как и вернувшимся первобытным отцом первобытной орды, только трансформированным в Сына, который замещает Отца.

Несчастный еврейский народ, который с присущим ему жестоковыйным упрямством продолжал отрицать убийство своего “отца”, дорого поплатился за это в ходе последующих столетий. Снова и снова слышал он обвинение: “Вы убили нашего Бога”. И это обвинение, если его правильно толковать, в сущности совершенно справедливо. В историко-религиозном смысле оно означает: “Вы не хотите *признать*, что убили Бога” (то есть архетип Бога, первобытного Отца и его последующие воплощения). Но здесь христианам следовало бы добавить: “Верно, мы *тоже* убили его, но мы в этом *признались* и поэтому очищены от греха”. Увы, далеко не все обвинения, которые антисемиты швыряют в лицо потомкам еврейского народа, имеют под собой столь серьезные основания. Видимо, явление этой всеобщей, длительной и яростной ненависти к евреям имеет не одну-единственную причину. Можно было бы разъяснить многие из них; впрочем, некоторые причины антисемитизма вообще не нуждаются в толковании, поскольку проистекают из очевидных источников; зато другие берут начало более глубоко, в источниках более скрытых. В первой группе самым лживым является обвинение в “пришлости”, поскольку во многих антисемитских странах евреи представляют собой как раз самую древнюю часть населения, укоренившуюся еще прежде нынешнего национального большинства. Так обстоит, например, дело в Кельне, куда евреи пришли еще с римлянами — задолго до того, как эти места были заселены германскими племенами. Другие причины антисемитизма лежат глубже, — например, то обстоятельство, что евреи всегда живут как меньшинство среди других народов, а массовое чувство солидарности нуждается, для полноты, в ненависти к чужеродному меньшинству, которое своей малочисленностью и слабостью так и приглашает к насилию над собой. Однако две другие особенности евреев воистину “непростительны”. Во-первых, они во многих отношениях отличаются от своих “хозяев”. Конечно, не так уж фундаментально, поскольку они все-таки не составляют “азиатскую расу”, как утверждают их враги, а состоят в основном из

остатков средиземноморских народов и унаследовали их культуру. Тем не менее они отличаются (хотя порой трудно указать, чем именно), особенно от нордических народов, а расовая нетерпимость, как ни странно, куда сильнее проявляется в отношении к небольшим отличиям, чем к фундаментальным. Вторая особенность имеет еще более глубокое значение. Евреи неизменно преобладают над насильем, и даже самые жестокие преследования не сумели привести к их исчезновению. Напротив, они демонстрируют способность стоять на своем в практической жизни, а там, где им это разрешают, вносят ценный вклад в окружающую культуру.

Более фундаментальные мотивы антисемитизма уходят корнями в далекое прошлое; они скрыты в подсознании, и я вполне готов к тому, что слова, которые намереваюсь сейчас сказать, покажутся на первый взгляд невероятными. Я дерзну утверждать, что зависть, которую евреи вызывают у других народов, настаивая на своей избранности Богом-Отцом, все еще таится в сердцах окружающих народов, тем самым как бы подтверждая эти еврейские претензии. Далее, не случайно, что среди всех отличительных признаков отстраненной еврейской жизни обрезание — то, что производит самое жуткое впечатление на окружающих. Объяснение этого возможно состоит в том, что оно напоминает этим народам — “детям” о жуткой угрозе кастрации и прочих страшных вещах из их первобытного детства, о которых они тщетно хотели бы забыть. И наконец — самый молодой мотив в этом ряду: не следует забывать, что все народы, которые ныне особенно отличаются антисемитизмом, стали христианскими в сравнительно недавнее время, порой принужденные к этому кровавым насильем. Можно было бы сказать, что они “дурно христианизованы”; под тонким покровом христианства они остались все теми же многобожными язычниками, какими были их предки. Они еще не преодолели своей враждебности к новой, навязанной им религии, и вот они проецируют ее на тот источник, откуда христианство к ним пришло. Тот факт, что евангелия рассказывают о событиях, произошедших среди евреев и, по существу, вообще говорят только о евреях, лишь способствовал такому проецированию. Ненависть к иудаизму в основе своей есть ненависть к христианству, и неудивительно, что в немецкой национал-социалистической революции тесная связь между этими двумя монотеистическими религиями нашла столь откровенное выражение во враждебном обращении с обеими.

## 5. Трудности

Я надеюсь, что в предыдущей главе мне удалось доказать аналогию между невротическими процессами и религиозными явлениями и тем самым указать на неожиданный возможный источник религиозности. Но в этом переходе от индивидуальной психологии к массовой возникают две трудности, различные по характеру и значению, и их-то нам теперь предстоит обсудить. Первая трудность связана с тем, что мы проанализировали здесь всего лишь один пример из богатейшей феноменологии религий и не пролили свет на другие. Но я вынужден с сожалением признать, что не могу привести больше одного примера, поскольку у меня нет специальных знаний, необходимых для полноты исследования. Мои ограниченные познания позволяют мне только, быть может, добавить, что возникновение мусульманской религии представляется мне сокращенным повторением становления еврейской, в виде имитации которой она, собственно, и появилась. Есть основания полагать, что Пророк ислама первоначально вообще намеревался полностью принять еврейскую веру. Повторное приобретение единственного и могущественного первобытного Отца (в виде Аллаха) породило в арабах необычайный прилив самоуверенности, который поначалу позволил им добиться величайших военно-политических успехов, но затем фактически целиком был растрочен в этих чисто внешних, материальных достижениях. Напротив, внутреннее развитие новой религии вскоре приостановилось, потому что ей недоставало той головокружительной глубины, которая в еврейской религии открылась с убийством ее основателя. Другие же, внешне рационалистические религии Востока являются по сути всего лишь культами предков; поэтому они вообще останавливаются на очень раннем этапе реконструирования прошлого. Если верно, что у современных примитивных племен единственным содержанием их религий является поклонение высшему Существо, то это можно интерпретировать только как раннее увядание религиозной потенции, аналогичное бесчисленным случаям рудиментарных, заглохших неврозов, которые мы встречаем в клинической психологии. Почему в обоих этих случаях происходит остановка развития, мы не знаем. Нам приходится объяснить это специфическими особенностями данных народов, направлением, в котором пошла их деятельность, и общими социальными условиями их жизни.

И вообще, следует помнить, что в аналитической работе лучше всего ограничиться объяснением того, что существует, и не пытаться объяснять то, что не произошло.

Вторая трудность в этом переходе к массовой психологии более существенна, поскольку связана с проблемой фундаментального характера, а именно — *в какой форме* сохраняется активная традиция в жизни народов? Этот вопрос не возникает в отношении индивидуумов, потому что здесь он сразу решается наличием следов памяти о прошлом в нашем подсознании. Вернемся к нашему историческому примеру. Как я уже говорил, компромисс в Кадеше был продиктован наличием мощной традиции, сохранявшейся среди людей, которые вернулись из Египта. Тут еще нет никаких проблем. Я предположил далее, что эта традиция и впоследствии сохранялась в сознательной памяти народа благодаря устным преданиям, которые были переданы ему предшественниками, отстоявшими от людей Кадеша всего лишь на одно-два поколения. Эти предки были участниками и очевидцами рассматриваемых событий. Но имеем ли мы право предположить, что тот же процесс продолжался и в последующие столетия, то есть что традиция всегда опиралась на устные сведения, которые передавались обычным путем, от предков к потомкам? Теперь мы уже не можем сказать, кто были те люди, которые хранили и передавали из уст в уста эти сведения. Тем не менее, если верить Селлину, предания об убийстве Моисея каким-то образом всегда сохранялись среди священников, пока наконец не были записаны (что и дало Селлину возможность их обнаружить). Но эти предания не могли быть достоянием многих; эти знания не принадлежали всем. Может ли такая форма передачи знаний объяснить все последующее? Имеем ли мы право приписать этому тайному знанию, хранившемуся среди немногих посвященных, такую власть над воображением масс, что эти массы прилепились к нему на долгие века, едва лишь о нем узнали? Нам представляется скорее, что в этих невежественных народных массах уже предсуществовало что-то, родственное этому знанию, нечто такое, что рванулось ему навстречу, как только оно стало всеобщим.

Еще труднее обстоит дело в случае первобытных времен. Уж наверняка за тысячи-тысяч веков было забыто и существование первобытного Отца, и судьба, его постигшая. Мы даже не вправе постулировать здесь наличие устных преданий, как в



случае Моисея. В каком же смысле можно и здесь говорить о традиции? В каком виде она вообще могла существовать?

Чтобы помочь читателям, которые не хотят или не готовы погружаться в дебри сложных психологических рассуждений, я представлю результаты этих рассуждений с самого начала. Я утверждаю, что соответствие между индивидуумом и массой в данном пункте является почти абсолютным. Массы тоже сохраняют минувшие переживания в виде бессознательных следов памяти.

В случае индивидуума это кажется достаточно очевидным. Он действительно сохраняет следы воспоминаний о событиях раннего детства, но сохраняет их весьма специфическим психологическим образом. Можно сказать, что он всегда помнит о них — в том смысле, что в его психике сохраняется *весь* подавленный материал. Мы разработали специальную теорию (которая хорошо подтверждается экспериментом), объясняющую, как происходит это забывание, а спустя некоторое время — возвращение забытого. Забытый материал не исчезает, он только “подавляется”; его следы остаются в памяти во всей их первоначальной свежести, но при этом — заблокированные механизмом так называемого “антикатезиса”. Они не могут войти в контакт с другими интеллектуальными процессами; они остаются подсознательными, то есть недоступными сознанию. Бывает, что какая-то часть этого подавленного материала ухитряется избежать такой судьбы, остается доступной для памяти и время от времени даже возникает в сознании, но и тогда она является в нем как нечто изолированное и чужеродное, не имеющее никакой связи с остальным содержанием мозга. Да, так бывает, но далеко не обязательно. Подавление может быть также и полным, и именно этот случай я предлагаю теперь рассмотреть.

Подавленный материал сохраняет стремление прорваться в сознание. Он достигает этой цели при выполнении одного из трех условий: 1) когда сила блокирующего “антикатезиса” уменьшается благодаря такой болезни, которая воздействует непосредственно на Эго, или при возникновении обстоятельств, которые перераспределяют блокирующие экраны катезиса в Эго — как, например, бывает во время *сна*; 2) когда инстинкты, связанные с подавленным материалом, усиливаются. Процессы, происходящие во время *полового созревания*, — лучший тому пример; 3) когда *новые события* вызывают впечатления или переживания, весьма сходные с подавленным материалом, и потому пробуждают его. Воздействие нового материала усиливается при этом скрытой энергией подавленного, а подавленный материал оказывает усиленное влияние благодаря прикрытию нового и с его помощью.

Ни в одном из этих трех случаев подавленный материал не достигает сознания без ущерба для себя. Он всегда претерпевает искажения, которые свидетельствуют о его борьбе с блокирующим механизмом катезиса, или о модифицирующем влиянии недавних переживаний, или о том и другом совместно.

Разграничительным и отличительным признаком во всех этих процессах является различие между сознательным и бессознательным. Подавленный материал относится к области бессознательного. Было бы утешительным упрощением, если бы эту фразу можно было обратить, то есть сказать, что различие между "сознательным" и "бессознательным" тождественно различию между "принадлежащим Эго" и "подавленным". На самом деле все куда сложнее. Верно, что любой *подавленный* материал относится к бессознательному, но неверно, будто бессознательным является *все*, принадлежащее Эго. Мы начинаем понимать, что сознание — это эфемерное качество, которое характеризует психический процесс лишь на каких-то особых его этапах. Вот почему для наших целей лучше заменить термин "сознательное" выражением "способное быть осознанным" и назвать это "предсознательным". Тогда можно сказать точнее: Эго является преимущественно предсознательным (потенциально сознательным), но отдельные его части остаются бессознательными, то есть неосознаваемыми вообще.

Последняя фраза показывает, что различия, которые мы подчеркивали до сих пор, недостаточны, чтобы осветить мрачные глубины ментальной жизни. Нужно ввести другое различие, уже не качественное, а топографическое и одновременно, что особенно важно, — генетическое. Выделим теперь в нашей ментальной жизни (которая, как мы видим, является иерархической конструкцией с несколькими уровнями, или "провинциями") два региона: Эго и Ид. Более старым, первичным является Ид; Эго развивается из него под влиянием окружающего мира, как на дереве развивается кора. Наши первичные инстинкты берут начало в Ид; все процессы в Ид являются бессознательными. Эго, как я уже сказал, соответствует области предсознательного; некоторые его части обычно остаются бессознательными всегда. Психические процессы в Ид подчиняются совершенно особым законам; их протекание и влияние друг на друга отличаются от того, что происходит в Эго. Установление этих различий ведет нас к новому пониманию проблемы и подтверждению такого понимания.

Витесненный материал принадлежит Ид и подчиняется его механизмам; он отличается от остального материала в Ид только своим происхождением. Это отличие возникает в раннем детстве, когда Эго развивается из Ид. Затем Эго устанавливает контроль над определенной частью Ид и повышает ее до предсознательного уровня; другие части Ид остаются на бессознательном уровне. Однако в ходе дальнейшего развития Эго некоторые психические впечатления и процессы в нем изолируются защитными механизмами; они утрачивают свой предсознательный характер и деградируют, снова становясь интегральной частью Ид. Мы предполагаем, что связь между этими двумя ментальными "провинциями" такова, что бессознательные процессы в Ид могут быть подняты до предсознательного уровня и включены в Эго, а с другой стороны, предсознательные процессы в Эго могут сдвигаться в противоположном направлении и уходить обратно в Ид. (Для наших целей не имеет значения тот факт, что позднее из Эго выделяется еще одна "провинция", так называемое Суперэго.)

Все это может показаться запутанным, но стоит разобраться в неприглядной топографии ментального аппарата, и большинство трудностей ис-

чезает. Добавлю лишь, что эта топография не имеет ничего общего с анатомическим строением мозга, кроме одного-единственного пункта. Недостатки этой топографической концепции — которые видны мне лучше, чем кому-либо — связаны с нашим полным невежеством относительно динамики ментальных процессов. Ясно, что отличие сознательной идеи от предсознательной, а последней — от бессознательной состоит в некоей модификации (или, возможно, перераспределении) психической энергии. Феномен сознания поначалу неразрывно связан с восприятиями. Все восприятия, порождаемые болевыми, тактильными, слуховыми или зрительными ощущениями, скорее всего являются сознательными. Мыслительные процессы (или то, что им соответствует в Ид) по определению бессознательны и получают доступ в сознание лишь благодаря связи (через речь) со следами слуховых и визуальных восприятий в памяти. У животных, не обладающих речью, эта связь должна быть проще.

Впечатления от ранних травм, с которых мы начали, или вообще не достигают уровня предсознания, или сдвигаются оттуда обратно в Ид с помощью вытеснения. Их следы в памяти становятся бессознательными и подчиняются механизмам Ид. Если это личные переживания данного человека, то за их судьбой вполне можно проследить. Но положение осложняется, как только мы принимаем во внимание, что в ментальной жизни индивидуума содержится не только то, что он пережил сам, но и то, чем он наделен от рождения — фрагменты родового происхождения, так сказать — “архаическое наследие”. Немедленно возникает вопрос: в чем состоит это наследие, в какой форме оно существует и где доказательство его существования?

Прежде всего и почти наверняка, оно состоит в определенном рода *предрасположениях*, свойственных всем живым существам, иными словами — в склонности и способности следовать специфическому направлению развития и специфическим образом реагировать на те или иные раздражения, впечатления и стимулы. Поскольку опыт показывает, что разные люди отличаются в этом отношении, можно думать, что наше архаическое наследие уже включает эти различия; они составляют унаследованную характерологическую особенность данного индивидуума.

Психоаналитические исследования принесли и некоторые другие результаты, дающие пищу для размышлений. Прежде всего, существует, как мы знаем, универсальность речевого символизма. Дети вполне успешно подменяют один объект другим, его символом, и одно действие — другим, его символическим суррогатом. Непонятно, как они этому научаются, и во многих случаях абсолютно ясно, что они действительно не имели никакой возможно-

сти научиться этому от взрослых. Видимо, это какое-то первичное знание, которое взрослый человек потом забывает. Верно, взрослые прибегают к тому же приему символической подмены в своих снах, но они не понимают этой подмены, пока психоаналитик им ее не растолкует, да и тогда они с трудом мирятся с такими толкованиями. Пользуясь в речи теми стандартными языковыми оборотами, в которых кристаллизован этот символизм, человек также не отдает себе отчета в их подлинном значении. Символизм этот оказывается даже выше языковых границ между людьми; возможно, последующие исследования покажут, что он вездесущ и одинаков для всех народов. Тут мы видим надежный пример архаического наследования, восходящего к таким временам, когда происходило становление человеческой речи\*.

Однако психоаналитические исследования выявили и другие особенности, более важного значения. Изучая реакции на ранние травмы, мы часто с удивлением обнаруживаем, что они не ограничиваются только реакциями на пережитое самим человеком, но отклоняются в такую сторону, что больше напоминают реакции на некие *генетические* события и куда лучше объясняются именно как таковые. Поведение невротического ребенка, переживающего комплекс Эдипа и комплекс кастрации, чрезвычайно богато подобными реакциями, которые кажутся совершенно необъяснимыми в его возрасте и филогенетически могут быть поняты только в сопоставлении с опытом, пережитым *предшествующими поколениями*. Следовало бы наверно собрать и опубликовать весь тот экспериментальный материал, на котором базируются эти мои соображения. Мне они кажутся настолько убедительными, что я позволю себе пойти еще дальше и предположить, что архаическое наследие человечества содержит не только предрасположения, но также целые "идеационные комплексы", то есть следы переживаний предыдущих поколений. Такое предположение значительно расширяет как границы, так и значимость архаического наследия.

---

\* Впрочем, можно попытаться предложить и другое объяснение — можно сказать, что это мыслительные связи между идеями, которые формировались в ходе исторического развития языка и теперь воспроизводятся всякий раз, когда индивидуум проходит через этап такого развития. Тогда это будет примером мыслительной предрасположенности — подобно тому, как бывает инстинктивная предрасположенность; и мы опять не продвигаемся в демонстрации архаического наследия.

Я замечаю однако, что рассуждаю так, словно ничуть не сомневаюсь в существовании наследственной памяти (то есть следов того, что пережили наши предки), совершенно не связанной с какой-нибудь прямой передачей пережитого опыта потомкам через слово или воспитание. Когда я говорю о древней традиции, живущей в народе, о формировании национального характера, то имею в виду как раз традицию унаследованную таким именно, генетическим образом, а не передачу из уст в уста. Во всяком случае, я до сих пор не различал этих двух путей передачи памяти из поколения в поколение и не отдавал себе отчета, какое дерзкое предположение скрывалось за этим их отождествлением. Ситуация к тому же нисколько не упрощается, если вспомнить, что современная биология отвергает идею наследования признаков, приобретенных при жизни индивидуума. Со всей осторожностью я все же вынужден заявить, что не вижу никакой возможности биологической эволюции без участия такого фактора. Эти случаи, впрочем, не вполне сходны; при передаче по наследству традиции мы имеем дело с такими приобретенными чертами, которые почти неуловимы; в случае генетической передачи признаков — со следами, имеющими внешнее, почти конкретное выражение. Но возможно, одно не существует без другого. Приняв существование таких следов в нашей наследственной архаической памяти, мы перебрасываем мост между психологией индивидуума и психологией масс и можем трактовать массу как индивидуального невротика. Верно, наша гипотеза о наследственной архаической памяти не имеет других доказательств, кроме тех, которые вскрыты психоаналитическими исследованиями (так называемые "отклонения от филогенеза"), но мне эти свидетельства кажутся достаточно убедительными, чтобы постулировать такой механизм. Если дело обстоит иначе, нам не удастся продвинуться ни в индивидуальном психоанализе, ни в массовой психологии. Наша дерзость попросту необходима.

Постулируя наследование архаической памяти, мы одновременно делаем кое-что еще. Мы уменьшаем широкий разрыв между людьми и животными, который создан высокомерием современного человека. Если и можно как-то объяснить так называемые инстинкты животных (то, что позволяет им сразу же освоиться в новых условиях, как будто в старых и привычных), то лишь тем, что каждое отдельное животное использует в этих новых условиях весь прежний опыт своего вида, иными словами — оно

сохраняет в памяти воспоминание обо всем, что пережили когда-то его предки. Но двуногое животное не может так уж радикально отличаться от всех. У него тоже есть наследственная память, хоть и иная по размаху и характеру, которая соответствует этим инстинктам у животных.

Теперь мне уже ничто не мешает заявить, что люди всегда помнили — именно этой особой, архаической, наследственно-коллективной памятью, — что в древности у них был первобытный отец и что они его убили.

Нам остается ответить еще на два последних вопроса. Во-первых, в каких условиях это знание вошло в архаическую память, и во-вторых, в каких условиях оно может активизироваться, то есть подняться с бессознательного уровня Ид на уровень сознания, хотя и в искаженной и видоизмененной форме? Ответ на первый вопрос прост: такое воспоминание запечатлевается в памяти, когда переживание является очень сильным или многократно повторяется (или же когда происходит то и другое вместе). В случае отцеубийства выполняются оба условия. По поводу второго вопроса замечу, — активизации могут способствовать многие факторы, порою нам неизвестные; она может также произойти совершенно спонтанно, как в случае некоторых индивидуальных неврозов. Тем не менее вероятность пробуждения такой памяти благодаря свежему повторению аналогичного события в реальной действительности имеет наибольшее значение. Таким повторением было у евреев сначала убийство Моисея, а позднее — предполагаемое (юридическое) убийство Христа, и потому именно эти события выдвигаются во главу ряда возможных причин. Представляется, что возникновение и развитие монотеизма было бы вообще невозможно, не будь этих событий. Это напоминает нам слова поэта:

Все, чему суждено жить в бессмертной песне,  
Должно быть сначала похоронено в реальной жизни.

(Шиллер. "Боги Греции")

Я закончу свои рассуждения неким психологическим доводом. Традиция, основанная только на устной передаче, не может иметь того навязчивого характера, который свойствен религиозным явлениям. К преданию можно прислушаться, его можно обдумать,

взвесить и может быть даже отвергнуть — как всякое другое внешнее сообщение; но устному рассказу никогда не снискать уникальной привилегии быть свободным от принудительности логического мышления. Только коллективная наследственная традиция, пережившая "вытеснение" и переход на уровень бессознательного, может по возвращении в историю произвести такое могущественное воздействие и так зачаровать массы, как мы это видим — поражаясь и не понимая — в религиозных явлениях. И это соображение окончательно склоняет наш баланс в пользу убеждения, что события действительно происходили именно так, как я пытался их здесь описать, — или, во всяком случае, очень похоже...

*Перевод с английского Р. Нудельмана*

(о кончание следует)

### КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

новая книга

**НИНА ВОРОНЕЛЬ**

350 стр.

**КАССИР ВЕЧНОСТИ (ПЬЕСЫ И ЭССЕ)**

19 долл.

...Талантливый композитор вынужден приписать свои творения вымышленному "народному гению", но вот "гений" является за славой собственной персоной...

...Кухарка, тронутая палочкой Феи, становится распорядительницей культурного ведомства, а Фея, ставшая кухаркой, оказывается лицом к лицу с похотливым кухаркиным мужем...

...Забредший на волжский дебаркадер Христос предстает перед хмельным скопищем человеческих уродцев, и они готовы распрячь подозрительного чужака...

И рядом с этими жуткими в своей правдивости, лишь оттененной фантастичностью, сценами советского быта — праздничная процессия Каннского фестиваля; закулисные тайны бродвейских театров; иронические портреты западных феминисток — иной мир, иные проблемы...

Эта книга — двуликий Янус, обращенный как к тем, кто ищет в литературе напряженного сюжетного драматизма, так и к тем, кто хочет с ее помощью понять окружающую новую жизнь.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

С легкой руки М. С. Горбачева неожиданно вошло в моду знаменитое есенинское двустишие (помните: Лицом к лицу — лица не увидать. Большое видится на расстоянии.). Он процитировал его, заметим, весьма кстати, на пресс-конференции в Рейкьявике, и в течение месяца-двух советские газеты приводили его вновь и вновь, не ссылаясь ни на Есенина, ни на Горбачева. В последний раз я натолкнулся на него в "Известиях", когда шла компания по реабилитации — так и говорили — А. Т. Твардовского. Я и сам охотно цитирую классиков, но, надеюсь, редакция не откажется засвидетельствовать, что название нашего цикла было выбрано задолго до Рейкьявической встречи.

Мне захотелось уделить внимание столь высокопоставленному ценителю русской поэзии, тем более, что по роду деятельности он имеет отношение и к советским евреям, и к нашим с вами делам, а еще потому, что то, что происходит сейчас в Советском Союзе и само по себе любопытно. Попробую хоть поначалу без симпатий и антипатий, впрочем, если бы у меня была возможность проинтервьюировать советского руководителя, я бы первым делом осведомился о его поэтических вкусах.

*Александр Этерман*

### ИСТИНА С БЛИЗКОГО РАСТОЯНИЯ

(очерк второй;  
начало см. "22" № 52)



В последнее время пробудился интерес к другому позднему плоду человеческого гения — к марксизму. Это уже не был религиозный интерес, и даже не интерес политический, от него подозрительно веет начетничеством, университетским духом и просто мертвечиной, подведением итогов, — но все же и это лучше, чем ничего. Живое учение так не копают, мертвое, правда, тоже. Немарксисты стали находить в марксизме рациональное зерно, полагаю, на чуть большем расстоянии от львиных когтей они определяют его как учение, прогрессивное для своего времени. Меня, однако, поразило в этих публикациях совсем другое, и я занялся бы этой темой, даже если бы не собирался писать о М. С. Горбачеве — а может, все равно свернул бы на его реформы, — так вот, в них обсуждается марксистская теория управления государством, читай, практика, кодифицированная в процессе социалистического строительства, плюс классические ленинские труды, все это в критическом ракурсе, все — в свете социальной схемы будущего общества, которую набросал сам Маркс. Естественно, результаты всякий раз оказываются неутешительными, и чем более уважительный устанавливается тон, тем сильнее это бьет в глаза, мне же, отчасти по наивности, они кажутся не то, чтобы неверными, а, скажем так, превратными — ибо на радостях мы забываем о том, что марксизм экономическая теория, экономическая модель истории, и судить Маркса следует прежде всего как экономиста. В конце концов, мы еще в детстве узнали, что краеугольный камень марксизма — учение о прибавочной стоимости, что Энгельс определил, что гений — Маркс — создал экономическую теорию (одноименную) и вскрыл тем самым законы общественного развития, в то время как они — лишь таланты — достроили потихоньку все остальное, что Ленин, когда ему понадобилось, попросту выбросил политическую концепцию, она же прогноз классического марксизма, оставив главное — экономические предписания, что и сегодня, при желании, можно быть ортодоксальным марксистом, придерживаясь практически любых политических взглядов — только не отказываясь от идеи обобществить средства производства. Гениальный вождь, строивший марксистское государство по совершенно немарксовым правилам, утверждал все же: “Учение Маркса победит, потому что оно верно”, — и мы ни на секунду не усомнились в его искренности. Но что, собственно, верно? Кого победит? Голый прецедент победы социалистической революции в одном

отдельно взятом Петрограде на месте хоронил марксово политическое видение. В то же время мы, учившие ленинские труды, понимаем, что он действительно ощущал себя марксистом-победителем. Настоящим марксизмом, откровением была для него марксистская политэкономия, замешанная на исторической диалектике теория экономических формаций, марксов механизм общественного прогресса. Остальное же, отчасти плоды стараний упомянутых талантов, воспринималось им как скорлупа, вероятно, полезная на определенном этапе, но уже вовсе пустая, буде сброшена в один прекрасный момент. В другом месте он пишет, что есть простой способ убедиться в истинности марксизма — попросту, социалистические предприятия скоро обеспечат подъем производительности труда, превосходящий тот, который совершило в свое время капиталистическое фабричное производство.

История СССР — до М. С. Горбачева включительно — это история сосуществования марксистской экономической модели и всевозможных политических систем, которые по очереди пытались к ней приспособиться. Допускаю, что многие со мной не согласятся, берусь утверждать, однако, — и пожалуй, только эта уверенность и оправдывает факт написания этой статьи, что сам М. С., — не только крупный реформатор, но и незаурядный мыслитель, — смотрит на вещи именно таким образом.

Начнем с конца. По большому счету, марксистская схема не допускает многих толкований. Ясное дело, в обществе разворачиваются две отдельные, но весьма увязанные системы — производительные силы и производственные отношения. Первые двигаются вперед в ногу со временем, разумеется, к чьей-то конкретной выгоде, вторые весьма инертны, ибо их неизменность в интересах господствующего класса, и в итоге они всегда отстают. По мере увеличения этого отставания ПО становятся помехой для развития ПС, и кое-кто начинает терпеть убытки и иные неудобства. Постепенно ситуация обостряется, доходит до потрясений, до взрыва и тогда-то и воцаряется новая экономическая формация, социальное устройство, суть которого — новая, пока прогрессивная система производственных отношений, соответствующая уровню развития производительных сил, а назначение — дать ПС развернуться. Важнейшим следствием и индикатором успешности общественного переворота является скачкообразный рост производительности труда, попросту, реализация в новых условиях того, что заложено в ПС в прошлую эпоху. Марксисты пред-

шествующей эпохи видели — по крайней мере теоретически — свое политическое назначение в том, чтобы обеспечить необходимые условия для очередного большого скачка. Великая дискуссия о том, где и как делать революцию была по сути лишь спором о том, каковы эти условия. Противники теории отдельно взятой страны боялись не только того, что ее сожрет капиталистическая акула — ну, вооружились бы как следует, — проблема была в том, что укрепившись в социалистической фортеции, сохранив армию, полицию и государственный аппарат, можно так и не построить новые производственные отношения, может получиться гибрид старого порядка с новым, этакий политико-экономический убудок, в котором марксовой диалектике истории негде развернуться.

Очаровательно, что этот “антисоветский” тезис, казалось бы, весьма актуальный сегодня, да и неплохо объясняющий экономические неудачи СССР, вовсе и не слышен. Тому, на мой взгляд, две причины. Первая и самая простая — те, кто Россию, социализм или социализм в России вообще не приемлют, предпочитают обходиться без рассуждений типа: “Дело в том, что...” — ибо им важно отвергнуть безусловно и бесповоротно. Конструктивная критика исходит сейчас из России и гремит на страницах центральных изданий. Ее резюме: то, что происходило до перестройки, происходило в силу политических причин, а отчасти и политических ошибок, теперь же страна делает тшуву, то бишь возвращается к вечным марксистским экономическим критериям, короче, на протяжении десятилетий марксизм был извращен в своей (политэкономической) сути. Полагаю, что пришло время разразиться цитатой (выбираю нарочно самую умеренную из доклада на январском Пленуме 1987 года): “Главный замысел нашей стратегии — соединить достижения НТР с плановой экономикой и привести в действие весь потенциал социализма.

Западные же сторонники марксистского пути развития помалкивают, думая совсем о другом. Сам вышеупомянутый тезис представляется им опасным и малоперспективным, из тех, какие отвергают в академических кругах. Все правильно. М. С. Горбачев по ряду причин лично заинтересован в успехе, и эта заинтересованность подвигает его на довольно рискованные эксперименты в области практического марксизма, включая такие, какие не согласился бы финансировать ни один независимый интересант — ибо ему жаль упустить малейший шанс. Но чистый

исследователь, получающий зарплату за удовлетворение любопытности, по всей вероятности был бы осторожнее и пессимистичнее. Легче всего стать на его сторону, но следует иметь в виду, что, бракуя марксизм как экономическую теорию, мы нередко выдаем желаемое (или нежелаемое) за действительное. Вполне возможно, что он еще ни разу не вступал в игру, а потому шансы у нового советского руководства есть, и если оно дотронется волшебной палочкой перестройки до достаточно большого числа окаменелостей, они станут не такими уж номинальными, и разумеется, я искренне желаю ему успеха.

Что же, все-таки, до такой степени смущает сторонних исследователей? В двух словах — серьезнейшие научные афронты Маркса. Расстанемся на минуту с политической стороной дела. Перед Марксом как ученым стояло нечто, весьма похожее на озадачившее Дарвина клювы некоторых островных птиц, именно — феномен быстрого экономического развития стран, сломавших феодальное или полуфеодальное устройство и ступивших на капиталистический путь — на фоне отставания тех (стран), где эти перемены запаздывали. Его козырем было то, что он родился вовремя, как раз тогда, когда создание материалистической концепции истории представлялось не только научным, но и политическим достижением. Он ясно показал, как старые общественные отношения тормозят развитие промышленности и в конечном итоге прогресс, но — блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые — тот, кто своими глазами видел, как отмена аристократических привилегий и введение свободы печати, снижение избирательного ценза и свободная конкуренция вспенивают экономику и социальные процессы, не может не задуматься о том, каковы исторические, самые волнующие правила игры? Один-то факт он имел. Капитализм, попросту, то, что самостийно выстраивалось на месте монархий XVIII века, плодил одно за другим бесчисленные технические и социальные новшества, железные дороги и страхование, газовое освещение и профсоюзы, телеграф и рабочие партии, запахло объединением Европы, телеграфный кабель лег на океанское дно, и все это там, где предпринимателю дали расправить спину, а банк из откупщика превратился в носителя кредита. Словом, капиталистические отношения несли с собой наглядный экономический прогресс. Для дальнейшего, однако, требовалась гипотеза, помните — основной закон капитализма — непрерывное обнищание трудящихся масс, в ко-

нечном счете, их деклассирование, и далее, подрыв экономической целесообразности капиталистического производства. Глядя на отчаянное положение промышленных рабочих того времени можно было предположить и не такое — и все же его предсказание — гипотеза чистой воды. В отличие от Дарвина, он позволил себе ею опьяниться.

А, в общем, зря. Тот, кому любопытно, как должен проецироваться классический марксизм на XX век, пусть прочтет малоизвестный роман Д. Лондона "Железная пята" или посмотрит фильм Ф. Ланга "Метрополитен" — прославленный экспрессионистский шедевр. Я, откровенно говоря, не понимаю, отчего они доступны советским гражданам на протяжении десятилетий; с тем же успехом можно издавать Орвелла — по сути, эти произведения (включая "1984") описывают доленинскую реальность, чересчур боевитые капитализм и социализм, соответственно, попросту, проповедают ревизионизм.

Однако же, факт был налицо, и вооружившись горами цифр, а по утверждению некоторых, удачно их выдумывая, К. Маркс взялся за работу. Он вскрыл механизм современного ему промышленного расцвета и сопутствующих ему явлений, скажем, депрессий, проанализировал классовые передряги и положение трудящихся в новых условиях. Это было научным достижением высшей марки, — но ему хотелось большего. Он хотел предсказать будущее — разумеется, на базе своей экономической теории — и проложить ему дорогу. Философская сторона дела не могла при этом не пострадать, но его принципиальность вообще не очень дорого стоила, когда дело касалось будущего человечества и его собственного. Вполне по Орвеллу, он надеялся с ним справиться, раз уж совладал с прошлым, — ну, а в это он, пожалуй, верил.

В прошлом, — сказал он, — и это была блестящая мысль, но опять-таки, предположение — такого рода политико-экономические потрясения уже происходили. Как минимум дважды. Один раз в незапамятные времена, когда от пещерного коммунизма (боюсь, выдуманного ради правдоподобия) человечество переходило к исторически внятому рабовладению. Другой — когда на смену рабовладельческому строю пришел феодальный, то есть не так уж давно. В обоих случаях события развивались по той же самой схеме — производительные силы общества сильно ушли вперед, социальные отношения стали их тормозить и так далее.

Главное — новые отношения воцарялись в обществе, а за ними выстраивались новые мифы.

То, что Маркс и, главным образом, Энгельс написали о перво-бытнообщинном строе, обсуждать не буду. В прошлом веке их теория казалась интересной, хотя и голословной, невзирая на ссылки (любопытно, почти всегда на один источник), сейчас она представляется смешной, и этнографы предпочитают ее не упоминать, — но, в конце концов, это не неудача марксизма как такового, а, в худшем случае, — небольшой личный провал его создателей. Куда интереснее то, как они квалифицируют события, связанные с образованием феодального общества на останках Римской империи. Замечательный российский анекдот цитирует в этом контексте объявление, будто бы повешенное на римском Форуме братьями Гракх: “Все на демонстрацию под лозунгом: Да здравствует феодализм — светлое будущее всего человечества!” Анекдот сей — марксистский ад абсурдум, но Маркс, как ни странно, именно так историю и воспринимал. Рабовладельческий строй, как все мы учили в школе, изжил себя экономически, подневольный труд раба не выдержал конкуренции с полусвободным трудом колона, попросту, крестьянина на оброке, иногда на барщине. Эту идею можно долго и увлекательно комментировать, но увы, рабовладение благополучно просуществовало там и сям — и вовсе не на острове Пасхи — чуть не до наших дней, неплохо сосуществуя с иными формами хозяйствования. А главное, феодализм вообще не обеспечил рост производительности труда даже там, где он непосредственно, на месте, сменил рабовладельческий строй. Вдобавок, почти всюду он возник не в результате социальных потрясений, а после завоевания рабовладельческих стран народами, которые настоящего рабовладения не знали, скажем, центральноевропейскими варварами, которые, правда, держали в рабстве своих пленников и даже иногда их ели, но никак не строили свое благосостояние на их эксплуатации. Крепостное право, — как уже было отмечено, весьма прогрессивное новшество, — утвердилось примерно так же, как впоследствии сорокачасовая рабочая неделя, как раз там, где отсталый строй добился наиболее впечатляющих успехов (такую неделю неплохо было бы ввести и в Израиле, но увы, это вряд ли приведет к немедленному экономическому буму. Кстати сказать, передовые страны традиционно запаздывают с основными правами трудящихся.)

Еще раз. Феодализм вовсе не был экономическим достижением даже для своего времени, особенно в средневековой Европе, где, однако, он и утвердился как принципиально новый общественный строй. Теми же — в сравнении, скажем, с Древним Римом, даже не теми же — остались орудия труда, никак не повысились урожаи, ремесла продеградировали, коммерческие связи распались — и так на целое тысячелетие. То, что он вверг Европу в малоприятную историческую эпоху, пожалуй, обстоятельство побочное, хотя трудно одно с другим не связать. Весьма вероятно, что упадок Европы можно отнести за счет распространения христианства и некоторых персональных свобод, но это предмет для отдельного разговора. Как ни мало симпатичны эллинизированный Рим и романизованная Греция, средневековое княжество выглядит неприглядно на их фоне — и мне представляется, что это — наисерьезнейший упрек марксовой исторической диалектике. Маркс нуждался в светлой феодальной поре, и ее пришлось изобрести. Но, повторим упрямо — и это еще не конец. Марксова гипотеза должна была быть испробована по существу. Маркс замечательно глубоко вскрыл современные ему явления, прежде всего, процесс оформления капиталистических отношений. То, что он не совсем удачно перенес свою модель в прошлое — научный казус, но не более того. Куда важнее то, как он справился с прогнозом на ближайшее будущее.

Быстрый экономический прогресс в капиталистических странах привел к изрядному росту национального богатства, но в то же время он увеличил разрыв между богатыми и бедными и усугубил бесправие последних. У промышленного рабочего в прошлом веке было куда больше шансов умереть с голоду или быть выброшенным на улицу по болезни, чем у римского раба или крепостного. Капитализм разрушил прежние связи между трудящимися, цехи и крестьянскую общину, но он же начал плести новые. Эти-то новые связи, своим существованием обязанные капиталистической концентрации производства, и должны были капитализм похоронить. Маркс здраво рассудил, что необходимость, толкавшая, скажем, разоряющегося крестьянина на завод — а преуспевающие туда не шли, следовательно, быстро росший численно пролетариат состоял в основном из неудачников — и обрекавшая его на кошмарные условия труда и нищенскую зарплату недолго останется стимулом прогресса. Индустриализация должна была вернуть Европу, по существу, в эпоху раб-

ства. Частная собственность на средства производства — назовем врага по имени, — при которой хозяин, а следовательно, и предприятие заинтересованы лишь в прибыли, которая очистится после продажи товара, должна была начать бить по этой самой прибыли. Подневольные — на жалование — инженер и рабочий не будут в полную силу толкать вперед производство ради того, чтобы хозяин хорошо заработал. Да и хозяину вот-вот станет выгоднее продавать ходкий устаревший товар, чем внедрять прогрессивное новшество. Одним словом, весьма скоро, лишь слегка насытившись, только распространившись, капитализм начнет — нет, уже почти начинает — загнивать социально и экономически, душить прогресс и инициативу. Спасение — в обобществлении средств производства. Эта непростая мера призвана убить двух зайцев. Во-первых, средства, которые заработает предприятие, пойдут не в карман хозяина, а на общественные нужды, то есть для общей пользы. Оттого трудящиеся будут заинтересованы работать как можно лучше — ибо в конечном итоге им же больше достанется. Во-вторых, никто больше не будет их угнетать, более того, наименее способные выдвинутся на руководящую работу. Словом, она обеспечит и экономический прогресс, и социальную справедливость зараз. Индивидууму останется страдать разве что от несчастной любви.

Что и говорить, идея красивая и на вид здравая. Разумеется, не новая, но за таковую ее и не пытались выдать. Маркс даже начал ее осуществлять. Успех был оглушительным, особенно в плане воздействия на умы. Обнаружились, правда, некоторые недостатки, сущие мелочи. В. И. Ленин, приступив к опытному производству социализма, именно так к ним и отнесся — и вот тогда-то Теория и подверглась настоящему испытанию. Не беда, что социализм пришлось строить в отдельно взятой стране. Не так уж важно, что революция победила не в передовых, следовательно, разложившихся Англии и Германии, а в отсталых России и Монголии. Ничего, что становление социализма сопровождалось неравенством, эксплуатацией и политическими извращениями, а также мощной централизацией власти. Полбеда, что капиталистический мир развивался не так, как предсказали Маркс и Ленин, что положение трудящихся там, против ожидания, улучшилось. Беда в том, что социализм за десятилетия полноценного существования не обеспечил Большого Скачка — прежде всего производительности труда, — да что там Скачка — даже уровня,



достигнутого за то же время капиталистическим производством. Хуже того — появляющийся время от времени в капиталистических странах общественный сектор немедленно становится убыточным и отстающим, в то время, как в социалистических странах наиболее впечатляющая производительность труда достигнута именно в чахлах остатках частного сектора. Разумеется, все это не случайно — остается только сделать выводы.

На наш взгляд выводов может быть два. Первый и простейший безнадежно пессимистичен. Маркс грубо ошибся, во всяком случае, в прогнозах. Если пойти по этому пути, нехитро даже указать, где ошибка. В конце концов, все Марксовы построения безмолвно основаны на некотором взгляде на человеческую природу. В детских книжках, лучший пример — “Незнайка на Луне” Носова — это показано чрезвычайно выпукло. Обобществленное после победы революции производство в стране лунных коротышек немедленно стало функционировать эффективнее — ибо обобществление раскрепостило трудящихся, включая бывших капиталистов, так что им даже не понадобились лагеря для перевоспитания. Они стали получать от труда массу удовольствия, и кроме того — упомянутая козырная карта Маркса — стали заинтересованы в конечном результате, что подняло чуть не до небес производственную мораль.

На деле, скажем мы, в живом социалистическом хозяйстве происходят совсем другие вещи. Не секрет, в нем воцаряются бюрократия, кривое руководство, равнодушие к труду и просто коррупция, да не та, неизбежная, которая даже в Японии съедает часть прибыли, а агрессивная, уничтожающая, как мы узнаем сейчас из советских газет, целые отрасли — а дело-то в том, что нормальная человеческая реакция на новые производственные отношения — сугубое отрицание. Человек по природе своей — собственник и получать плату за свой труд из третьих рук, через государство он не хочет. Те же, кто силой навязывают ему такой порядок, пусть пеняют на себя. Верно, что в социалистической стране рабочий в итоге получит от общества все, что он произвел — за некоторыми необходимыми вычетами плюс потери на трение, так что, дай Бог, чтобы что-нибудь осталось. Но верно и то, что человек, как его ни воспитывай, куда больше индивидуалист и лентяй, чем думал Маркс, что без п р я м о г о материального стимула он работать, как следует, не станет, более того, даже не устоит от соблазна побездельничать, если вся беда

в том, что в конечном итоге он как член общества окажется чуть-чуть беднее. И еще — ему всегда выгоднее урвать кусочек общественного продукта для себя лично, чем осчастливить им общество, и его даже не смутит, если при этом общество потеряет вдесятеро. Прицип — всеобщее обогащение — это и мое личное тоже, по видимому, порочен, и когда в хрущевские времена он стал единственным аргументом в пользу производительного труда, экономика великой державы пошла вразнос видимым образом. В золотые двадцатые годы недостаткам человеческого материала находилось простое объяснение — трудящиеся, воспитанные при царском режиме — отсталая публика, хоть и передовой класс. Когда они перевоспитаются, и тем более — когда их ряды пополнятся теми, кто капитализма сроду не видел, ситуация изменится. Увы.

Тем, кто смотрит на вещи таким образом, ничего не остается, кроме как объявить социализм обреченным, указать на явные признаки его деградации в экономике тех относительно свободных стран, где он был представлен — Португалии, Франции, Израиля — и порадоваться тому, что ортодоксальные китайские коммунисты, в силу национальных особенностей, — закоренелые прагматики, потерпев неудачу с собственным Большим Скачком, кажется, тоже с этим обстоятельством смирились. Все же, едва ли дело обстоит столь плоско и однозначно, к примеру, позицию наших друзей-китайцев можно трактовать по-разному. Одно ясно — марксизм переживает нелегкую пору, и, дабы его оборонить, заинтересованным лицам неизбежно придется прибегнуть к сильнодействующим средствам. Однако же, это еще не значит, что их дела плохи.

Кто меня хорошо поймет, так это шахматисты. Они-то знают, что существует обширный класс шахматных позиций, в которых спокойные продолжения в духе партии бесперспективны и счетным образом ведут к поражению. Однако, они вовсе не обязательно проиграны, ибо переход на комбинационные рельсы не просто дает новые шансы, но часто их уравнивает, позиция становится несчетной и требует нового плана — и на это приходилось отваживаться всем — и Талю, и Петросяну. Именно в таком положении оказался сейчас М. С. Горбачев.

Будем откровенны. Отношение к марксизму в СССР всегда было и по сей день остается религиозным, но вот отношения с марксизмом там вовсе не братски равные. Нет сомнения, что

Ленин начал строить подлинное марксистское государство — в конце концов, у него были и более простые варианты, и каждое отклонение от марксовской схемы ему приходилось соотносить с теорией, реальностью и голосом совести. Еще очевиднее, что Сталин, заикнувшийся на том, чтобы все изобретать и производить на месте, был типичным марксистом. Укрепляя свою власть, он, попутно, готовил все необходимое для реализации марксистского экономического чуда — все того же Большого Скачка, которым после него занялись китайцы. Напомним, он возводил фундамент — чего — будущего общества, истинное значение его бесконечных строек должно было открыться в будущем, когда чудо свершится, его явно невыгодные в традиционных экономических смыслах экстенсивные приобретения должны были сработать после исполнения марксистского прогноза — недаром он отменил материальную заинтересованность и хозрасчет, ну кто же стал бы так строить при настоящем хозрасчете, а в фикции он не нуждался — он хотел войти в новую эру с максимально возможной начальной скоростью, ведь при социализме и плохие предприятия станут хорошими и эффективными, а там и коммунизм не за горами, чего не построить еще парочку городов, даже дорогостоящих и пока ненужных? Кроме того, предстояло покорить мир, и жаль было тратить новую, светлую эру на освоение земель и прокладку дорог, черную работу следовало выполнить заранее и как можно быстрее. (И враги народа уже потому были нужны, что социализм не наступал, обострение классовой борьбы тоже. Социальные процессы тормозят экономическое чудо — пусть пеняют на себя!) Махинатор, которому обещаны невероятные проценты на капитал, готов обыкновенно на любые ухищрения, чтобы достать и вложить побольше. Как бы то ни было, Сталин верил в волшебную палочку социалистических производственных отношений. Был марксистом и Хрущев, всерьез надеявшийся привести страну к искомому скачку, искоренив сталинские извращения. Вообще, отличительной чертой марксиста является амбициозность суеверного и вселенского толка (см. "дайте мне точку опоры, и я переверну мир"), впрочем, это даже не странно, они оттого-то и считают себя по сию пору революционерами, что обещанного не свершили.

Преемники Хрущева тоже начали по-марксистски, особенно А. Н. Косыгин, но — и в этом непреходящее значение брежневской эры — мы-то знаем, что хватило их ненадолго. По меньшей

мере десять лет страна жила без идеологии вообще, в чем стала разительно походить на Америку. В результате в 1980 году в СССР вместо ранее объявленного коммунизма состоялись Олимпийские игры, там бросили перегонять Запад, принялись импортировать потребительские товары и даже перестали вывешивать плакат, на котором указана доля СССР в мировом промышленном производстве — верный признак, что она начала падать. В конце семидесятых годов они начисто забыли, что марксизм обязывает и страна перестала управляться по-марксистски. Поэтому, на мой взгляд, серьезно ошибаются те, кто усматривает в брежневских гонениях возврат к сталинизму, читай — к передовой идеологии. Послестермидорианская реакция тоже не означала возврата к якобинскому террору, даже когда Бонапарт расстреливал роялистов на площади св. Рокка. Директория никого не боялась так, как руссоистских Робеспьеров, в буржуа-роялистов она стреляла лишь постольку-поскольку. Руководители брежневской эры тоже боялись не либералов, с которыми уже потому шутя могли справиться, что они ничего и никого не представляют — ни идей, ни людей, — а новой вспышки террора, лидеров жесточе, чем они сами и вдобавок, с убеждениями. Отсюда и мгновенные отставки людей типа Шелепина, заподозренных в нарушении правил игры, и феерические назначения стариков на государственные должности, да еще одного за другим, да каждый следующий дряхлее предыдущего, — и все ради того, чтобы оттянуть появление на сцене очередного Бонапарта. (Да и главным нарушением правил представлялся именно бонапартизм, см. "18 бромера".)

В конечном итоге дело выгорело, и брежневское поколение благополучно вымерло прямо на посту. Отдадим им должное — это было непросто. Ну, а назначение генсеком умирающего, но еще деятельного Андропова было просто гениальным ходом. Оставшись в оппозиции, он мог попросту сокрушить постбрежневское руководство, явно не очень готовое к войне. Придя же к власти, он поневоле занялся реформами и разгромом среднего звена, коим с удовольствием пожертвовали. Пожалуй, он подготовил тем самым царствование Горбачева, но им до Горбачева уже не было дела, вдобавок, власть сократила и без того мотыльковый андроповский век, так что перед смертью успел взлететь и Черненко. От этой истории веет коррупцией, олигархизмом, сюрреализмом, но с марксизмом это рядом не лежало. Зато — вспомним греческую теорию пяти веков — золотого, серебря-

ного и т. д. по Гесиоду — сей род людской начисто вымер собственной смертью, осуществив тем самым свою мечту, взлелеянную с молодости — совсем как люди золотого века. Разумеется, им на смену пришли существа совсем иной породы, не слишком, впрочем, склонной воевать с прошлым — оно и так прошло. У нового руководства пока что тяжкая кадровая проблема, ибо дети серебряного века, в основном, еще в пеленках. Отстранить Тихонова и Гришина было нехитро, но для того, чтобы снять Соколова, пришлось ждать позорного инцидента — небольшой немецкий самолет с пацифистами на борту стартовал в Финляндии как раз в День пограничника и беспрепятственно приземлился на Красной площади, обманув систему противовоздушной обороны столицы, — ну, а что-то значащий Щербицкий сидит до сих пор всем назло, а снятие Кунаева вызвало демонстрации и заменять его пришлось русским, что с грустью констатировали газеты.

Итог простой. Горбачев обвиняет предыдущее руководство конкретно в безверии, в историческом атеизме, под которым о смысле жизни и вспомнить некогда. Кстати, это самое руководство не так просто обвинить в плохом ведении дел, — ибо военные и внешние дела оно вело очень неплохо — вспомним плодотворные 70-е годы — а экономические все же лучше, чем Хрущев, которого сейчас начинают потихоньку хвалить, пока методом отрицания отрицания. Факт остается фактом — Брежнев мирился, а Хрущев нет, он верил в светлое будущее и бешено к нему пробивался — так же как и новый советский руководитель. (И еще. Мне попался недавно советский иллюстрированный журнал — заметим, черно-белый — какого-то 1961–1962 года, так там на одной из внутренних страниц — не на обложке! — это вам ничего не напоминает? — запечатлен Н. С., прогуливающийся по густо набитому народом парку в центре Москвы. Написано, что без охраны, — оставим это на совести редактора, но в брежневскую эпоху такой снимок был бы попросту невозможен, Брежнев не прогуливался, он являлся.)

На мой взгляд, главной чертой нового советского руководителя является религиозный императив\*. Он, несомненно, верующий человек. Не поручусь, что настоящий христианин, не поручусь, что марксист. Видно только, что он обуюн бесом отрицания, не

---

\* Нельзя не отметить, что наше утверждение пересекается с догадкой М. Вайскопфа, опубликованной в "22", № 51, пока мы еще возились с этой статьей.

считает, что все уже испробовано под солнцем и что попытка исправить и улучшить мир обречены на провал. Честь и хвала! Не обладающий его талантами автор этих строк охотно к нему присоединяется. По всему этому — то что сейчас происходит в СССР — это только начало, первая попытка, заход на историческую цель. Кроме того, мы наблюдаем персональную драму человека, решившего изменить лицо мира, пока только ее первый акт, в котором выбирает себе коня и шпагу. Вдобавок, как это обычно и бывает, ему мешают все те, кого он хочет облагодетельствовать.

Мы уже отмечали, что сегодня М. С. Горбачев — марксист. Это вполне естественно, марксизм налицо на всем пространстве, подвластном нашему герою, и даже на мой пресный взгляд он себя еще не исчерпал, глупо и преждевременно было бы от него отказываться. Раз так — надо впервые в истории его как подобает развернуть, — и вот перед нашими глазами разворачивается впечатляющее действо — плодятся дозволенные свободы, меняется стиль руководства, я уж не говорю — разоблачаются прежние вредители. Все это — не из любви к искусству, а оттого лишь, что иначе дела не сдвинутся. Приведем пример. Горбачев напал сейчас на советскую систему судопроизводства (помните — да здравствует советский суд, самый справедливый суд в мире), обвинил ее в лицеприятности, отсталости и прочих смертных грехах. Зачем? Да затем, что суд — прежде всего арбитраж, инстанция, которая взвешивает и предписывает решения, и каждый должен иметь возможность обратиться к нему за справедливостью и здравым смыслом. Пустые слова? Но не зная страха перед законом, не питая к нему уважения, плохие и нечестные хозяйственники с потрохами сожрут честных и инициативных, тем более, что такая традиция уже существует. Сходным образом, без средств информации, неподвластных хотя бы местному начальству, по углам так и будут царить инертность и кумовство. Стало быть, если газетам не хватит полусвободы критики, выдадут 2/3, даже 3/4 свободы, столько, сколько надо будет. И вот, — выходят политические заключенные, наказываются проворовавшие руководители, а новых предполагается выбирать. Крупно ошибаются те, кто полагают, что это косметики ради. Да это экономики ради, ради величия страны! Но демократией тут не пахнет, свободой выбора тоже. Если бы, к примеру, публика дружно осудила горбачевские реформы, он все равно продолжал бы их проводить. Ничьи причуды не заставят его поступиться даже малостью. Не то интересы дела!

Потому, осмелюсь предположить, заключенные выйдут все, если только публика не остынет к этой теме, а эмигрировать позволят, хотя и после кое-какой борьбы, 98 процентам желающих. Но пожалуй, он пойдет и подалее. Я писал уже, что он рассчитывает не на западные кредиты, хотя и это не пустяк, а на то, что его хозрасчетные предприятия осуществят, наконец, марксово экономическое чудо — никак не меньше, иначе все это — пустая трата сил и времени. Америку надо в кратчайший срок догнать и перегнать — а ведь, заметим, все, кроме социалистических предприятий, так и так есть. Я бы тоже ничего не пожалел на его месте. Ну, а если всего этого будет мало? Наивно полагать, что он испугается политических реформ оттого, что они, якобы, необратимы. Все обратимо — и ничего он не испугается. К моменту, когда выяснится, что из этого плана ничего не выходит, — а я считаю это более, чем вероятным, — у него уже будет готов другой, еще более амбициозный. Он может повести страну к еще большему либерализму, равно как и к законченной реакции — в любом случае, это будет для пользы дела, ибо ради светлого будущего, да еще самым коротким путем — иначе он не может — и народ его поймет, как понял он — факт! — то, что его оставили, по существу, без водки, — ибо Россия хочет быть великой державой, а не колосом на глиняных ногах в духе 1854 года, да сейчас она совсем уже не тот колосс и демографически, и политически, и совсем уже не тот Китай под боком. Спать больше некогда и, как это ни прискорбно, пить тоже. Не уверен, что в конечном итоге все это в наших еврейских интересах, но на сей раз те, кто хотят уехать — уедут, другой вопрос — куда. Откладывать отъезд, однако же, я не посоветую никому — впрочем, М. С. Горбачев тоже предпочитает ничего не откладывать. Если уж подлинный марксизм — то немедленно, — и напоследок замечу, Запад должен быть кровно заинтересован если не в успехе, то хоть в провале его нынешних начинаний, ибо марксизм, в конце концов, неплохая и вполне западная теория, и пожалуй, она скорее, чем любая другая приведет СССР в ряды Североатлантического союза. Два-три шага налево — и это будет казаться не такой уж и утопией. Не забудем — есть еще азиатская стратегия, и боюсь, кое-кому она еще придется не по вкусу.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

*Приложением послужат два высказывания М. С. Горбачева, которые мне не хотелось втискивать в саму статью. На мой взгляд, они вполне интересны и доказательны, если, конечно, не выдернуты из контекста – тут уж читателю придется на меня положиться.*

*1. "Мы преодолеваем парадокс, который появился в нашем развитии, когда едва ли не самое образованное общество в мире долгое время не могло должным образом реализовать свой огромный интеллектуальный потенциал".*

*М. С. Г. – М. Тэтчер, 30 марта 1987 г.*

*2. "Октябрьская революция означала глубочайший поворот в политической области, во всей системе общественных отношений. Она отстранила от власти одни классы – буржуазию, помещиков, отдала рычаги управления другим – пролетариату, беднейшему крестьянству. Она отобрала средства производства у частных собственников и передала их народу. Созданная в результате новая социально-политическая основа была и остается неизблемым фундаментом социализма.*

*Но в рамках этого процесса может возникать и возникает на практике необходимость периодического обновления форм общественных отношений. Или, как гласит знаменитый закон, открытый К. Марксом и Ф. Энгельсом – приведения их в соответствие с уровнем развития производительных сил. Эта задача при социализме должна решаться постоянно, путем совершенствования тех или иных сторон общественных отношений. Но если назревшие преобразования не осуществляются, затягиваются, а проблемы накапливаются, – приходится прибегать к более радикальным средствам, действовать революционными методами...*

*Где же тот мотор, который обеспечит перестройку, даст нам неслыханное ускорение? Мы видим его в дальнейшем развитии нашей социалистической демократии".*

*Из выступления М. С. Г. В Праге, 11 апреля 1987.*



## СУДЬБЫ ИДЕЙ

Несколько лет назад, выступая перед британским парламентом, президент Рейган призвал к "всемирной борьбе за демократию". Центральным пунктом его речи были слова: "Цель, к которой я призываю, проста: поощрять демократическую инфраструктуру, то есть систему, которая основана на свободе печати, профсоюзов, политических партий и позволяет людям избирать собственный путь...".

Эта речь как бы обосновывала прежние американские усилия поддерживать демократические режимы за рубежом и одновременно провозглашала новую кампанию в том же направлении. Таким образом, защита демократии обрела новые аспекты. Это связано, несомненно, со стремлением многих американцев найти новое место и новую миссию Соединенных Штатов в сегодняшнем мире. Она связана также с убеждением, что страны западного блока, вопреки своим разногласиям (а может быть, именно в силу этих разногласий), нуждаются в сплочении сил на базе тех общих демократических ценностей, которые, в сущности, и составляют единственную устойчивую основу их союза. Наконец, ощущается необходимость определить западную позицию в противостоянии Советскому

*Питер Бергер*

**ДЕМОКРАТИЯ – ДЛЯ ВСЕХ?**

Союзу, который использует марксистскую идеологию для прикрытия своих имперских целей.

Но в добавление ко всем этим аспектам проблема защиты и пропаганды демократии имеет еще, так сказать, "культурный" аспект, а именно: следует ли вообще пропагандировать демократию в незападных странах, прежде всего — в странах Азии и Африки, где вряд ли можно опираться на ту систему ценностей, которая объединяет Соединенные Штаты с Западной Европой и, до некоторой степени, Латинской Америкой? И тут возникает вопрос: не является ли понятие демократии настолько "западным", что пропагандировать его в незападных странах бесполезно, или вредно, или и то и другое сразу?

Президент Рейган затронул этот вопрос в своей речи, когда сказал: "Пропаганда демократии — это ни в коем случае не культурный империализм. Наша цель — обеспечить возможность подлинного самоопределения и защиту разнообразия. Демократия уже сейчас существует в странах с различными культурами и различным историческим опытом. Было бы культурным упрощением, если не хуже, утверждать, будто есть народы, которые "по своей природе" предпочитают диктатуру демократии...".

Опыт нынешнего века показывает, что последние слова президента по меньшей мере сверхоптимистичны. Что ни говори, а феномен "бегства от свободы", описанный Эрихом Фроммом применительно к нацизму, существует. И точно так же существует описанный Ревелем "соблазн тоталитаризма", порождающий неистребимую симпатию западных интеллектуалов к "левым" диктатурам. Но речь сейчас даже не об этом. Она о том, действительно ли борьба за распространение демократии не является культурным империализмом.

Американские политологи, определяя демократию, склонны подчеркивать ее институциональный, а не идеологический аспект. Они видят, иными словами, в демократии определенную систему "институтов" и "методов", а не определенную систему идей. Большинство политологов видят следующие четыре особенности "демократии как процесса": правительство избирается в конкурентных выборах, в которых участвуют соперничающие партии; эти партии, включая оппозиционные, открыто борются за голоса избирателей, имея свободу доступа к средствам массовой информации, располагая свободой слова и собраний, не подвергаясь преследованиям и репрессиям; правительство, потерпевшее поражение

ние, уступает победителю, и проигравших при этом не наказывают, если только они не преступили закон; избранное правительство действительно правит, а не является ширмой для не избранных демократическим путем групп.

Этот список можно сократить или расширить, но в нем, несомненно, содержатся отправные точки для определения демократии как политического процесса. Все эти особенности выражают один общий принцип: узаконенное ограничение власти правительства. Грубо говоря, демократия означает, что мошенники могут быть изгнаны, а уж если они временно пробрались к власти, им не дозволено чересчур мошенничать.

Даже самый пылкий проповедник "универсальности" демократии не сможет отрицать, что этот специфический "пакет" особенностей теснейшим образом связан с социальной историей Запада (римское право, средневековые цехи и гильдии, протестантство), его историей вообще и его специфическими ценностями (иудео-христианская этика, идеи Просвещения, этос свободного предпринимательства и т. п.). Поэтому нашу проблему можно сформулировать очень просто: приложим ли этот "пакет" к обществу, прошедшему совершенно иное социальное развитие и основанному на совершенно иной системе ценностей? Можно ли с успехом пропагандировать демократию в таком обществе? Нужно ли? И если да, то как?

Все эти вопросы не новы. В ранней американской истории они уже ставились и уже тогда сложились два различных ответа на них. Первый гласит, что демократические ценности универсальны, проистекают из самой человеческой природы и потому Соединенные Штаты должны поддерживать и пропагандировать эти ценности и основанные на них институты повсюду. Любопытно, что сторонников этого взгляда можно найти как в "левом", так и в "правом" лагерях американского политического спектра.

Есть и другой ответ, тоже поддерживаемый как слева, так и справа. Он гласит, что американская демократия основана на специфических ценностях, которые не являются универсальными, и потому ее нельзя пропагандировать для всех без разбора. Нельзя, потому что это нереально, и нельзя, потому что это будет проявлением этноцентризма.

Первый ответ, по существу, исходит из принципа, провозглашенного уже в Декларации Независимости (где говорилось о "всех людях"), второй — из традиционного уважения к человече-

ским различиям (американский плюрализм). Зачастую они выступают в упрощенной, доведенной до вульгарности форме. Тогда первый приобретает вид грубого "вильсонизма" (по имени его глашатая, президента Вудро Вильсона), а второй превращается в мазохистское отрицание ценностей своей собственной культуры во имя "уважения к чужой". Вильсонизм утверждает, что весь мир "должен" стать демократическим в западном смысле. Это — секулярный вариант той религиозной пылкости, с которой миссионеры некогда наряжали полинезийских девушек в западные платья сразу после крещения; отрицание же самоценности американской культуры стоит в том же ряду, что и поведение всех противников западной системы ценностей вообще.

Все это, конечно, крайности, и над ними легко иронизировать, но идеи, лежащие в их основании, отменить так просто невозможно. Первая концепция исходит из того, в общем-то правильного, убеждения, что самые глубокие человеческие ценности всегда являются универсальными, ибо связаны с природой любого человека. И нельзя поэтому провозглашать свои права, как человеческого существа, не признавая в то же время аналогичных прав за другими людьми. Вторая концепция исходит из столь же верного убеждения, что все культуры различаются в своих основах, даже фундаментальных, и что западная демократия выросла из определенной, специфической культурной истории. Поэтому нельзя утверждать, что наши ценности разделяются людьми иных культур, что "американская мечта" так же вдохновляет жителей Ибадана или Ибанска, как и жителей Индианаполиса.

Культурные различия — это бесспорный эмпирический факт. Одно из достижений современной социологии состоит как раз в том, что она сделала понимание этого факта общепринятым. Тезис Паскаля: что верно по эту сторону Пиренеев, неверно по ту их сторону, — был революционным во времена, когда был выдвинут, в XVII веке, но сегодня он стал просто частью общего убеждения. И ни один подход к проблеме демократии не может обойти это убеждение в относительности всех культурных ценностей.

Но если вульгарный вильсонизм недооценивает эту относительность, то антивильсонизм ее преувеличивает. Какие именно из западных ценностей существенны для демократии? Задумавшись над этим вопросом, мы неизбежно приходим к слову "индивидуализм", как бы туманен ни был его смысл. Западная демократия основана на специфическом понимании индивидуума как

“автономного существа”. Иными словами, на представлении, что индивидуум наделен свободой воли и способен выразить ее в процессе своих действий. Он имеет “личные права” и “стремления”, и они далеко не всегда совпадают со стремлениями коллектива, к которому он принадлежит.

Не трудно проследить истоки этой концепции. Один берет свое начало в Библии, причем важнейшую роль в приложении библейского взгляда на свободу человеческой воли к политической жизни сыграло европейское протестантство. Второй идет от эллинистического взгляда на свободного человека как равноправного гражданина с решающим голосом в общественных делах, причем этот взгляд, перенесенный в современность через Ренессанс и Просвещение, был впоследствии законодательно закреплен в политических институтах, созданных французской революцией. Понятно, что эти культурные традиции не сыграли такой роли в незападных обществах. Более того, в большинстве из них они вообще начали играть какую-нибудь роль лишь в самое последнее время — как результат западной экспансии.

Следует, однако, осознать, что “автономный индивидуум” — не просто абстрактная идея. Это живая реальность. Реальные люди на деле ощущают себя автономными, на деле сознают свою потребность в свободе и свои права. Но вполне осознать все это можно, лишь пройдя некий процесс “социализации”, притом начинающийся с самого детства. Буржуазная семья на Западе как раз и была той важнейшей ячейкой, где формировались индивидуумы, для которых демократия стала наиболее приемлемой формой существования.

Следовательно, дело не в том, что у азиатов или африканцев нет соответствующих идей. Более важно, что у них нет жизненного опыта, который сделал бы эти идеи “реальными”, осуществимыми. В этом отношении западный индивидуализм является “отклонением” от “типичной человеческой схемы”, выражаясь словами Жана Ромэна. Так он и воспринимается многими неевропейцами. (Тот факт, что этот индивидуализм критикуется также изнутри самой западной культуры, особенно со стороны марксизма и других коллективистских идеологий, еще более осложняет дело.)

Необычность западного индивидуализма становится особенно очевидной, если сравнить его положения с теми, которые большинством незападных культур принимаются как данность.

И не только незападных: в широких слоях сельского, “традиционного” населения, скажем, в Южной Европе, тоже мыслят иначе. В Латинской Америке идеи индивидуализма тоже захватили лишь тонкий слой населения, тогда как основная масса принадлежит к совершенно иным, индо-американским или афро-американским культурам с их глубоко общинным, неиндивидуалистским характером. Еще тоньше этот слой в Африке. Но где “чуждость” западного индивидуализма становится особенно очевидной — это в Азии с ее древними и чрезвычайно утонченными культурами и цивилизациями. Поэтому Азия является самым важным пробным полем для многих идей современности. Тем более важно, что Азия сама проходит сегодня процесс “осовременивания”, модернизации. Хотя и по-иному, нежели Запад в свое время. Очевидный центр этой модернизации — Япония, откуда эта тенденция распространяется на новые индустриальные страны (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур) и расширяется дальше (на Индонезию, Малайзию, Филиппины и Таиланд). Эти страны не имеют западной истории индивидуализма, и тем не менее некоторые из них создали вполне демократические учреждения и институты, и это может служить доводом против предполагаемой “неразрывной связи” между демократией и “западным” индивидуализмом.

С другой стороны, по мере модернизации “экспорт” западных “модернистских” товаров — и прежде всего индивидуализма — все более расширяется. Нелепо думать, будто все азиаты по сей день руководствуются традиционными общинными ценностями; в Японии, к примеру, уже вполне заметно вторжение индивидуалистских тенденций, и это еще может оказать громадное социальное влияние в будущем. Конечно, и Запад не остается прежним: здесь возникли сильные антииндивидуалистские тенденции и не только в политической мысли — достаточно вспомнить молодежную “контркультуру” 60-х годов и нынешний подъем религиозных культов и сект. Но главное состоит в том, что в большинстве (если не во всех) незападных стран сегодня уже есть аудитория для проповеди западного индивидуализма. В этой аудитории демократию можно проповедывать в тех же словах, что в Америке или в Европе. Эта аудитория состоит, в основном, из людей, прошедших современную “социализацию” на уровне средней школы или университета.

Верно, и в этих кругах существуют неотрадиционалистские

движения, часть которых вообще отвергает модернизацию, а большинство выступает за приспособление ее к местным ценностям (известный лозунг “модернизация без вестернизации”). Эти движения особенно сильны в мусульманском мире, но они существуют и в других местах: есть возрождение синтоизма в Японии, есть неотрадиционные течения в индуизме, есть быстрый рост христианства в Африке. Следовательно, существуют не только огромные пласты, вообще не затронутые западными идеями, но также и значительные группы, испытавшие их и от них отвернувшиеся.

Означает ли это, что в незападных странах можно проповедывать демократию только тем, кто уже “обратился” в “западную веру”? Или это можно делать также и применительно к тем, кто сохраняет традиционные ценности или вернулся к ним? Думаю, что на первый вопрос следует ответить отрицательно, а на второй — утвердительно. Причины этого в следующем.

Прежде всего, демократия, вне зависимости от своей связи с западной системой ценностей, представляет собой в современных условиях единственную практическую альтернативу неограниченной тирании. Вряд ли найдется такое общество, которое согласно терпеть безграничную власть правителей. Тирания — бранное слово для всех. Вопрос в том, как ее предотвратить.

В традиционных обществах были выработаны свои способы такого предотвращения. Например, в Китае был институт императорских “цензоров” — конфуцианских чиновников, в обязанности которых входило следить за действиями власти и соблюдением ею принятых норм политического поведения. В Индии примерно такую же роль играли брамины. В других случаях аналогичную роль, хотя и не столь формализованно, играли старейшины рода или жрецы, которые налагали ограничения на действия вождей и правителей. Но главным ограничением деспотии в прежние времена была просто ее неэффективность. Даже самые тиранические империи прошлого не имели возможности равномерно и эффективно распространить свой контроль по всей территории, которая им формально подчинялась. Вдали от столицы и нескольких городских центров люди жили своей обычной жизнью, не ощущая давления правительства, а может — даже не зная о его существовании.

Сегодня даже самая “мягкая” власть, благодаря современной технологии, имеет возможность добраться до любого закоулка

общества и до любой стороны жизни индивидуума. В то же время модернизация все более расшатывает те традиционные институты, которые раньше эту власть ограничивали. Социальная функция рода не имеет прежней силы, сами родовые связи ослабли, племенные узы тоже, роль жречества подорвана секуляризацией и так далее. Все это намного увеличивает шансы тирании — не потому, что властители стали более жестоки, а потому, что им теперь куда легче осуществлять свои замыслы. Что же можно придумать для ограничения власти столь мощной силы, какой является современное государство? Ответ очевиден: политические условия вроде тех, которые воплощены в западной демократии, то есть формализованные ограничения правительственной власти, условия упорядоченной ее смены, гарантии для критики правительственных действий, отдельные системы охраны закона, порядка, морали и так далее. Иными словами, если бы демократия не существовала, ее следовало бы придумать. А более строго: что ни говорить о специфичности западных норм, о желании следовать независимым и особым национальным путем, но если вы не хотите иметь неограниченную тиранию, у вас нет иной альтернативы, кроме западной демократии. Действительно, только в демократических странах, как правило, соблюдаются фундаментальные человеческие права: право не подвергаться преследованиям и репрессиям при отсутствии доказанного преступления, право иметь и воспитывать детей, право жить там, где родился, или, напротив, там, где хочешь, и т. п. Если политические права (свобода слова или свобода выборов) зачастую являются культурно “относительными” (можно представить себе коллективы, не слишком озабоченные этими правами), то перечисленные условия являются элементарными для нормального человеческого существования, и единственная, относительно надежная гарантия их соблюдения состоит в наличии демократических учреждений.

Мне могут возразить, что экономические потребности людей, не менее для них существенные, не связаны напрямую с демократией. Верно, многие недемократические режимы сумели — во всяком случае, на короткое время — обойтись без прав человека и демократических институтов и добиться тем не менее впечатляющих экономических успехов. Но это не означает, будто такие “развивающиеся диктатуры” являются обязательным условием экономического прогресса. Напротив, суммарные итоги таких режимов в длительной перспективе довольно плачевны, а в слу-



чае социалистических стран — попросту ничтожны. Тиранические методы экономического “прогресса” неизбежно ведут, в конечном счете, в тупик тяжелого кризиса, тогда как успехи демократий в экономике почти всегда значительны и устойчивы.

Можно сказать также, что демократию не следует пропагандировать, поскольку она-де является следствием постепенного экономического прогресса (так экономические успехи Южной Кореи привели к требованиям демократизации режима). Но демократия желательна и сама по себе, поэтому пропагандировать ее следует, даже не дожидаясь, пока она наступит “автоматически”, в результате экономического продвижения.

Неверно также, будто демократия не интересует бедняков. Нынешние демократические страны сами когда-то были бедными. И именно бедные слои больше всего заинтересованы в защите от тирании. Демократия — не роскошь богачей, как утверждают иногда: богачи и без демократии могут прекрасно управиться со своими богатствами.

Итак, демократия — это политическая структура, более всего способная защитить права и свободы индивидуума. Но в то же время она — наилучшее средство защиты традиционных ценностей.

Государство — не единственная угроза этим ценностям. Другие современные процессы: сила рынка и технологии, урбанизация, средства массовой информации — создают свои угрозы. Но угроза со стороны государства является самой серьезной. Взять хотя бы проблему образования, которое сейчас почти всюду является государственной монополией и навязывается всем, зачастую вопреки их сопротивлению. Некогда толстовский Иван Ильич говорил, что школа — это современная форма церкви, и в большинстве стран она действительно стала сегодня официальной “церковью”, контролируемой правительством. Скажем сразу, что правительственные школы не обязательно плохи и вообще — современное общество не может обойтись без упорядоченной инфраструктуры образования. Тем не менее традиционная культура справедливо видит в государственном образовании главную угрозу своим ценностям. Как свести эту угрозу к минимуму? Понятно, что самый эффективный способ ограничить ничем не связанное своеволие “воспитателей” в навязывании чуждых ценностей всем и каждому — это подчинить их демократическим законам,

дать каждой группе возможность выбора своего пути воспитания детей.

Таким образом, самый практичный путь защиты традиции — это демократическое ограничение власти государства. В недемократических обществах традиционные группы зачастую рассматриваются как “препятствие прогрессу”, которое нужно устранить (подкупом или полицейскими мерами); в демократических они — часть коллектива избирателей. Демократия — всего лишь функциональный механизм (особенно если она ограничена политической сферой) и потому сама по себе нейтральна к традиционным ценностям. Более того — она дает им “зазор существования”: достаточно сравнить судьбу традиции в Индии и Японии с ее безжалостным подавлением в Китае и даже самых “мягких” авторитарных режимах Азии.

Таким образом, во многих случаях защита индивидуума от государства становится равносильна защите традиционных ценностей, или, точнее, защите тех индивидуумов, которые хотят жить по традиции. Демократия предполагает плюрализм и сосуществование, включая сосуществование между более модернизованными и более традиционными слоями общества.

И наконец, демократия является самым эффективным средством защиты тех “промежуточных структур”, которые сами являются исходной базой для возникновения демократии и охраны человеческих прав. Такими “промежуточными структурами” является все то, что дает выражение личным стремлениям индивидуума и одновременно включает его в большой коллектив. Некоторые из этих структур традиционны — например, семья, религия, община. Другие более новы — как профсоюзы, кооперативы и прочие объединения, защищающие частные интересы отдельных групп. Повсюду в мире люди заинтересованы в существовании таких структур, потому что с ними связаны их самые глубокие личные ценности и интересы. Поэтому защита таких структур является важной для любого человека, в любой стране. И здесь опять самой большой угрозой является государство, а самой эффективной защитой — демократия.

Все попытки ликвидировать или сломать эти структуры рано или поздно приводят к тирании. Главной причиной падения шахского режима в Иране были, в конечном счете, репрессии, которые он, во имя “развития и модернизации”, обрушил на промежуточные структуры иранского общества; и напротив, успех

Японии во многом обусловлен творческим подходом к этим структурам в процессе модернизации страны.

Промежуточные структуры защищают индивидуума от "отчуждения", которое является платой за модернизацию. Они обеспечивают режиму живую связь с ценностями, которыми люди руководствуются в повседневной жизни. Поэтому они важны и для легитимации самого режима. В социальном же плане эти структуры являются почвой, из которой может вырасти, — если ее еще нет, — демократическая структура общества. И тут выявляется важное различие между обществами тоталитарными и авторитарными.

Тоталитарные государства по самой своей природе не могут мириться даже с относительной независимостью подобных структур. Тоталитаризм стремится к их нивелировке, подчинению и включению в свою всеобъемлющую систему политического подавления. Авторитарные режимы обычно идут по иному пути. Если они получают возможность контролировать политическую позицию, они, как правило, удовлетворяются этим и позволяют промежуточным структурам (неполитического типа) — семье, религии, общинам, даже кооперативам и другим экономическим объединениям — действовать более или менее автономно. Сами того подчас не сознавая, они сохраняют структуры, которые образуют потенциальную базу будущей демократии.

Хорошо уже само по себе, когда государство не вмешивается в семейную или религиозную жизнь своего народа и позволяет людям объединяться в защите своих экономических интересов. Но помимо этой непосредственной пользы, такая ситуация порождает и надежду, что отсюда люди перейдут к требованию допустить их к участию в политической жизни и обретут социальные навыки, необходимые для успешного функционирования демократии. В этом плане авторитарные режимы более перспективны, чем тоталитарные.

К какому же мы приходим итогу? Времена, когда западные миссионеры могли беспрепятственно и самоуверенно рекламировать в Азии или Африке превосходство западной культуры, канули в безвозвратное прошлое. Последней страной, стоящей на позициях такого "культурного империализма", остается сегодня Советский Союз. Но его относительные успехи в этом направлении следует приписать, скорее, страху перед советской военной мощью, чем убедительности его "культурных" аргументов. Пред-

ставители западных демократий заинтересованы, напротив, в самом широком диалоге между разными культурами. Конечно, такой диалог дает не более, чем шанс — но это самый главный и многообещающий шанс нашего времени.

Времена миссионеров прошли; но мазохисты, увы, еще не перевелись. Однако, и их ждет разочарование. Те, кто вступает в диалог с незападными культурами с позиций подобострастия перед ними и неуважения к собственным ценностям, скорее всего не будут приняты всерьез. Назрело время для разумной защиты западной цивилизации, включая ее монументальное политическое достижение — демократию. Возможно, такая защита будет надежнее всего способствовать более широкому уважению и утверждению ценностей этой цивилизации.

#### КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

предлагает следующие книги:

<b>ГИЛЕЛЬ ГАЛКИН. ПИСЬМА АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ</b>	<b>10 долл.</b>
<b>ДЖОЗЛЬ КАРМАЙКЛ. ТРОЦКИЙ (БИОГРАФИЯ)</b>	<b>14 долл.</b>
<b>ДЖОН ЛЕ-КАРРЕ. МАЛЕНЬКАЯ БАРАБАНЩИЦА (ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН)</b>	<b>14 долл.</b>
<b>АЛЕКСАНДР ВАЙЛЬ, ПЕТР ГЕНИС. ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ (КНИГА ОЧЕРКОВ)</b>	<b>10 долл.</b>
<b>А. ВОРОНЕЛЬ. ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА</b>	<b>16 долл.</b>

#### НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

Вышел в свет первый номер литературного альманаха "САЛАМАНДРА".  
Участники: И. Бокштейн, И. Бурихин, А. Волохонский, М. Генделев,  
М. Каганская и другие.

Переводы: Ж. Лафорг (проза), К. Г. Юнг (проза).

Цена экземпляра при заказе — 15 долл.,

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

## ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Символы возникают и растут на плодородной почве человеческих эмоций. Когда человек ощущает, что мир обладает скрытым и волнующим духовным смыслом — тогда (и только тогда) этот смысл может кристаллизироваться в некоем конкретном символе. Реальность, лишенная внутренней напряженности, не содержащая какого-то особого предназначения, неспособна говорить с человеком на символическом языке. Она остается немой, бесформенной материей. Символы выражают некую загадочную потребность человека в конкретном воплощении смысла бытия. В самых значительных своих символах человек пытается запечатлеть интуитивно ощущаемое им единство мира.

Если все это верно для индивидуума, то тем более верно для группы, общины, народа. Система символов любого человеческого коллектива запечатлевает его специфический взгляд на мир. Символом может стать любой объект, лишь бы он способен был действовать на людей неким духовным "зарядом", воскрешая в них интуитивное ощущение осмысленности мира, тайны бытия, особого характера их истории. Чем больше в объекте от специфического для данной группы тол-

*Гершом Шолем*

**ЗВЕЗДА ДАВИДА:  
ИСТОРИЯ СИМВОЛА**

кования мира, тем больше он пригоден на роль символа в глазах этого коллектива.

Понятно, что символ должен быть внятен непосредственно и напрямую. Он должен восприниматься без всяких толкований и разъяснений. В нем не должно быть никакой загадочности. Символ, подобный тайному коду, который доступен лишь специалистам, может, конечно, представлять интерес для любителей старины или ценителей аллегорий, но вряд ли способен что-то сказать живому коллективу людей, пробудить в них те чувства и ассоциации, которые рождаются от мгновенного, интуитивного постижения истины.

Иначе говоря, символы обладают эмоциональным воздействием, даже если они запечатлевают вполне рациональное представление о мире. Свою эмоциональную окраску символ приобретает именно благодаря высшей концентрации отвлеченного смысла в самой конкретной, чувственной форме. Эмоциональное восприятие символа (серпа и молота, например, или меноры) ведет сознание напрямик к припоминанию и переживанию стоящего за ним смысла. И наоборот, объект, первоначально лишенный такого содержания, может постепенно обрести глубокий смысл и воздействие, обогатившись сосредоточившимися почему-либо на нем эмоциями людей. Так и символы, до поры до времени лишенные смысла в данной духовной или исторической обстановке, могут вдруг обрести вторую жизнь в результате страстности, с которой люди в определенных обстоятельствах вновь обращаются к ним.

На эти размышления о природе символов меня навели недавние споры вокруг "Маген-Давида", Давидова Щита или Звезды Давида, как еще называют эту эмблему. Споры шли о том, следует ли изображать этот знак на флаге Израиля — еврейского государства, смысл которого столько же связан с мечтами евреев о будущем, сколько с невыразимыми ужасами их недавнего прошлого.

Проблема "Звезды Давида" действительно спорна во всех своих аспектах. Научная и популярная литература по этому вопросу представляет собой нагромождение гипотез, порою правильных, но гораздо чаще — фантастических. Здесь совершенно нельзя полагаться на предшествующих авторов, поскольку в их трудах самые вздорные субъективные предположения зачастую подменяют реальную традицию. Не имея о ней ясного представления, каждый автор толкует ее на свой лад. Один говорит: перед нами

древний символ иудаизма, выражающий все его духовное и интеллектуальное содержание. Другой утверждает: нет, это ничто иное как символ еврейской "государственности", "суверенитета". Третий считает "Маген-Давид" специфическим порождением войн Давидовых времен. Четвертый толкует его как универсальный символ гармонии и вечного мира. Роднит все эти рассуждения лишь та полная растерянность, которую демонстрируют все без исключения авторы, едва только они переходят к доказательству своего толкования. Тут они немедленно сползают в пустую болтовню и бесконечные спекуляции, не имеющие ничего общего с еврейской традицией. Ибо на самом деле Звезда Давида — весьма специфический символ, требующий серьезных размышлений. И тут слава тому, кто оставляет настезь открытыми врата свободных ассоциаций.

Какова в действительности история "Щита Давида"? Был ли он изначально символом иудаизма, да и вообще — еврейским символом? А если нет — как он им стал, когда и в силу каких обстоятельств? Если мы хотим разобраться в этом вопросе, нам следует прежде всего четко различать две вещи: и з о б р а ж е - н и е символа, то есть гексаграмму (фигуру из двух пересекающихся равнобедренных треугольников, или, проще, шестиконечную звезду) — и е е н ы н е ш н е е толкование, или название ("Звезда, или Щит Давида"). Гексаграмма далеко не всегда имела именно такое толкование. История того, как возникла эта связь, представляет большой интерес, в особенности если очистить ее от выдумок и спекуляций, нагроможденных некоторыми современными еврейскими "толкователями".

Начнем с гексаграммы. Сама по себе она вовсе не является еврейским символом, тем более — символом иудаизма. Ни в ней самой, ни в истории ее возникновения нет тех признаков подлинного символа, о которых мы говорили выше. Она не выражает никакой "еврейской" идеи, не пробуждает никаких архаических ассоциаций, связанных с нашим глубинным национальным опытом, не представляет собой чувственно воспринимаемого воплощения какой-либо сразу угадываемой "за ней" духовной реальности. Она не напоминает ни о чем из библейского или талмудического прошлого; не порождает никаких надежд на мессианское будущее. При виде гексаграммы набожный еврей прежних веков испытывал разве что некий мистический страх, который он торопился преодолеть с помощью магических заклинаний. Вплоть до середи-

ны XIX века ни один еврейский теолог или кабалист и не думал искать в шестиконечной звезде какое-либо скрытое еврейское содержание. Она не появлялась ни в талмудической, ни в хасидской литературе. И не потому, что за ней, якобы, признавался некий однозначный, общеизвестный смысл, а напротив — как раз потому, что никто такого смысла в ней не видел.

Вообще говоря, изображение гексаграммы с ее двумя пересекающимися треугольниками с незапамятных времен встречается у самых разных народов, и оно зачастую связано с другим столь же распространенным изображением — пентаграммой, или пятиконечной звездой. В глубокой древности обе эти фигуры назывались "Печатами Соломона", и в малоизвестной, к сожалению, монографии португальского исследователя Васконселоса "Сигнум Саломонис" собран обширный материал, доказывающий распространенность этих знаков среди культур, не имевших ничего общего с иудаизмом. Такая "печать" всегда рассматривалась просто как охранительный магический знак. Тот факт, что гексаграмма иногда появлялась в еврейских орнаментах, еще не делал ее "еврейским" символом. Впрочем, такое ее появление представляло собой довольно редкий случай. Впервые шестиконечная звезда встречается среди евреев на печати некоего Иошуа бен Асия, датируемой 600-м годом до н. э., а в следующий раз гексаграмма (почему-то с точкой в центре) появляется только в орнаменте знаменитой синагоги в Капернауме, относящейся уже ко II—III векам н. э. Кстати, в том же орнаменте рядом с гексаграммой можно увидеть и свастику, которая уж наверняка не является еврейским символом. А в орнаментальном узоре древней синагоги в Тель-Хум, в Галилее, гексаграмма фигурирует в одном ряду с пентаграммой. Существуют ассирийские, финикийские и еврейские печати, на которых изображена точка, испускающая шесть лучей, и некоторые авторы принимают ее за гексаграмму, хотя очевидно, что в данном случае мы имеем дело с совершенно иной геометрической конфигурацией. Вдобавок, эти печати одновременно содержат также изображения пентаграмм и других знаков и фигур, ни одна из которых не может считаться специфически еврейским символом. Утверждают еще, будто гексаграмма была обнаружена на стенах святыни в Меггидо (времен Израильского царства), но внимательное изучение соответствующей фотографии показывает, что интересующее нас изображение настолько повреждено временем, что толкование его как гексаграммы



вполне можно приписать излишне живому воображению археологов. С другой стороны, совершенно явная гексаграмма появляется в гордом одиночестве на печатях глиняных кувшинов из-под масла (V век до н. э.), которые могли принадлежать Иерусалимскому храму, но и тут нет никаких оснований думать, что это имело какое-либо символическое значение.

Это все, что можно сказать о случаях появления гексаграммы на еврейских объектах далекого прошлого. Что касается более позднего, эллинистического периода, то от него сохранилось большое количество еврейских эмблем, связанных с библейскими ритуалами или возникших на их базе, однако, увы, гексаграммы (а также пентаграммы) в них полностью отсутствуют. На этих печатях мы большей частью встречаем изображение другого предмета, который действительно следует считать специфическим еврейским символом, а именно — семисвечной меноры. Значение меноры как главного еврейского символа сохранилось и в более поздние века; одновременно рядом с ней появляется и другая эмблема (история которой выходит за рамки нашего обсуждения) — два льва, держащие в лапах Древо Жизни или Ковчег Завета. Эти две эмблемы очевидным образом демонстрируют живую связь с чем-то таким, что еврейское воображение способно воспринять сразу и непосредственно. Что же до гексаграммы, то, лишенная такого символического содержания, она в последующие века продолжает свое существование, в основном, как чисто декоративный мотив в орнаментах множества христианских церквей раннего средневековья; в то же время она по-прежнему почти не появляется в средневековых синагогах. Странно, что такая упорная связь гексаграммы именно с христианскими церквями не насторожила ревностных членов шумного клана "Симболицетти Аллегоровичей Интерпретаторо-Мистифицинских". Не случайно же Яков Рефман, один из величайших ученых Еврейского Просвещения, уже лет сто назад заподозрил, что Щит Давида — чужая лоза в еврейском винограднике, и охарактеризовал его следующими библейскими словами: "Смешались они с народами и от них научились делам их".

Тем не менее, вопреки всем этим фактам, Интерпретаторо-Мистифицинские никогда не оставляли попыток приписать гексаграмме почетную, древнюю и непременно еврейскую генеалогию. Так, Мозес Гастер утверждал, что она, якобы, была введена в иудаизм еще рабби Акивой, который-де использовал

ее в качестве "мессианского символа" во время освободительной войны Бар-Кохвы ("Сына Звезды") с императором Адрианом. Но особенно настойчивыми были попытки возвести происхождение гексаграммы к кабалистической книге "Зохар" (XIII век н. э.) или к великому кабалисту Исааку Луриа (XVI век н. э.). Неважно, что на самом деле эта эмблема отсутствует как в "Зохаре", так и в трудах Луриа, тем более — как символ иудаизма, — почти все современные справочники по Кабале переполнены утверждениями о якобы "широком использовании" гексаграммы в лурианских кабалистических текстах. Макс Грюнвальд, к примеру, пишет: "Этот всемирный знак не был принят в качестве еврейского символа вплоть до Исаака Луриа, который первым увидел в нем изображение "Адама Кадмона" (первочеловека в контексте кабалистического "мира десяти сефирот". — Г. Ш.): шесть треугольников плюс гексагон в центре представляют собой семь нижних сфер, тогда как три верхних должны восприниматься как лежащие на них". Другой комментатор, Бела Вайда, пытается убедить нас, что "смысл Звезды Давида, как он описан в книге "Зохар" (где о ней не упоминается вообще! — Г. Ш.), оказал глубокое влияние на мощную фантазию Луриа, который увидел в ней замечательное воплощение своих взглядов на мир".

Эти вздорные выдумки кочуют из одного исследования в другое и остается только удивляться, почему бы комментаторам попросту не заглянуть в оригинальные лурианские тексты и не поискать там изображение гексаграммы и ее толкование. Впрочем, тогда, разумеется, тотчас обнаружится, что вся их высокоученая дискуссия не стоит выеденного яйца.

Чем, однако, объяснить, что все эти выдумки настойчиво связывают гексаграмму именно с Исааком Луриа? Ответ очевиден, прост и даже отчасти забавен. Все наши комментаторы неизменно утверждают, что когда Луриа разрабатывал ритуал пасхального седера, он будто бы предписал, чтобы предметы на блюде, напоминающие о египетском рабстве, были разложены по схеме шестиконечной звезды. В действительности однако оригинальный текст говорит нечто совершенно иное. Шесть предметов на блюде в лурианском тексте соответствуют шести Божественным "сефирот" и должны быть расположены в виде двух треугольников один п о д другим, как и положено, согласно Кабале, иерархией так называемого "древа сефирот". Они вовсе не пересекаются, а попросту параллельны друг другу и потому никак не могут обра-

зовать гексаграмму. Однако много позже, в XIX веке, шестиконечная Звезда Давида стала (по другим причинам, о которых ниже) все чаще появляться на самых разных предметах еврейского культа; и вот тогда еврейские ремесленники, изготовлявшие "художественно расписанные" блюда для пасхального седера, начали расписывать свои изделия в соответствии с возникшей модой. Расположение, предписанное лурианским текстом и зафиксированное во многих изданиях так называемой "пасхальной агады", они совершенно произвольно превратили в гексаграмму. Еще в XVIII веке этой эмблемы не было ни на одном пасхальном блюде — вместо него фигурировали совсем другие декоративные элементы: двенадцать знаков Зодиака, двенадцать колен Израилевых и т. п. А еще позже, уже в наше время, появились комментаторы, которые по невежеству приняли утвердившийся всего сто лет назад дизайн пасхальных блюд за "воплощение лурианских идей" и ничтоже сумняшеся приписали авторство этого дизайнера самому Исааку Луриа!

Нет, подлинная история Звезды Давида и ее проникновения в мир иудаизма не имеет ничего общего с концепциями кабалистической теософии и символики. Эта история принадлежит совершенно иной сфере идей, а именно — сфере еврейской магии, которая позже, правда, получила название "практической Кабалы", но на деле с настоящей Кабалой связана весьма слабо и чисто внешне. Еврейская магия с ее амулетами и талисманами возникла в действительности значительно раньше мистических построений истинной Кабалы.

В этой сфере магических поверий издавна существовало сильное взаимодействие и взаимовлияние между евреями и неевреями. Магические поверья универсальны. Магические знаки и фигуры переходят от народа к народу, наравне с так называемыми "священными" ("непостижимыми") именами и их комбинациями, и эта бытовая магия циркулирует между культурами и религиями, зачастую искаженная до неузнаваемости. Многие магические фигуры были издавна известны в соответствующей литературе Ближнего Востока и Европы под названием "печатей". Это название связано как с их первоначальным использованием на запечатывающих перстнях (производство таких перстней и колец составляло в древности целую профессию, о чем свидетельствуют сохранившиеся наставления и руководства), так и с широко распространенным убеждением, что с помощью этих знаков человек

может, якобы, "запечатать" себя, то есть защитить от происков злых демонов и духов.

Самыми важными среди магических фигур, обладавших такой "силой", были гексаграмма и пентаграмма. На практике спутать одну с другой было чрезвычайно легко, и не случайно разные экземпляры одного и того же амулета зачастую украшены то изображением гексаграммы, то — пентаграммы, притом в одном и том же месте. Трудно сказать, как давно эти фигуры получили определенные имена. Многие из названий магических фигур пришли от арабов, которые всегда проявляли особый интерес ко всему оккультному и практиковали магию задолго до появления "практической Кабалы". Однако именно те два названия — "Печать Соломона" и "Щит Давида", — которыми поначалу вперемешку обозначали как гексаграмму, так и пентаграмму, восходят как раз к доарабской еврейской магии. Кстати, арабы знали только одно из них — "Печать Соломона".

Это последнее название со всей очевидностью связано с древней легендой, на которую ссылается уже Иосиф Флавий. Легенда эта утверждала, что великий еврейский царь Соломон будто бы обладал властью над духами. Власть эту ему давало волшебное кольцо, так называемое "кольцо Соломона", на котором была выгравирована особая магическая "печать". Однако в самых древних вариантах легенды "печать" эта описывалась еще не как гексаграмма, а как "непроизносимое Имя Господа", так называемый "тетраграмматон". Магическая сила этого Соломонова "кольца с тетраграмматонем" с большим апломбом описывается во многих книгах по еврейской (а позже — и христианской) магии, вроде "Завещания Соломона" (хотя и написанного по-гречески, но в основных элементах восходящего к очень древним временам). Видимо, несколько позднее возникли другие варианты легенды, в которых уже утверждалось, что на кольце Соломона был выгравирован не тетраграмматон, а магическая звезда — иногда шестиконечная, иногда — пятиконечная. Можно с уверенностью сказать, что эти легенды возникли не позже VI века н. э., то есть еще до появления ислама. Известен амулет, два экземпляра которого находятся в Британском музее и в ленинградском Эрмитаже. Христианские рисунки на одной его стороне позволяют надежно датировать амулет шестым веком; на обратной стороне, среди прочего, изображены два льва, которые держат четко выполненную гексаграмму; а на лицевой стороне эта гексаграм-

ма однозначно названа "Печатью Соломона". Поскольку изображение двух львов, этот первоначально еврейский мотив, был позднее тоже подхвачен христианами, трудно сказать, кто первый стал называть шестиконечную звезду "Печатью Соломона" — евреи или христиане (у которых это название затем переняли арабы).

Примерно в то же время евреи впервые начинают связывать гексаграмму также с именем царя Давида. На кладбище в Таранто (Южная Италия) было обнаружено надгробье, относящееся, как минимум, к шестому веку н. э. Согласно надписи, под камнем похоронена жена "Леона, сына Давида", и прямо перед словом "Давид" на камне нарисована шестиконечная звезда. Вряд ли это простая случайность. Впрочем, верно и то, что ни на одном другом еврейском захоронении раннего средневековья знак гексаграммы больше не обнаруживается, даже в связи с именем Давида.

Как бы то ни было, такая связь постепенно установилась, и объяснение ее не составляет труда. Дело в том, что еврейские легенды приписывали магическую силу не только Соломону, но и его сыну, победоносному Давиду. Существует множество средневековых еврейских магических текстов, где упоминается о легендарном "Щите Давида", который, якобы, и давал царю его чудесную силу. Самый древний из таких текстов (видимо, ближневосточного или южноитальянского происхождения) излагает основы некоего тайного (так называемого "звездного") алфавита, которым часто надписывали магические амулеты. Авторство этого алфавита текст приписывает высшему из чинов ангельского воинства — Метатрону (имя которого встречается и во многих других еврейских легендах). Так вот, об одной из букв этого "Метатронова алфавита", похожей на латинское V, но с маленькими кружочками на всех трех концах, в рукописи говорится, что буква эта имеет "форму щита", потому-де, что "царь Давид имел щит, на котором были выгравированы семьдесят две буквы, составляющие Великое Имя Бога (комбинация священных имен, которая, якобы, помогла евреям освободиться из египетского рабства. — Г. Ш.), и это Имя давало Давиду победы во всех его войнах". Мы видим здесь полную аналогию с легендой о кольце Соломона и выгравированным на ней тетраграмматонам. Однако далее в том же тексте говорится, что на Щите Давида, вдобавок к Великому Имени, был еще выгравирован стих

из Библии, первые буквы слов которого составляли имя "Маккаби". Щит этот, якобы, передавался из поколения в поколение, пока не оказался в руках Иуды Маккавея (Маккаби), героя Маккавейских войн. А еще более поздняя легенда (имевшая широкое хождение среди немецких евреев в XIII веке) уже утверждает, что на Щите Давида под Великим Именем было написано не "Маккаби", а нечто другое: одно из "семидесяти тайных имен Метатрона". "И если враги твои нападут на тебя, произнеси это имя, и ты останешься невредим", — заключает легенда. Таким образом, поначалу Щит Давида, как и "Печать Соломона", тоже никак не был связан со знаком шестиконечной звезды. Название "Щит Давида" закрепилось за этим знаком много позже.

Подчеркнем однако, что какое бы имя ни сопровождало гексаграмму поначалу и под каким бы названием она ни была известна потом, эту шестиконечную звезду рисовали с одной-единственной — магической, а не символической — целью: защитить владельца от демонов и духов. Подтверждением этого является история так называемых "магических мезуз". Мезуза — это цилиндрический стаканчик, в который вложен листок с написанным на нем стихом из Торы. В соответствии с раввинистическими предписаниями, восходящими к дохристианским временам, такая мезуза должна прикрепляться к дверям любого еврейского дома. Вряд ли мезуза была поначалу предназначена для каких-либо магических целей; однако в руках поклонников магии она уже в начале средневековья приобрела эту функцию. Рабби Элиезер из Метца (XII век) сообщает, что "стало общепринятым добавлять печати и имена ангелов после библейского стиха, помещенного в мезузу, для дополнительной защиты жилья. Это не предписано и не запрещено, это просто служит дополнительной защитой". Другие авторитеты, однако, решительно утверждали, что мезузу с л е д у е т писать со всевозможными добавлениями в магическом духе. Не случайно Маймонид яростно нападал на тех "экстремистов", которые вписывают имена и "печати" не только по углам основного текста мезузы, но даже между строчками и в самом тексте. И вот эти-то магические "печати", как правило, представляли собой шестиконечные звезды — как, например, в мезузе из коллекции Адлера, где таких звезд целых двенадцать!

Таким образом, в тот момент, когда гексаграмма начала свой путь в широких еврейских народных кругах, она воспринимала

лась не как "новый символ монотеизма", а попросту как древний магический знак, защищающий от злых духов. И это свое значение она сохранила в народе вплоть до начала XIX века.

С течением времени "магические мезузы" вышли из употребления. Но сами гексаграммы и пентаграммы продолжали сохраняться в оккультной литературе — чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы бегло перелистать такие средневековые руководства по волшебству, как "Клавикула Саломонис" или "Дьявольские чары доктора Фаустуса", где эти знаки встречаются во множестве и в самых разных сочетаниях. Впрочем, как раз в собственно еврейской оккультной литературе они появляются намного реже и позже: едва ли не впервые мы встречаем магическую гексаграмму в 1550 году, на титульном листе сочинения по еврейской магии, выпущенного в Италии. Чуть позднее, в 1586 году, в другом оккультном манускрипте упоминается о "талисмане" учеников Исаака Луриа в Цфате, имевшем вид шестиконечной звезды и называвшемся "Печатью Соломона". Любопытно, что почти одновременно (в 1600 году) в другом еврейском манускрипте описывается магическая "п я т и - к о н е ч н а я звезда", которая именуется "Щитом Давида". Однако уже в семнадцатом веке еврейские магические амулеты, как правило, украшены ш е с т и к о н е ч н о й звездой, за которой к тому времени твердо укрепляется также и название "Щит Давида". Такие амулеты "против пожара" сохранились во многих старых еврейских домах и описаны в самых разных еврейских "волшебных" книгах того времени.

Но гексаграмма использовалась в еврейском мире не только для заклинания духов. Вера в ее магическую силу побуждала изображать ее в орнаментах, декоративных украшениях, рисунках печатей, которыми официальные лица (причем не только евреи) скрепляли подписанные ими документы. Уже в 1298 году мы встречаем переплетенные гексаграммы в узоре, украшающем рукописный свиток Торы, изготовленный в Германии; в 1226 году мы видим шестиконечную звезду в орнаменте печати христианского нотариуса из Арагона, а в 1248 году — в орнаменте такой же печати еврейского финансового чиновника — байлифа. (Поскольку имя чиновника было Видаль Соломон, не исключено, что шестиконечную звезду он выбрал потому, что она напоминала ему о "Печати Соломона"). Одновременно за этим магическим декоративным знаком, как мы уже сказали, начинает за-

крепляться название "Щит Давида" — уже в 1300 году испанский кабалист Давид бен Иуда в комментариях к книге "Зохар" именно так называет гексаграмму, изображенную в двух местах его рукописи. Однако чуть позже этот процесс постепенного сращивания магической шестиконечной звезды с названием "Щит Давида" был на время прерван драматическим поворотом событий.

В 1470 году знаменитый испанский еврейский автор Исаак Арама выдвинул утверждение, что на легендарном древнем "Щите Давида" была, якобы, выгравирована вовсе не магическая шестиконечная звезда, а некая другая фигура: шестьдесят седьмой псалом в форме семисвечной меноры (известно, что Давиду приписывалось авторство библейских псалмов). С легкой руки Арамы быстро распространился обычай писать упомянутый псалом в виде меноры, а "практические кабалисты" начали превозносить магическое действие такой надписи как охранительного талисмана. В 1580 году в Праге даже появилась брошюра "Золотая менора", в которой говорилось: "Этот Псалом, вместе с менорой, многое означает ... когда царь Давид отправлялся на войну, он брал с собой Щит, где псалом был выгравирован в виде меноры, и подолгу смотрел на него, размышляя над его тайнами ... и поэтому он побеждал".

Традиция называть "Щитом Давида" шестьдесят седьмой псалом, записанный в виде меноры, продержалась несколько столетий, но в конце концов все же сошла на нет. По мере того, как этот эпизод забывался, название "Щит Давида" снова стали связывать с магической шестиконечной звездой, и постепенно во всех книгах по практической Кабале эта связь закрепилась и стала однозначной; отныне "Печатью Соломона" в оккультных сочинениях именовалась только пятиконечная звезда. Даже христиане начинают привыкать к тому, что древняя магическая шестиконечная звезда называется "Щитом Давида". Это название проникает в христианские алхимические сочинения, где много и часто рассуждают о волшебных свойствах шестиконечной звезды. Алхимики считали один ее треугольник "знаком воды", а другой — "знаком огня"; их пересечение означало "гармонию противоположных начал". Считалось, что рисуя этот знак на колбе, можно произвести "огненную воду" ("эш-маим"), то есть приблизиться к небесам ("ша-маим") — и т. д.

В е в р е й с к о й оккультной литературе эти толкования не получили никакого хождения; здесь толкование магической си-



лы шестиконечной звезды шло иным путем. Поскольку традиция к этому времени уже связала гексаграмму с названием "Щит Давида", то вполне естественно было вспомнить, что согласно Кабале "Царство Давида" есть не что иное, как "земное воплощение" десятой "сефиры" (последней из десяти Божественных "эманаций"), которая в "Горнем царстве" соответствует мистическому "телу общины Израиля". Известный моравский кабалист XVIII века Авраам Хаим Козн уже утверждал, будто бы шестиконечная звезда была не просто нарисована на щите царя Давида, но служила эмблемой всего "Давидова царства".

Связь гексаграммы с именем Давида позволила сделать и следующий шаг в толковании этого знака — связать его с М е с с и е й "и з д о м а Д а в и д о в а". Этот шаг был сделан во времена знаменитого лжемессии-кабалиста Сабатая Цви, последователи которого утверждали, что мессианское возрождение уже наступает. Шестиконечная "Звезда Давида" и стала для них знаком этого приближения Мессии. Отголоски такого поверья можно услышать в истории знаменитых "амулетов рабби Ионатана", которая в 1750 году вызвала настоящий скандал в образованных кругах центральноевропейского еврейства. Выяснилось, что один из величайших талмудистов того времени, рабби Ионатан Эйбешютц, раздавал беременным женщинам амулеты с изображением шестиконечной звезды и надписями типа "Печать", "Печать Бога Израиля" и еще загадочней — "Печать МБД". Противники рабби Ионатана немедленно расшифровали эту последнюю надпись как аббревиатуру слов "Мессия бен Давид" и на этом основании обвинили Эйбешютца в скрытых симпатиях к сабатеянству. В свое оправдание рабби заявил, что его амулеты — чисто магические: никакой мессианской символики или "сабатеянского духа" в них нет, все надписи на них представляют собой просто магические формулы и знаки, заимствованные из древних священных текстов без всякого умысла и цели. Можно понять рабби Ионатана, но трудно оспаривать и убедительность аргументов его критиков. Есть только две возможности: либо рабби Ионатан действительно не был скрытым сабатеянцем, и тогда его амулеты не имели никакого символического значения, а были попросту жалкой, недостойной ворожкой; либо он был сабатеянцем, и тогда следует признать, что изображение Щита Давида на амулетах имело символическую цель напомнить о мессианском возрождении, хотя символика эта была понятна, пожалуй, одним

лишь “посвященным”, то есть скрытым сабатеянкам, которые ассоциировали шестиконечную Звезду Давида не только с самим Давидом, но и с “сыном Давида”, как обычно именовался Мессия и как называл себя Сабатай Цви. В пользу второго предположения говорит тот факт, что примерно в то же время мы встречаем аналогичную символику шестиконечной звезды у польского кабалиста Исаяи, сына Йозеля Баал-Шема.

Весь этот эпизод (до сих пор вызывающий споры многих верующих!) интересен тем, что содержит неожиданно актуальный аспект. Оказывается, современная, сионистская интерпретация шестиконечной звезды как символа “еврейского возрождения” (определившая, кстати, название и рисунок на обложке знаменитой книги Франца Розенцвайга “Звезда Искупления”) имеет предшественника в косноязычных намеках давних сабатеянцев — типа надписей на амулетах рабби Ионатана! Вряд ли, конечно, отцы-основатели сионизма, которые утвердили Щит Давида на знамени еврейского возрождения, отдавали себе отчет в том, что они и в этом идут вслед за тайными намерениями великих сабатеянцев, во взглядах которых ортодоксия и ересь так неразрывно переплетались друг с другом. Сионистов и без того неустанно обвиняли в псевдомессианизме, сравнивая их затею с замыслами Сабатая Цви, и боюсь, что разъяснение сабатеянской генеалогии их главного символа покажется многим из них последним ударом в спину. С другой стороны, несомненно найдутся среди них и такие, кто примет это разъяснение как похвалу, а не оскорбление. Ну, а поклонники исторической диалектики, управляющей также и судьбой символов, смогут, пожалуй, еще раз удовлетворенно ухмыльнуться...

Между тем, независимо от эзотерических толкований сабатеянцев, шестиконечная звезда совершала свой путь в еврейских кругах в прежнем своем качестве — лишенная всякого символического значения, но все более привычная в качестве орнаментального, декоративного знака, в котором многие по-прежнему видели нечто от древней магии. Вслед за личными печатями чиновников этот знак начинает появляться на печатных изданиях книг — впервые в 1492 году в лиссабонском издании Библии, затем у константинопольского печатника Давида бен Нахмиасса, а в 1512 году — на титульном листе одного из первых пражских еврейских изданий. На пражских изданиях Щит Давида вообще появляется с тех пор особенно часто, и это было связано с особой

ролью шестиконечной эмблемы в жизни евреев Праги. Дело в том, что именно в Праге она впервые была использована в качестве “официального” знака еврейской общины, хотя мы не можем сказать, было это результатом принуждения или добровольного выбора самих евреев. Произошло это так: в 1354 году император Карл IV, в знак своего особого расположения, даровал евреям Праги право на собственный флаг (история эта вовсе не является легендарной — о еврейском флаге не раз упоминается в хрониках Пражской общины, как о чем-то хорошо известном). И вот на этом-то флаге была изображена большая Звезда Давида. Если пражские евреи к тому времени уже привыкли видеть в этой эмблеме герб царя Давида, то не исключено, что они сознательно выбрали ее в качестве своей эмблемы и с гордостью подняли на своем знамени. Можно думать, что этот знак связывался в их глазах с магической “силой”, а тем самым напоминал о былом величии Давидова царства. Как бы то ни было, эта эмблема стала общепринятой и из Праги распространилась по другим еврейским общинам Богемии и Моравии. Однако в то же самое время другой “еврейский флаг” (о котором упоминается в связи с торжественным въездом в Будапешт короля Корвинуса в 1476 году) нес на себе, согласно описаниям, совсем иное изображение — “пятиугольное ведьмино копыто над двумя золотыми звездами и еврейской шапкой внизу”. Неясно, были ли упомянутые звезды шестиугольными; если были, то мы имеем здесь дело с давним сочетанием двух магических фигур — гексаграммы и пентаграммы. Таким образом, окончательный выбор между двумя древними знаками к тому времени, видимо, еще не произошел, и оба еще не имели своего нынешнего символического смысла.

В Праге, однако, гексаграмма с самого начала одержала верх над пентаграммой. Так, надгробие знаменитого хроникера Давида Ганса, умершего в 1613 году, украшено огромной Звездой Давида; а в 1627 году император Фердинанд II специальным указом подтвердил, что печать пражских евреев должна содержать шесть согласных ивритского словосочетания “Маген-Давид”, вписанных между углами двух треугольников, и мы находим это изображение на множестве печатей тогдашних еврейских организаций и частных лиц, а также на башне еврейской ратуши и на железной решетке синагоги.

Из Праги традиция изображения шестиконечной звезды переко-

чевала в Вену, где в 1656 году мы впервые встречаем на камне, разграничивающем еврейский и христианский кварталы, знак гексаграммы, наложенный на крест. Тут, в соседстве с крестом, шестиконечная звезда явно выступает как знак еврейской религии, противопоставленной религии христианской, то есть как условный знак иудаизма, а не просто эмблема отдельной еврейской общины. Когда в 1670 году евреи были изгнаны из Вены, они рассеялись по Моравии, Южной Германии и Пруссии, всюду неся с собой новую традицию, и уже в 1680 году шестиконечная звезда появляется на печати ашкеназийской (но не сефардской) общины Амстердама.

Проникновение шестиконечной звезды (в качестве специфически еврейского украшения или эмблемы) на восток происходило более медленно. Еще в семнадцатом-восемнадцатом веках она почти не появляется здесь на официальных еврейских печатях, хотя уже встречается на различных предметах религиозного культа. Одновременно тут сохраняется давнее использование гексаграммы как магического охранительного знака, и например, на могильном камне знаменитого "чудесника" из Подолии, Шмуэля Якова Хаима, мы видим его инициалы, вписанные внутри большого "Маген-Давида". Однако использование этого знака на могильных памятниках становится особенно популярным много позднее — к примеру, на кладбище португальских евреев в Гамбурге первый "Маген-Давид" появляется только в 1828 году.

Такова, более или менее, история шестиконечной звезды до начала XIX века. За многие столетия этот знак стал, несомненно, привычным для еврейского глаза, хотя никаких специфических, исторических или религиозных ассоциаций в еврейском воображении не вызывал. И только в XIX веке началось его поистине широчайшее распространение, обусловленное, вне всякого сомнения, стремлением к имитации: эмансипированные, образованные евреи Европы начали искать такой "символ иудаизма", который мог бы сравниться с символом христианства, крестом, изображения которого окружали их со всех сторон. Коль скоро они видели в иудаизме не более, чем специфическое "израэлитово вероисповедание", у него, как и у "всех других" вероисповеданий и религий, тоже "должен" был быть свой отличительный знак. Естественно было выбрать на эту роль примелькавшееся изображение шестиконечной звезды, и с этого времени Щит Дави-

да начинает действительно приобретать религиозно-символический характер. Особую роль в этом процессе становления нового символа сыграло начавшееся массовое строительство синагог. Один из ведущих синагогальных архитекторов нашего времени, Альфред Гротте, писал в 1922 году: "Когда в XIX веке началось строительство архитектурно примечательных синагог, большинство нееврейских архитекторов стремились уподобить эти места богослужения общей модели церковного строительства. Они считали поэтому необходимым найти некий символ, который соответствовал бы символу христианской церкви, и в этих поисках натолкнулись на гексаграмму. В силу абсолютного невежества (даже среди образованных еврейских теологов) в вопросах еврейской символики, "Маген-Давид" был немедленно возведен в ранг наглядного "символа иудаизма", каким он никогда не был. Поскольку его геометрическая форма хорошо соответствовала любым структурным и орнаментальным целям, и он уже много столетий был общепринятым еврейским знаком, давно освященным традицией, было сочтено, что именно "Маген-Давид" является для евреев таким же священным символом, как крест и полумесяц для других монотеистических религий".

Естественно, что это внимание к шестиконечной звезде способствовало широкому распространению этого "еврейского знака" и вовне синагог — на церемониальных предметах всякого рода, на посуде (вспомним историю "пасхальных блюд") и т. п. Во второй половине XIX века эта мода проникла из Западной Европы в Польшу и Россию. Богобоязненные евреи старого закала не протестовали против нее, поскольку элемент подражания христианству, изначально лежавший в основе выбора этого знака в качестве символа еврейской религии, был замаскирован издавна знакомой — особенно простым евреям — магической природой самого знака. Еще в 1854 году Герсон Вольф из Вильно, ученый, хорошо знавший духовный мир моравского еврейства, писал, что вся "вера" набожных евреев в Щит Давида покоится исключительно на ощущении, что он защищает дома и семьи от враждебных сил. Ни о какой вере в символическое значение "Маген-Давида" как знака иудаизма у Вольфа нет и речи. Этот смысл, которого не ощущало в гексаграмме живое еврейское воображение, вряд ли мог быть искусственно внесен в нее с помощью вполне благонамеренных, но туманных рассуждений теоретиков эмансипации. Зато среди "просвещенных" евреев новая

символика распространялась довольно быстро. Генрих Гейне, всегда с крайним цинизмом относившийся к своему крещению, начиная с 1840 года неизменно подписывал свои корреспонденции из Парижа знаком шестиконечной звезды вместо имени — примечательное и многозначительное свидетельство той “еврейской принадлежности”, что пронизывает всю его биографию.

В итоге можно сказать: именно в момент своей наивысшей популярности “Маген-Давид” оказался “пустым” знаком — в лучшем случае, для “посвященных”, символом религии, в которую они не верили и которая сама все более и более теряла прежнее значение. Никакие мистические толкования и надуманные интерпретации не могли бы вдохнуть в этот древний магический знак новую, символическую жизнь. Великолепная и пустая биография “Маген-Давида” в XIX веке сама стала знаком еврейского заката.

И тогда появились сионисты. Их усилия были направлены не только на возрождение былого величия, но и на переделку и обновление народа. Первый же номер сионистского еженедельника “Ди Вельт”, выпущенный Герцлем 4 июня 1897 года, был украшен шестиконечной звездой. И когда сионисты (на Базельском конгрессе) избрали этот знак своей официальной эмблемой, они бессознательно использовали две его особенности, которые делали “Маген-Давид” как нельзя более пригодным на роль нового символа. С одной стороны, шестиконечная звезда была давно и хорошо известна чуть не каждому еврею благодаря своей распространенности в веках, массовому появлению в синагогах, на предметах культа и обихода, на печатях общин и т. д. С другой стороны, в массовом еврейском сознании XIX века она не была четко связана (в отличие, например, от меноры) с какими-либо специфическими религиозными или историческими ассоциациями. Этот недостаток сам стал достоинством: вместо того, чтобы напоминать о былой славе, новый символ переадресовывал еврейские надежды в будущее, в сторону возрождения.

Но не только сионисты наделили Звезду Давида священным характером нового еврейского символа. Пожалуй, еще больше сделали для этого те, кто превратил ее в знак еврейского позора и унижения. Желтая еврейская звезда, этот отличительный признак отчуждения и — в конечном счете — уничтожения, сопровождал европейских евреев в дни их страданий и смерти, сражений и героического сопротивления. С этим знаком они умирали, с ним

они вернулись в Израиль. И если вообще существует та плодородная почва исторического опыта, из которой символы черпают свое ассоциативное содержание и эмоциональное воздействие, то для Звезды Давида такой почвой была именно Катастрофа. Верно, кое-кто в наши дни считает, что знак, обозначивший путь к газовым камерам и смерти, следовало бы заменить иным — знаком жизни. Но можно утверждать и противоположное: именно знак, который в наши дни был освящен страданиями и смертью, заслужил право освещать путь к жизни и обновлению. Прежде чем подняться, дорога повела в пропасть; там символ претерпел свое крайнее унижение и там он обрел свое величие.

*Сокращенный перевод с английского  
Рафаила Нудельмана*

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

предлагает следующие книги:

<b>ДАВИД ТАКСЕР. ИСК (ПОВЕСТЬ)</b>	<b>10 долл.</b>
<b>ЗДУАРД КУЗНЕЦОВ. РУССКИЙ РОМАН</b>	<b>12 долл.</b>
<b>АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. ТРЕПЕТ ИУДЕЙСКИХ ЗАБОТ</b>	<b>8 долл.</b>
<b>"КНИГА МАККАВЕЕВ"</b>	<b>6 долл.</b>
<b>ИЛЬЯ РУБИН. ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ (СБОРНИК)</b>	<b>7 долл.</b>
<b>НИНА ВОРОНЕЛЬ. ПРАХ И ПЕПЕЛ (СБОРНИК ПЬЕС)</b>	<b>4 долл.</b>
<b>АДИН ШТАЙНЗАЛЬЦ. КОНТУРЫ ТАЛМУДА</b>	<b>9 долл.</b>
<b>НИНА ВОРОНЕЛЬ. ПАПОРОТНИК (СТИХИ)</b>	
<b>КИРИЛЛ ХЕНКИН. РУССКИЕ ПРИШЛИ</b>	<b>10 долл.</b>
<b>ЗДУАРД КУЗНЕЦОВ. МОРДОВСКИЙ МАРАФОН</b>	<b>10 долл.</b>
<b>НИСАН РУДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ</b>	
<b>(ВОСПОМИНАНИЯ)</b>	<b>6 долл.</b>

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ", П/Я 7045, РАМАТ-ГАН, ИЗРАИЛЬ.

## РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

*“— Вы мне это прекратите!  
Это не козел, — это наш сотрудник!”*

*А. и Б. Стругацкие.  
“Понедельник начинается  
в субботу”*

Это не доклад, — это сообщение, запоздавшее, как всякое сообщение. Единственное оправдание — в том, что данное обещает быть веселым. Но вначале — о невеселых причинах запоздания.

Два года тому назад журнал “22” опубликовал две главы из моей работы, предполагавшей таких глав пять, а то и шесть. Опубликованные главы, если кто помнит, содержали начало разбора повести Стругацких “Жук в муравейнике”, а также множество разбросанных там и сям точных и тонких, едких и метких наблюдений и замечаний о природе жанра вообще, творчестве Стругацких в особенности и некоторых странностях советской НФ в частности.

Попутно высказывались разнообразные, порой не лишённые смысла суждения о том о сем, о жизни, смерти, любви, власти и предназначении советского человека.

Признаться, я гордилась своей работой. Мне как-то по душе пришлось ее неподдельная лег-

*Майя Каганская*

**РОКОВЫЕ ЯЙЦА,  
ИЛИ О ПРИЧИНАХ УПАДКА  
РОССИЙСКОЙ  
НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ**

---

(Доклад, прочитанный на симпозиуме по научной фантастике в Иерусалиме)



кость, ненавязчивое остроумие, но главное — тот поистине виртуозный анализ бесконечно малых единиц текста, который превратил путаную повесть Стругацких в сводное торжество алгебры и гармонии. Так, просветляясь сердцем и веселясь разумом, беззаботно продвигалась я от главы к главе, но тут на моем пути встало то, что всегда вставало, встает и будет вставать на пути литературного прогресса, — на моем пути встала действительность. Причем действительность в самом ее грозном и неотвратимом облике — окрике читателей. Первый же раздавшийся читательский голос был голосом самого Бога — "Glosem Pana" на языке оригинала, или, в смягченном русском переводе, — "Голосом неба". Вы уже, конечно, догадались, что речь идет о пане Станиславе Леме. Да, именно Станислав Лем, автор "Соляриса", "Эдема", "Маски" и других откровений, почитаемый и любимый мною ничуть не меньше, чем сотнями тысяч верующих в него читателей, — прервал нить моего вдохновения.

Лем указал, что, во-первых, нельзя сводить научную фантастику, которая все-таки литература, и даже художественная, — к социологии и политике, а во-вторых, довольно стыдно обитателю демократического Эдема (это я) обнажать тайные замыслы и помыслы авторов, разговаривающих с кляпом во рту и пишущих связанными руками (это Стругацкие).

Данный упрек я с горечью обдумывала, проезжая в автобусе по городу, чей климат так же трудно вынести, как соблюсти все десять заповедей. Но тут в мои мысли и автобус ворвалась бутылка с зажигательной жидкостью. По счастью, меткость попадания была обратно пропорциональна качеству жидкости, в силу чего единственным пострадавшим оказалось мое доверие к безусловной связи свободы с безопасностью. Пригубив по случаю "коктейль Молотова", я со всей решимостью приступила к реанимации уже остывающей третьей главы. И тогда из горячего иерусалимского воздуха соткались передо мной строгие американские граждане русского происхождения. От имени Русской Америки они выразили мне общественное порицание.

— Нет, — сказали граждане. — Ваши статьи о Стругацких — хорошие статьи. Нам по душе их неподдельная легкость и неназойливое остроумие. То есть художественно — да, но морально — never.

— Но почему? — спросила я, нервно теребя обрывки вдохно-

вения. — Почему морально — нет? Неужели я оскорбила ваши демократические американские чувства тем, что вывела на чистую воду еврейскую тему в повести Стругацких “Жук в муравейнике”?..

— При чем тут евреи? — обиделись граждане. — Мы очень любим, когда про евреев. Мы сами были когда-то евреями. Нет, ваш рационализм, или, как вы сами выражаетесь, “дешифровка”, — вот что impossible! Ведь Стругацкие — пи-са-те-ли! Талантливые. А талант — это нечто такое. Эдакое. Иррациональное, одним словом. Озарение. Потный вал вдохновения. Внутренний голос, а в случае Стругацких — целых два. Поскольку мне бумаги не хватило, я на твоём пишу черновике, озверев от помарок... Нету мук сильнее муки слова. Описки. Окурки. Многозначность. Амбивалентность. А у вас что получается?!.. Какие-то компьютеры, прости, Господи!.. На входе имеем, на выходе получаем. В одной программе — люди, в другой — годы, вот и фабула готова. Не два пи-са-те-ля, а два заговорщика, не творческий акт, а составление шифрованного донесения! So!

Вот, стало быть, в чем дело! — я покусилась на самое сокровенное: образ писателя в глазах читателя. Почему читателю так хочется видеть в писателе лунатика с бельмами или шамана с пеной изо рта и ушей, — непостижимо. Возможно, здесь мы сталкиваемся с одним из пережитков магических культов, а может еще хуже: чистый разум меньше соответствует человеческой природе и потому в меньшей чести у нее, чем пена и амбивалентное бормотание. Ведь не случайно сны смотрят все, даже кошки и коровы, Фрейд же — один.

А что касается меня, то я, во-первых, поняла, что социальный отказ такой же приказ, как социальный заказ, а во-вторых, — обиделась: не хотите, — сказала я в сердце своем, — не надо. Против кого Бог, — против того и люди, и наоборот, глас народа — глас Божий. Препротивнейший глас, смею заметить. И пусть даже тридцать тысяч читателей придут ко мне и попросят: “Пиши, Каганская!” — не буду писать. Ни о фантастике не буду, ни о Стругацких, а лучше примусь за какое-нибудь глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, возьму и выведу из “кашрута” логику Аристотеля, например, отчего произойдет всеобщее землетрясение, а когда произойдет всеобщее землетрясение, то я, пренебрегая славой, уйду в монастырь, то есть, я хотела сказать — в иешиву (женскую), где, по слухам, мой метод вот уже тыщи полторы

лет пользуется неизменным успехом. На фантастике и Стругацких свет клином не сошелся. Есть и другие. Братья Шлегели, например.

И так бы оно все и было, не напиши коварные братья продолжение "Жука в муравейнике" -- повесть "Волны гасят ветер", -- а я возьми, не удержишься, да и прочитай ее.

С чем сравню свое чувство?.. Так радовался французский математик Лавуазье, когда узнал, что планета Нептун, вычисленная, предсказанная и доказанная им чисто математическим методом, прямо с кончика гусиного пера скатилась в небо, уловлена телескопами и опознана астрономами. Вопреки распространенному философскому предрассудку, сознание не только предшествовало бытию, но и, говоря научно-фантастически, стало его прямой и непосредственной причиной. Иными словами, все, что я с помощью логических умозаключений и филологических операций, потратив свое время и чужие деньги, извлекла из "Жука...", -- все это предстало живым и наглядным сюжетом в "Волнах..." Не впрямую, конечно, но ведь и Нептун завис в телескопах не знаками и формулами, а небесным телом. В обоих наших случаях -- Лавуазье и моем -- разум торжествовал одну из своих блестящих побед.

Но прежде чем перейти к торжеству, позвольте мне вернуться к "Жуку...", бегло воспроизвести содержание нескольких, так и ненаписанных мною глав, а заодно напомнить сюжет самой повести.

Итак, место действия: Вселенная. Время действия: XXII век. Но поскольку из самого текста этот маловероятный век устранен (о нем мы узнаем только из авторского предисловия), а каждая глава начинается двузначной датой (38-й, 63-й, 78-й, 79-й и тому подобные годы), -- ясно, что авторов волнует не грядущий блистающий мир, а сумрачная современность.

В этом грамматическом будущем в значении настоящего происходит следующее событие: в 78-м году герой по имени Лев Абалкин возвращается из Космоса на Землю, куда возвращаться ему запрещено. А возвращаться ему запрещено потому, что в 37-м году некая земная экспедиция обнаружила на некоей планетке некий ларец, в ларце -- яйцо, точнее -- яйца, да не простые яйца, а -- странные. Дело в том, что уже давно земляне сталкивались в Космосе с некоей невидимой, таинственной силой, условно называемой "Странники". На пыльных дорогах далеких планет Странники то и дело то ли оставляют следы, то ли их замечают. Бывает, что они "наследили" плохо (руины), бывает -- хорошо

("Янтарная комната"). Логично предположить, что и яйца (13 штук) "отложили" Странники. Сказано — сделано; инкубатор доставляют на Землю, где судьбу яиц должен решать Мировой Совет. Одни члены МС за то, чтобы из яиц сделать яичницу, другие — за то, чтобы дать из них вылупиться птенцам. Побеждает гуманизм, и из яиц вылупливается целый выводок здоровых прелестных младенцев, неотличимых от обычных человеческих отпрысков. Годам к двенадцати-четырнадцати, однако, с "птенцами" начинает происходить кое-что неприятное и непонятное: у каждого из них появляется на локтевом сгибе припухлость, приобретающая со временем опознаваемую форму. У одного это буква "Ж", у другой "М готическое", у третьего и вовсе "Эльбрус" и т. д.

Но и опустевшие яйца, которые все эти годы хранятся в музее космической флоры и фауны, тоже "не дремлют": стоит одному из "птенцов" погибнуть (а многие из них погибают при странных обстоятельствах), — как тут же взрывается и исчезает выносившая его скорлупа. Ученые понимают, что между птенцом и яйцом существует какая-то связь. Но какая?!.. Одни говорят — прямая, другие говорят — обратная, но третьи, наиболее пронзительные, утверждают: опасная. Споры. Ссоры. Донесения. Протоколы. "Голуби" против "ястребов" и наоборот. Наконец, находят компромиссное решение: оставшихся в живых "подкидышей", подозреваемых в том, что они либо агенты Странников, либо сами Странники и есть, не уничтожить, но изолировать, отправив в Космос с запретом возвращаться на Землю.

Тем не менее, Лева Абалкин (а он, ясное дело, один из "птенцов"-подкидышей), презрев запрет и происки (поиски) космической милиции, возвращается на Землю, чтобы узнать тайну своего происхождения. Не знаю, как такое стремление будут называть в XXII веке (если будут и если будет), но на языке текущего столетия мы бы определили его как тягу к национальной самоидентификации, или "возвращение к корням!" "К корням" Лева и впрямь вернулся: его пристреливают "комконовцы" — сотрудники Комиссии по Контролю, грубо говоря, — агенты службы безопасности. Перед смертью Лева со странной настойчивостью повторяет свои детские стихи: "Стояли звери около двери. Они кричали — их не пускали". Конец.

Как известно, пересказ содержания любого произведения уже есть его анализ.

Аналитический смысл моего пересказа заключается в том, что я придала повести Стругацких фабульную четкость и композиционно-смысловую ясность, ей не свойственные. Дело не в том, как написан "Жук в муравейнике" с точки зрения беллетристики (не очень хорошо, — но и очень плохо Стругацкие написать не могут). Дело в том, что с точки зрения жанра повесть бессмысленна, ибо не имеет фабульного решения. Первое требование, предъявленное к НФ, независимо от того, советская она или угандийская, заключается в том, что для всей совокупности странных, непонятных, необычных, выходящих за рамки привычного и нормативного обстоятельств — всегда имеется объяснение внутри самого произведения. Социологическая или научно-естественная, историософская или даже моральная, но интерпретирующая тайну *концепция* и есть то, что отделяет *научную* фантастику от литературы фантастической ("Вий"), ужасов ("Челюсти"), "готической" ("Гамлет") или детективной ("Загадка смерти Сталина"). Даже в тех случаях, когда герой НФ разводит руками — "Не знаю. Не понимаю", — знает и понимает автор, а вместе с ним и читатель. Поэтому, пожалуй, НФ — единственная разновидность художественной литературы, где читателю выгодней отождествлять себя с автором, чем с персонажами. Иными словами, НФ больше похожа на кроссворд, чем на сонник, и требует решения, а не толкования. К примеру, проблема (или загадка) Соляриса, о которой мы сегодня говорили, не в том, что она не имеет решений, но в том, что, во-первых, их слишком много, а во-вторых, сам автор не согласен ни с одним из них, включая свои собственные.

А что происходит с "Жуком в муравейнике"? А — ничего. Существуют ли "Странники"? Если да, — то кто они? Если нет, — то кто или что вместо них? Лева — агент или жертва нелепых обстоятельств и трагических случайностей? Каким вообще законом подчинен Космос Стругацких? Кто отделяет в нем Свет от Тьмы? Верх от низа? Добро от Зла? Сюжет от фабулы? Остранение от приема?!.. — Нет ответа.

Чтобы привести повесть Стругацких в соответствие даже не с требованиями жанра (что, боюсь, невозможно), но здравого литературного смысла, я предписала их тексту код и предприняла расшифровку, в результате которой выяснилось: повесть "Жук в муравейнике" повествует о еврействе, мировом и советском. Судьба еврейства (она же его метафизическая сущность) рассматривается авторами в свете и под "знаком Близнецов" — двух

катастроф, из которых одна уже была (нацистская Германия), а другая еще будет (националистическая Россия). Об этой приближающейся (или ожидаемой) катастрофе и предупреждают детские стихи Левы: "Стояли звери около двери, они кричали — их не пускали". В обратном переводе с детского языка на язык оригинала, то есть апокалиптический, — это ужас, который "стоит при дверях" из откровения Иоанна, "звери (-ь)" — оттуда же. Дата Левиной смерти — 4 июня 78-го года (повесть, напоминаю, опубликована в 1980-м), — подчеркивает, что — да, действительно "при дверях".

Что ж до самого главного героя, Левы Абалкина, — то в его образе запечатлены не только приметы и судьба "коллективного еврея" — изгнанника с Земли (Святой) и Вечного Странника ("Жида"), но и "зримые черты" главного героя другой книги — Танаха, — черты грозного еврейского Бога, неплотно прикрытые обаятельной маской доктора Айболита: в детстве Лева по своему усмотрению начинал и прекращал войны между муравейниками (муравьи и муравейники как символ этнического коллектива, народа, были известны уже древним грекам), приручает *змея* и прочих тварей и т. п. Имя — Лев, Лев Иудеи, относится, надо полагать, к тому же символическому пласту.

Весь еврейский мета (-физический) сюжет повести был мною подробно разобран в двух опубликованных главах, и завершался так:

"Вот мы и приблизились к месту своего назначения и, признаться, стоим перед ним в полной растерянности, только какая-то чепуха, вроде "свято место пусто не бывает" приходит в наш помутившийся ум. О боги, боги мои! Чем была и чем стала советская литература! Уже антисоветчина и диссидентство стали маской для сокрытия еще чего-то. Неужто до того дело дошло, что нацизм нельзя пригвоздить в открытую? Быть того не может! Но о чем тогда повесть? Если правда, что под видом диссидентской критики авторы скорбят о евреях, куда прикажете деть пансионат "Осинушка", очень среднерусскую природу, яхту "Любомудр", избу номер шесть, а также то неопровержимое обстоятельство, что с любимой женщиной, коллегами и начальством Лева объясняется не на объединенном, а на всей планете понятном русском языке?

Дорогу к ответу на этот главный, русский вопрос пересекают совершенно свежие и четкие... следы? Следы. Мужские или жен-

ские? Доктор Мортимер как-то странно посмотрел на нас и ответил почти шепотом: "Мистер Холмс! Это были отпечатки лап огромной собаки".

До огромной собаки и ее лап мы со временем доберемся, а теперь постараемся уяснить, как, вслед за "еврейским вопросом", Стругацкие ставят и решают вопрос русский.

Русский "код" в повести достаточно разработан, и хотя явно русских примет немного, в целом они, безусловно, образуют систему. Обратим внимание на то, что "глубинку", где Лева провел детство, авторы упорно именуют *"евразийской"*, друзья Максима Камерера собираются прокатиться на яхте *"Любомудр"* (яхта, отмечают авторы и мы вслед за ними, — "Новая"); пансионат, где Лева проводит то ли ночь любви, то ли расследование, называется "Осинушка", а коттедж, в котором он расположился, именуется "Изба номер шесть".

Итак, перед нами, во-первых, славянофильский миф в диапазоне от "любомудров" до "евразийцев", к тому же явно актуализованный (яхта-то ведь новая!), а во-вторых, отношение авторов к этой идеологической актуальности. Отношение дано в описании курорта "Осинушка". Расположен он на Валдае. Природа, какой изображает ее сдвоенная кисть Стругацких, — смесь пейзажа в духе Левитана с жанром в духе Поленова: озаренный солнцем косогор, заросли крапивы, рыбак у причала... Зато интерьер "Избы № 6" — воплощенная славянофильская мечта солоухинского разлива в посттехнологическую эру: "Изба была оборудована всем необходимым, как-то: крыльцом с балясинами, резными наличниками, коньком и петухом, русской ультразвуковой печью с автоматической настройкой, подовой ванной и двуспальной лежанкой. А также двухэтажным погребом, подключенным, впрочем, к линии доставки". Достоинно внимания название курорта: вместо ожидаемых "Березка", "Белая береза" или там "Березынька" — "Осинушки". Дерево не чересчур лиро-эпическое, но зато с прочной, хоть и мрачной мифологической репутацией. Осина — иудино дерево, именно на осине, по преданию, повесился Иуда. А еще осинового кол, который, как известно, вгоняют в вампиров и вурдалаков, чтоб не повадно им было втираться в общество и притворяться живыми и страстными. Тут мы вспоминаем, что Лева обвиняется в предательстве (агент Странников) и одновременно подозревается в оборотничестве (сам Странник). Стало быть, кому — курорт, а кому осинового кол,

который в Леву в конце концов и загоняют, правда, — в виде пули.

Изба же № 6 никакой тайны в себе не содержит: это, понятно, "Палата № 6", прочитав которую В. И. Ленин побледнел, вышел на крыльцо (не исключено, что с балясинами), и, отирая повлажневший лоб, произнес: "Мне показалось, что вся Россия — это палата № 6".

А если так, — все подозрения относительно Левы есть не что иное, как проявление коллективного психоза.

За Левою охотятся, как за бешеным псом, в глазах людей он уже не человек. И тогда друг человека — собака — предает его. Имя собаки — Щекн, отчество — Итрч. Щекн, впрочем, уже не совсем собака, хотя еще далеко не человек. Он — представитель разумной расы голованов, в прошлом — действительно собак, мутировавших в "братьев по разуму" в результате неуправляемой термоядерной реакции (взрыва) на далекой планете Саракш.

Голованы — раса молодая, хамоватая, с дурными манерами, но, в силу происхождения, привязчивая, а главное — с отличным нюхом на все чужое. Этот нюх у них зовется интуицией и горделиво противопоставляется логическому мышлению — жалкому дегенерировавшему потомку интуитивной собачьей мудрости. (В повести "Волны гасят ветер" о голованах сказано: "...их чувствительность к инородному и неизвестному значительно выше нашей".)

Голованы не стыдятся своего собачьего прошлого, напротив, культ предков у них в почете и расцвете. Вообще-то голованов открыл Л. Абалкин, а открыв, — полюбил всей душой (особенно Щекна), мечтал посвятить жизнь их изучению или, на худой конец, возглавлять дипломатическую миссию Земли на Саракше — родине голованов.

По причине безупречных анкетных данных Леву не допустили ни к научной, ни к дипломатической работе. А вот Щекн преуспел и — ирония судьбы! — как раз в том направлении, куда Лева путь был заказан: он стал ответственным сотрудником (возможно, даже первым секретарем) дипломатического представительства голованов на Земле. В поисках убежища Лева приходит к Щекну Итрчу — и нарывается на отказ: бывший друг оказался вдруг и не друг и не враг, а предатель.

Само слово "голован", хоть и не имеет однозначной коннота-



ции, естественно воспринимается нами в ряду исконно русских слов типа "Полкан", "пузан" и т. п. Тем не менее, я полагаю, что истоки и слова, и образа не общезыковые, но конкретно литературные: повесть Н. Лескова "Несмертельный Голован", одна из трех лесковских повестей о русских праведниках.

Простой русский праведник-мужик по кличке Голован спасает однажды ребенка от бешеной собаки Рябки:

"В одном таком моменте я как сейчас, вижу перед собой огромную собачью морду в мягких пестринах — сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в синеватом, точно напомаженном зеве. Оскал, который хотел уже защелкнуться, но вдруг верхняя губа над ним вывернулась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно задвигалась, как голый человеческий локоть, выпятившая горловина. Надо всем этим стояла огромная человеческая фигура с огромною головою, и она взяла и понесла бешеного пса".

Это описание Набоков считал одной из жемчужин русской прозы, вообще-то не слишком склонной, к его (и нашему) сожалеению, к утехам глаза и предпочитавшей им утешения духа (или души, — я всегда в этом путалась).

Всецело разделяя восхищение Набокова, попробуем, однако, увидеть сейчас лесковский фрагмент "стругацкими" глазами. Если "огромную... фигуру с огромною головою" лишить статуса и эпитета "человеческая", а произведя эксперимент в духе доктора Моро или профессора Преображенского, "подсоединить" к Рябке, — в результате как раз и получится искомый голован Щекн. (Кстати, красные глаза Щекна — деталь, неизменно Стругацкими подчеркиваемая!)

Но это не все и далеко не все. Дело в том, что лесковский Голован так же, как голован Стругацких, сюжетно связан с двумя важнейшими для фабулы "Жука в муравейнике" моментами — эпидемией (катастрофа на планете "Надежда") и "еврейским вопросом". В уезде, где жил герой Лескова, вдруг начался мор. "Может быть, — пишет Лесков, — это была сибирская язва. Может быть, какая-нибудь другая язва, но только она была губительна и беспощадна... Самое распространенное ее название было "пупырух". Вскочит на теле прыщ или, по-простонародному, пупырушек... "желтоголовица". "Желтоголовица" и "вскочила" на теле у Левы, правда, не только цвет, но и форма этого злокачественного "пупыруха" стала причиной Левиной гибели, ибо у него он

приобрел очертания буквы "Ж", что я расшифровала как начальную букву слова "жид". И кто бы на моем месте поступил иначе?..

Что ж до отношений Несмертельного Голована с жидами, то неземная его доброта достигла таких высот и размеров, что во время эпидемии "даже жиду Юшке из гарнизона он давал для детей молока". Честный бытописатель, Лесков не скрывает, что окрестное население этот странный поступок не могло ни понять, ни, тем более, одобрить и находило его нехристианским. Но "по любви народа к Головану" нашлось "кое-какое извинение. Люди проникли, что Голован, задабривая Юшку, хотел добыть у него тщательно охраняемые евреями "Иудины губы", которыми можно перед судом отолгаться, или "волосатый овощ", которым жид жажду тушит, так что вина они могут не пить".

Подытожим: Голован-собака-мор-евреи... Что остается? Только одно — восхищаться Стругацкими.

Н. С. Лесков не был ни чересчур пламенным народопоклонником, ни (что в редкость) выдающимся антисемитом, как его напарник по второму литературному ряду Писемский, ни угорелым националистом-почвенником, как Достоевский.

Напротив, Набоков справедливо отмечает у Лескова "латинское чувство синевы" в отличие от видимо евразийской "лиловости" Льва Толстого. Сам Лесков сочувственно описывал добродетельных британцев и чувствительных немцев, а незадолго до смерти даже посоветовал молодому Чехову выучить французский язык и заделаться французским литератором. На некоторые же проявления внешней и внутренней жизни России и русского народа Лесков взирал не без скептицизма. Но даже этот умеренный взгляд представлялся Стругацким слишком оптимистичным. Лесковский спаситель и праведник превратился под их негодующим пером в собаку и предателя. Учтем также тот очевидный факт, что отцом-основателем Голована Щекна является не только лесковский "Несмертельный Голован", но и булгаковское "Собачье сердце". Эволюция Шарика от неприятельной и в скромности своей даже симпатичной дворняги до пролетарского жлоба и советского хама товарища Шарикова предопределила отрицательный характер мутации Щекна.

Новаторство братьев Стругацких проявилось в том, что классовую антропологию (Шариков) они расширили до национальной (Щекн). Доказательство: имя, точнее — имя-отчество: Щекн Итрч. Ну, Щекн — понятно; щенок, щен, ще-к-н. А вот Итрч... Похоже

на аббревиатуру. Но чего?!.. ИТР?.. Но ничто в облике, повадках и мировоззрении Щекна не напоминает "итзеров", — эту несправедливо высмеиваемую, а на самом деле полезную, разумную, пусть и ограниченную породу. Я сломала бы себе голову в поисках разгадки, если бы не блестящее озарение Михаила Хейфеца: Итрч — это действительно аббревиатура: "истинно русский человек".

Но, — уместно тут возмутиться, — кроме русского человека, несимпатичного некоторым подозрительным авторам и еще более несимпатичным читателям, — существует ведь великая русская культура, в чистых водах которой так привольно и неустанно режутся Стругацкие! Неужели у них поднимется перо и на эту святыню?!..

Отвечаю: перо поднялось и долго не опускалось. По крайней мере, до тех пор, пока Максим Каммерер, а вместе с ним и читатель, находился на территории миссии народа голованов по адресу: Канада, "застава на реке Телон". Река Телон и впрямь орошает Канаду, что до "заставы", то место ей только в устойчивом былинном сочетании: "застава богатырская". Сказанное подтверждаю:

"Щекн Итрч числился членом постоянной Миссии народа голованов на Земле, чем-то вроде переводчика-референта Миссии. Истинное же положение было неизвестно, ибо взаимоотношения внутри коллектива Миссии оставались для землян тайной за семью печатями. Судя по некоторым данным, Щекн возглавлял что-то вроде семейной ячейки, причем до сих пор не удалось разобраться ни в численности, ни в составе этой ячейки".

В современном русском языке слово "ячейка" прочно закреплено за выражением "партиячейка", в каковую без труда вписываются семейно-родовые идеалы народа голованов. Вольнонаемный сотрудник миссии, то есть гид-референт, осуществляющий весьма нерегулярную связь между людьми и голованами, так характеризует этот самобытнейший народ с его же слов: "Мы любознательны, но вовсе не любопытны"!.. Я, во всяком случае, вспомнила. Самое любопытное, однако, не эта косвенная цитата, а сам цитирующий, которого авторы именуют Александром Б., поскольку он, "со своим длинным лицом, тонкими загнутыми пушистыми ресницами был вылитый Александр Блок".

Именно А. Блок открывает М. Каммереру, выдающему себя за этнографа и фольклориста, что никакого фольклора у голованов нет, а то, что приобрело мировую известность под этим именем, — розыгрыш, шутка, пастиш, подделка, изготовленная, к тому же, явным англо-немецким "инородцем" и провокатором Лонгом Мюллером: "...у голованов нет фольклора, — говорит Александр Б., — это шутка. Шутник Лонг Мюллер выпустил книжонку на манер Оссиана, и все походили с ума. "О лохматые древа, тысячехвостовые, затаившие скорбные мысли свои в пушистых и теплых стволах! Тысячи тысяч хвостов у вас и ни одной головы!"

Итак, "Слово о полку Игореве" не просто спародировано, но даже подлинность его отрицается! Мысли — древо — пушистые хвосты... Трудно не распознать в этом злом шарже растекающуюся по древу мысль — пушистую белку и, одновременно, бесформенную, безответственную мысль ("растекаться мыслию по древу").

А как иначе может выглядеть русская "мысль" (она же "русская идея"), если про голованов прямо сказано, что они — безголовые?!..

И еще вопрос, но уже не риторический: при чем здесь Александр Блок? Или Стругацкие за что-то затаили на него в душе хамство? Быть того не может! Какой же русский еврей не любит певца "незнакомки", "Куликова поля", "Соловьинного сада", "Двенадцати", "Скифов"...? Стоп! В "Двенадцати"-то и "Скифах", помоему, и зарыта собака Щекн. Аполлонический гимн евразийству ("Скифы") и дионисийский дифирамб "скифской" революции, — вот идеологический счет, который предъявляют Стругацкие великому лирику с нескифски нежным длинным лицом.

А что такой же счет разгневанные братья предъявили не одному Блоку, но вообще "Серебряному веку" и его недалеким советским наследникам, — показывает фамилия другого специалиста по голованам: Серафимович Валерий Маркович. Про "Марковича" сказать нечего, Серафимович — это Серафимович, а Валерий, конечно, Брюсов.

*Доказательство:* в повести "Волны гасят ветер" один не второстепенный персонаж цитирует Брюсова: "Комов: "И тех, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном". Присутствующие помнят, конечно, что это финальные строки брюсовского стихотворения, которого начальные строки тоже все помнят: "Где

вы, грядущие гунны, что тучей повисли над миром?.. Слышу ваш топот чугунный..."

"Скифы" — "Гунны"... А в результате — "Железный поток", "Как закалялась сталь" и вообще — "Сталь и шлак"...

Теперь незаполненной осталась только одна клеточка: Канада. Почему голованы облюбовали Канаду? Оккупировали, как Чехословакию, что ли?.. Ничего подобного: фантастика в повести Стругацких не только не ночевала, но даже не гостила. Реальность, одна реальность приковала к себе их умы и сердца. А реальность распевает песенку: "Над Канадой небо сине. Меж берез — дожди косяе. Хоть похоже на Россию, только все же не Россия".

Не верите? Вот доказательство: "Казалось бы, — размышляет М. Каммерер, обозревая канадский пейзаж, — все, как дома, и все уже здесь знаешь, и все привычно и мило. Так нет же, обязательно рано или поздно наткнешься на что-нибудь, ни с чем не сообразное".

Словом, "хоть похоже на, — только все же не..."

Возвращаясь к России Брюсова и Блока, замечу, что вряд ли Стругацких потянуло на лоханкинскую тему — роль и вина русской интеллигенции в русской революции (хотя полностью исключить этот аспект не берусь). И роль, и вина обсуждается, но в другой катастрофе, о которой, повторяю, повесть и написана, — еврейской. Чтобы убедиться в этом, давайте присмотримся к членам Мирового Совета, решающего судьбу Странников (или их "подкидышей"). Горбовский, Август Иоганн Бадер, Кирилл Александров, Рудольф Сикорски, Махино Синода... Я могла бы рассказать много любопытного о каждом из них, но, по недостатку времени, остановлюсь на последнем — Махино Синода. Самое смешное, что Махино Синода — реальное лицо, японский кинорежиссер, и даже известный.

Но если отвлечься от происхождения и профессии, растворить и то, и другое в звуках, словах и формах русского языка, — то "Махино" напомнит слово "махровый", а "Синода" — родительный падеж от слова "синод". Вижу недоверие на лицах и спешу с доказательствами: из всех членов МС именно Махино Синода едва ли не самый непримиримый ненавистник Странников и "птенцов", и только он, этот изысканный кинояпонец, изъясняется почему-то на жутком языке советских газет: "Идеологическая бомба замедленного действия", — так называет Синода "подкидышей".

Но, — спрашивается, — какая связь между давно ликвидированным Святейшим Синодом и языком советской пропаганды? Увы! — на этот вопрос отвечает советская действительность 1980 года в лице гебиста Сикорского:

“Мы ошибаться не должны, мы не ученые. Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят, — если мы недооценим опасность. И если в нашем доме вдруг завоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флуктуациях. Мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами, и принять соответствующие меры вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах”.

...В повести Синявского “Суд идет” есть такой замечательный эпизод: полковник-кагебист выделки 50-х годов, встречая утро нашей родины у окна своего кабинета, что на Лубянке, думает про себя: “Победа будет за нами”, — а его внутренний голос повторяет то же самое, но другими словами: “С нами Бог”.

Похоже, что его преемник и воспитанник 80-х годов в том же месте, в то же время и в той же позе произносит: “С нами Бог”, — а его внутренний голос отзывается: “Победа будет за нами”.

Православно-возрожденная Россия с мистикой, суевериями, “производством святой воды в промышленных масштабах”, размышлениями о сере, Сатане и необходимости “окончательного решения еврейского вопроса”, — такой видят Стругацкие свою родину в 1978—1980 годах.

\* \* \*

Меня несколько не смутило обвинение строгих граждан в том, что я просто-напросто вписала в повесть Стругацких свою собственную повесть о Стругацких. Прошли времена, а значит безграмотно думать, что литература, — это когда о жизни, а критика, — это когда о литературе. Пора свыкнуться с новым миром, в котором литература, — это когда о литературе, а критика, — это когда об отсутствии литературы. К тому же Стругацкие так откровенно и самозабвенно обыгрывают литературу, что странно, если бы кто-нибудь не предложил им сыграть партию на нескольких текстах и в шесть рук.

И все же я (но только в данном случае!) отказываюсь от по-

четных званий литератора или критика, и по-прежнему оставляю за собой профессию и должность дешифровщика. Но и она подвела меня при первой же попытке пересказать фабулу продолжения "Жука..." — повести "Волны гасят ветер". Не потому, что она такая запутанная, а потому что ее нет.

Заметим сразу, что на главный сюжетный вопрос "Жука в муравейнике" — знал или не знал герой о своем агентурном задании? — новая повесть дает ответ самый неожиданный. Не было никакого задания, потому что и самих Странников нет! Странники — это фантом, результат неправильной установки, продукт земного сознания, которое мыслит в категориях черного и белого, своего и чужого, веры в то, что все несчастья — результат вражеской злой воли.

Но если обвинять некого, то что же тогда происходит в повести? А происходит то же самое, что и в "Жуке...": рапорты, отчеты, воспоминания, странные истории, таинственные происшествия. В конце концов все объясняется без всякого вмешательства Космоса. А просто: в результате усложнившегося характера эволюции человека и общества появилась группа людей, которые по своим физическим, психическим и интеллектуальным данным настолько же превосходят *homo sapiens*'а, насколько современный человек превосходит неандертальца. Эти сверхлюди, или "людены", как они названы в повести, — не враги человечества. Они просто другие. К человеку они относятся так же, как взрослый относится к ребенку. У "люден" — понятно, другие заботы и интересы, да и сама Земля их не интересует, даже жить они предпочитают в Космосе. Вот и все.

Вредить людям, головам, собакам, детям или, скажем, солдатам бундесвера "людены" не собираются не из добродетели, а из отсутствия интереса. Открытый Космос и высшая стадия существования Разума, — единственное, что их интересует. Стало быть, Леву Абалкина убили напрасно, и так же напрасно Мировой Совет кипятился насчет Странников. Только напрасно ли?.. Присмотримся все же к "люденам" повнимательней. Во-первых, что это за слово такое — "люден"? Сходу напоминает одно из самых комплиментарных определений человека: "*homo ludens*" — "человек играющий". Человека "люден" в себе, действительно, содержит, только не "латинского", а, так сказать, "русского": "людены" — от "люди", как объясняет некий Даня Логовенко, сам из "люден" и даже крупнейший специалист по их опозна-

нию и изучению. Он, впрочем, тут же добавляет, что недоброжелатели, так сказать, антилюдены, придумали злую шутку: будто "люден" — это анаграмма слова "нелюдь". (Вспомним, что именно "расой злобных нелюдей..." именуют в "Жуке..." виновников гибели планеты "Надежда", по всеобщему убеждению тех же Странников.)

Видно, Стругацкие все же не слишком доверяют сообразительности своих читателей, если подбросили слово "анаграмма", то есть намек на то, что слово "людены" можно прочесть как-то по-другому. Сейчас уже никто не поверит, но и без подсказки Стругацких я поняла, что так же, как в слове "нелюдь" одной буквы не хватало, так в слове "люден" одна буква лишняя — "л". Читать надо "юден". И тогда сразу все становится понятно.

Вчитываясь в фантазмагорические нагромождения событий последней повести, мы обнаруживаем такие, к примеру, сообщения:

"Случаи внезапных и совершенно необъяснимых *исчезновений* людей в *семидесятых-восьмидесятых годах...*"

"Эпидемия *отказов*, то вспыхивая, то угасая, *продолжалась до 85-го года...*"

"Никто не мог объяснить ни явления цепи *отказов*, ни географических особенностей явления..."

"Представьте себе, сам факт принятия *поправки* вполне мог сыграть решающую роль в прекращении эпидемии *отказов...*"

"Массовый сторонник *поправки* ("*отказчицы*", их мужья и родственники, друзья, сочувствующие, лица, *примкнувшие к движению по религиозным или философским соображениям*) никогда не был по-настоящему массовым..."

Независимо от того, к какому из поворотов сюжета относится данная информация, она — собранная воедино — дает однозначное представление, о чем, собственно, идет речь. Речь идет о еврейской эмиграции. Псевдоним эмиграции — "внезапные и необъяснимые исчезновения в 70-е—80-е годы". Ключевые слова — это "отказ" и "поправка": *отказ* в выдаче разрешения на выезд и *поправка* сенатора Джексона. При этом авторы отмечают, что массовая эмиграция на самом деле не носит массового характера.

Для читателя, уяснившего себе тему повести, самым интересным оказывается, однако, не сама по себе тема, а отношение к ней авторов. Отношение же это двоякое: к тем, кто уехал, и к тем, кто остался.



Вся ситуация, говоря словами повести, "выглядит так, будто человечество распадается на два вида". Разумеется, говоря о "человечестве", Стругацкие имеют в виду лишь русско-советское общество. Поэтому фразу о том, что "90 процентов люденев совершенно не интересуются судьбами человечества", нужно понимать, как равнодушие 90 процентов уехавших к оставленной родине. Что же касается остающихся, то им, по утверждению Стругацких, "никуда не деться от ощущения унижения при мысли, что один из них ушел далеко за предел, непреодолимый для ста тысяч". Но и этому одному в свою очередь, если только он не принадлежит к 90 процентам равнодушных, "никуда не уйти от чувства вины. И самое страшное, что трещина проходит через семью, через дружбы"...

Но, быть может, Стругацкие только используют очевидные признаки и приметы актуальной ситуации ("еврейский вопрос" в России и эмиграция как его решение), чтобы выразить нечто свое, сокровенное, научно-фантастическое?.. Проблему сверх-Разума, сверх-Сознания, например, и именно эту проблему моделируют необычной судьбой еврейства вообще и русского — в частности?

Непохоже: еврейская тема тотальна в обеих повестях. В "Волнах...", как обычно для Стругацких, ключ к ней — цитата. Герой повести, оказавшийся "люденом" не по собственному желанию и к собственному удивлению, приходит к своему начальнику, уже знакомому нам и постаревшему М. Каммереру, и жалуется ему: "Я не хочу, я не хочу быть сверхчеловеком! Я не хочу быть люденем! Превращение в людена — это моя смерть... Я стану спесивым, самодовольным, самоуверенным типом, вдобавок, еще и вечным, наверно". Так и хочется прибавить: "...Жидом". И точно: Каммерер его утешает: "Что ты так раскричался, словно к тебе уже, "ухмыляясь, приближаются с ножами"? Ведь в конце концов все в твоих руках. Не захочешь — и все останется по-прежнему".

Великодушный Каммерер пропустил только одно слово, в целом цитата выглядит так: "Так противника прельщает/*Раби сладкими словами, /и еврей, ухмыляясь, /приближаются с ножами*". Генрих Гейне, "Диспут".

Итак, если "Жук в муравейнике" — это предупреждение, то "Волны гасят ветер" — это объяснение. Объяснение того, почему, несмотря на происшедшее в "Жуке..." многие евреи (и авторы) в том числе) не едут: они не едут по моральным соображениям.

Тем не менее остающиеся героически несут бремя национального величия: ведь "людены" — сверхлюди, сверхчеловеки! В массовой психологии остального человечества они создают комплекс неполноценности, последствия которого готовы принять, только бы не расставаться с родным (-и) и близким (-и). "Самые несчастные из нас — те, что не могут оторвать себя от родных и любимых", — говорит Даня Логовенко. Кстати, несмотря на фамилию, он все-таки "люден". Украинское же окончание фамилии вызвано вовсе не тем, что он выпускник Киевского университета, а стихотворением Гумилева, посвященном Анне Ахматовой (Аня—Даня): "Из города Киева, из логова змиева я взял не жену, а колдунью..." (Логово—Логовенко). Киев же, стараниями Гоголя и Булгакова, давно стал заколдованным местом русской литературы. Не случайно инопланетный колдун — прямо из Гоголя, а таинственные стругацкие "крабораки" неотличимы от домашней булгаковской осетрины: "Крабораки бывают только одной свежести, а именно — первой". Сравним: "Осетрина бывает только одной свежести, она же первая".

Такими милыми литературными играми повесть переполнена, но все они перекрываются одной большой игрой, — той, которую ведут авторы с нами, их уехавшими братьями по разуму и по крови.

Напоследок скажу: а все-таки жаль, если последние повести Стругацких постигнет такая же горькая участь, как "Двадцать тысяч миль под водой" после изобретения подводной лодки, "Робура-завоевателя" — после изобретения самолета; космические полеты и "спутники" погубили "Из пушки на луну", эра телевидения — "Замок в Карпатах" и т. д.

Три сокрушительных изобретения угрожают сегодня Стругацким: гласность, ускорение, перестройка. Всего два года прошло со времени публикации "Волн...", а уже "антилюдены" стройными сплоченными рядами выходят на демонстрации и на своих митингах оповещают *urbis* (Москву) и *orbis* (Московскую область), что людены — юдены спаивают народ голованов с помощью повсеместного распространения и употребления кефира. Боюсь, что у "Памяти" действительно хорошая память, и что без Стругацких тут не обошлось: помните, как персонажи "Улитки на склоне" накачиваются кефиром?!..

Словом, не избежать бы Стругацким судьбы Жюль Верна, будь они действительно научными фантастами. Но Стругацкие — не

фантасты, они — бытописатели. Просто страна, быт которой они описывают, — это Солярис, изготавливающий в промышленных масштабах “фантомы” где-то и когда-то существовавших или существующих реальностей — от демократии до жанра НФ включительно. Как всякий Солярис, багровая страна Стругацких представляет собой обитаемый остров и, как это бывает со случайно попавшими на остров очарованными странниками, Стругацкие оповестили о своем местонахождении и об увиденных на острове чудесах, бросив в открытый Космос запечатанные шифром бутылки-повести. В одной — призыв о помощи (SOS!), в другой — скорее, просьба оставить в покое. Конечно, “Волны”, которые “гасят ветер”, — это и предупреждение охотникам на ведьм и Странников: “Посеешь ветер, — пожнешь бурю”. И намек на еврейского Бога, который духом и ветром носился над водой и волной. Но это и обращение к бывшим соотечественникам и соплеменникам, еще не утратившим память и вкус к советским анекдотам: “Не гони волну...”

В июне-сентябре журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: О. Горнштейн (Бат-Ям) — 20 шек., Э. Гинзбург (Беэр-Шева) — 25 шек., С. Каминская (Иерусалим) — 20 шек., Н. Кроль (Ришон Лецион) — 30 шек., А. Коган (Петах-Тиква) — 25 шек., Л. Наткович (Нацерет-Илит) — 60 шек., доктор А. Сегал (Тель-Авив) — 10 шек., Л. Шенкер (Кирон) — 10 шек., Г. Фридман (Гиват-Нешер) — 10 шек., доктор Н. Ярон (Тель-Авив) — 15 шек., Б. Блехман (США) — 10 долл., Т. Бешер (США) — 25 долл., М. Фильштинский (США) — 10 долл. Выражаем искреннюю признательность этим верным друзьям журнала. Обращаемся ко всем читателям с просьбой и впредь поддерживать журнал по мере возможности. Все, даже самые скромные, пожертвования будут приняты с глубокой благодарностью.

Редколлегия

## ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Как-то заговорили в компании “новых американцев” о России, вернее о том сложном комплексе, который можно было бы назвать “чувством России”. Стаж внероссийской жизни у всех был уже немалый, мои “почти семь” были в этой группе самыми молодыми, хотя я и был самым старым. Слабее ли в нас это чувство по мере дальнейшего углубления в американское пространство жизни, да и вообще — живо ли оно еще?

Как всегда бывает в интеллигентских сборищах, где каждый старается поскорее “захватить площадку” и не очень-то слушает соседа, тема эта вскоре была перебита чем-то то ли более злободневным, то ли более философским; выпрыгнув на мгновение из кучи идей, она тут же нырнула обратно.

Возвращаясь с вечеринки, привычно разгоняя машину вдоль многоводного — на грани выхода из берегов — весеннего Потомака, тормозя на красный свет у подсвеченных колоннад Памятника Линкольну и возле золотых крылатых коней, подаренных Итальянской республикой Соединенным Штатам Америки, поворачивая вдоль излучины реки, за которой сразу появлялись огоньки изящных

*Василий Аксенов*

### ЧУВСТВО РОССИИ

(Из “Радиодневника писателя”)

© В. Аксенова

строений Джорджтауна и высоких домов правого берега, я стал думать на эту тему в одиночестве.

Помню ли я свою родину? Задавая себе такой вопрос, конечно, думаешь не о топографии: уж как-нибудь не заблудишься ни в Москве, ни в Казани, ни в Питере, ни в Магадане. Помню ли я цвета России?

“Я покинул родимый дом  
Голубую оставил Русь...”

так писал Есенин.

Мне не удастся окрасить все в один, столь идиллический тон, а перетряхивание разноцветных осколков создает впечатление бездонного калейдоскопа. Реальная ли даль, фальшивая ли близость?

Помню ли я запахи России? В прежние времена, когда иностранцы говорили, что им докучают в России какие-то специфические запахи, я чувствовал себя даже в чем-то задетым. Какие еще к чертям специфические запахи? Типичная для русских подозрительность в отношении иностранцев вступала в силу: это они все нарочно, чтобы час унизить. Поселившись в Америке, мы тоже, однако, сначала ощущали какие-то “специфические запахи”, которые вошли потом в “наш букет”. Вернись я сейчас в Россию, буду ли чувствовать этот “запах отчуждения”?

Помню ли я ноту России? Ту, что не восполнишь кассетами с Брайтон Бич? Иными словами, “торчу” ли я еще на России, еще более иными словами — вдохновляюсь ли еще Россией? Грубо говоря, русский ли я?

Мой дом стоит на крохотной улочке, названной в честь генерала Лингана, участника войны за Независимость, который в ходе следующей антибританской войны 1812 года почему-то стал выпускать пробританскую газету в Филадельфии. Улочка эта является ответвлением бульвара МакАртура, победителя Японии. Под нашим холмом проходит старинный канал, соединяющий залив Часапик и реку Охайо, когда-то по нему мулы тянули баржи, из них осталась только одна — для туристов в Джорджтауне. За каналом сквозь неразбериху ветвей блестит Потомак, он же предок всей этой зоны. Наш горизонт в основном состоит из куп огромных деревьев, над которыми каждые несколько минут появляются курсом на аэропорт Нэшнл самолеты из глубин Америки. Порядочная среда, не правда ли? Она является родиной наше-

го соседа, старого "англо" (так здесь называют американцев английского и шотландского происхождения), который отказывается продавать свой сад для строительства богатых кондоминиумов, а, напротив, все время стрижет в нем газоны, сажает цветы и кормит ночующих на его пруду перелетных уток. По всей вероятности у него нет проблем с понятием родина.

У других моих соседей эта проблема, очевидно, в той или иной степени существует. Среди жильцов нашего квадрата "таунхаузов", то есть трехэтажных квартир с отдельными входами и крошечными двориками, есть и итальянцы, и аргентинцы, и арабы, и иранцы. Прибавьте сюда вашего покорного слугу, прибавьте также нескольких "англов", и вы получите вполне типичную среду вашингтонской, да и вообще американской, жилой структуры.

Чтобы еще более усилить фундамент, на котором я хочу построить свою мысль, я сейчас познакомлю вас, господа, с группой молодых писателей, которая приходит на мой семинар по современной русской литературе в университете "Джонс Хопкинс".

Алан Паркер (англо), Джон Ким (кореец), Хитер Холей (англо), Роберт Ли (англо), Дэвид Херцог (еврей), Пол Сафалу (настаивает, чтобы его считали сицилийцем, а не просто итальянцем), Джо Александр Джуниер (черный с Карибских островов), Нэнси Джонсон (англо), Берни Керби (ирландец), Айно Эттингер (эстонка), Анита Ванка (итальянка), Дэнис Таньял (французенка), Цветан Бачваров (болгарин), Норма Мендоза-Дентон (мексиканка), Джанг Чанг (китаец), Дэвид Чарлз (англо), Брайан Го (китаец), Джонгсу Парк (кореец) ...

Все эти молодые люди являются американскими студентами, иные из них являются американскими гражданами, иные просто жителями этой страны, именуемыми страшным для советского уха словом "резидент", а все вместе они представляют типичную среду не только студенческого кампуса, но и страны в целом.

Вот то, что дает мне здесь ощущение подлинного дома, то есть роднит меня с Америкой — ее многонациональность и многоэтничность. В английском языке кроме слов "фазерлэнд" (отечество) и "мазерлэнд" (родина) есть еще слово "хоумлэнд", то есть страна твоего дома. Привыкнув к многоцветности нашей среды, мы уже будем чувствовать себя не очень-то уютно в более

гомогенных странах, скажем в Японии. В Соединенных Штатах возникает ощущение “домаземлян”.

С другой стороны это чувство “американского дома” постоянно ставит перед тобой вопрос национальной идентификации. Понятно, что находясь в многоэтнической среде, я не кажусь никому из моих соседей или моих студентов чем-то из ряда вон выходящим, какой-то “белой вороной”, какой я был бы, скажем, в Японии, Кении или в Норвегии, или даже в провинциальной Франции. Стало быть, я все больше и больше вхожу в типичную американскую жизнь и становлюсь все меньше русским?

Казалось бы логично, к большой радости для догматиков Агитпропа, что вопят об обрубленных корнях и предательстве родины. Все, однако, не так-то просто, как им хотелось бы. Находясь в этом этническом хороводе, ты становишься волей-неволей представителем твоей корневой культуры, ты представляешь здесь свою Россию не только для окружающих, но и для самого себя, так что иногда ты даже спрашиваешь себя — не стал ли я здесь большим русским, чем был там?

Здравствуйте, господа радиослушатели!

Утрачиваю ли я связи с Россией или становлюсь еще более русским после “почти семи” лет изгнания? — вот те мысли, с которыми я осмелился выйти к вам прошлый раз. Прошу вас, не примите это за навязывание моих личных проблем в трансконтинентальном порядке, эти мысли достаточно характерны для многих, особенно для так называемых “деятелей культуры”, и хотя у каждого, наверное, найдется свой ответ, мой ответ все-таки является частью чего-то общего.

С годами мне становится все понятнее и ближе жизнь старой русской эмиграции, ее литературная русско-космополитическая среда. Вдруг начинаешь понимать полную естественность ее существования. Особенно это почему-то чувствуется у Набокова; и в “Даре”, и в “Весне в Фиалте”, и в сборнике рассказов берлинского периода, который я совсем недавно прочел в английском переводе. Естественность, правомочность и некоторая гордая, хоть и ненавязчивая стойкость российской интеллигентной среды позволяла думать о существовании страны или какой-то части страны, далеко не самой худшей, за пределами географических и политических границ.

Никаких всхлипываний по березкам в атмосфере не наблюдалось, они переезжали из Варшавы в Марокко как будто из Киева

в Краснодар, поэты кучковались в Париже, чтобы создать свою "парижскую ноту", потом устремились за океан и рассыпались по университетским кампусам, являлись новенькие из Харбина и Шанхая, смельчаки бросались на штурм Голливуда и кое-кому даже удавалось одолеть его дикие орды, а между тем возникали волшебные балеты, расцветчивались холсты, зрели философские школы, а также проходили свадьбы, разводы, переезды, любовные истории, покупки недвижимости...

Дело не в том, много или мало они создали, может быть на родине они создали бы больше, дело в том, что их жизнь была русской и естественной русской, хотя она все более и более не походила на жизнь оставленной родины. Раньше они, даже при всем огромном внимании к ним и уважении, казались мне какими-то реликтами, отжившей расой, отсталым племенем, теперь, когда я и сам уже все больше и больше приближаюсь к их позиции в мире, я начинаю видеть это по-другому и мне даже иногда кажется, что их "чувство России" было шире, чем наше, несмотря на то, что вокруг нас как бы кипела реальная русская жизнь со всеми ее гулагами, блатами, стукачеством, колымами и т. п.

Вместе с тем советская жизнь уходит от меня очень быстро на самое дно калейдоскопа, вот от этого, если угодно, сегодняшнего дня я и в самом деле становлюсь все дальше. Порой мне кажется, что не "почти семь", а "почти семнадцать" лет уже прошло, такой далекой и застывшей кажется сейчас вся параферналия советской жизни.

Даже вот нынешняя кампания в печати против десяти авторов письма о противоречиях гласности, постыдно развязанная на фоне уханья о демократизации и перестройке. Лежит у меня на столе ворох статей, в которых направо и налево склоняется мое имя с безобразно пристегнутыми эпитетами, в сочетании с обыкновенной грязной стукаческой ложью; казалось бы я должен возмущаться, клокотать и клекотать, но не клокочется и не клекочется — все это оттуда, из неимоверного далека, из советской жизни. Да, к сожалению, из сегодняшнего дня, но день этот длится, увы, столько уж десятилетий без всяких изменений, и потому наверное он так же далек, как барщина.

Как-то заехал визитер оттуда, бывший товарищ, сидим, разговариваем и вдруг он замечает с нехорошей улыбкой: "Ах, вот ты как о нас стал говорить, "советскими" называешь..." Я вдруг поймал себя на мысли, что слово "советские", которое я употребил



автоматически, даже и к нему не относилось, потому что он все-таки сидел передо мной во плоти, вытянув ноги в добротных штанах и туфлях, а те были каким-то как бы застарелым мифом, столь же недостоверным, сколь учебник истории партии, по которому в незапамятные годы держали экзамен.

Приблизительно так же дело обстоит с понятием "родина", в пренебрежении которой меня сейчас обвиняют советские журналисты. Я подумал о том, что если хоть на миг я приму и х концепцию этого понятия, я вынужден буду сказать, что моя родина груба, коварна, лжива, что я от нее не видел ничего, кроме унижений, оскорблений и угроз. А между тем к родине, к какой-то другой, то ли умозрительной, то ли единственно реальной родине, остались еще и видно всегда пребудут чувства нежные и живые. Чаще всего о них и не помнишь в своем новом доме, но вдруг они приходят, всегда неожиданно, когда на концерте в Центре Кеннеди Митька Шостакович под взмахом палочки отца тронет клавиши и снимет с них первые аккорды фортепианного концерта деда, или когда вдруг на университетском семинаре разбежишься по книге Мандельштама и споткнешься на станце...

И я в хожу в стеклянный лес вокзала,  
Скрипичный строй в смятении и слезах.  
Ночного хора дикое начало,  
И запах роз в гниющих парниках,  
Где под стеклянным небом ночевала  
Родная тень в кочующих толпах...

Именно в качестве представителя этой России я профессорствую в американских университетах, и оттого образ ее нетронутой свободы становится мне все ближе.

Таковы превратности судьбы. Оказалось, что мне надо было уехать, чтобы перечитать, а потом разобрать на семинаре с мерилендскими студентами всего Гоголя и всего Достоевского, или всю гениальную кучу поэтов Серебряного века. Именно в Америке у меня возникло незнакомое прежде ощущение близости к российскому девятнадцатому веку. Катя после семинаров из Балтимора в Вашингтон в потоке машин мимо международного аэропорта, мимо ипподрома Лорел и Форта Миид, мимо космического центра Годар, я думаю о Пушкине и Мандельштаме, о Набокове и Гоголе, о Чернышевском и Достоевском, об Ахмадуллиной, Битове, Искандере, Катаеве, Трифонове, Соколове... Все это

представляется мне теперь одним куском "нашего времени", куском современной российской жизни в двухвековом масштабе, в принципе очень непродолжительным еще куском, несмотря на то, что столько было изобретено за это время и столько всякого случилось, вплоть до переноса части России в столь непостижимые заокеанские края.

Я почти не сомневаюсь, что Россия существует и в Америке и это относится не только к физическому существованию нашей этнической группы. Эта "американская Россия" разумеется не совпадает с советской версией, но не исключено, что она ближе к астральному телу и душе.

## ZESZYTY LITERACKIE

Nr 20 (JESIEŃ 1987)

W numerze 20 (JESIEŃ 1987): **PROZA I POEZJA:** CZESŁAW MIŁOŚZ, Metafizyczna pauza; NELLY SACHS, Wiersze; ADAM ZAGAJEWSKI, Wiersze; TOMAS TRANSTRÖMER, Wiersze; JAN POLKOWSKI, Nowe wiersze; EWA KURYLUK, Z myślą o ojcu; JAN RINGLER, Wiersze. **EUROPA ŚRODKA:** BARBARA TORUŃCZYK, O królach i duchach. Z opowieści wschodnioeuropejskich. **LISTY Z PARYŻA:** WOJCIECH KARPIŃSKI, Mapy Czesława Miłosza. **ŚWIADECTWA:** WOJCIECH KARPIŃSKI, Listy Jerzego Stempowskiego; JERZY STEMPOWSKI, Listy do Józefa Czapskiego; HANNAH ARENDT — KARL JASPERS, Listowna rozmowa. **PREZENTACJE:** JAN KOTT, Gilgamesz albo śmiertelność. **SPOJRZENIA:** MIRCEA ELIADE, Brancusi i mitologie. **O KSIĄŻKACH:** SEAMUS HEANEY, Atlas cywilizacji; JAN KOTT, Żmut — jaka to forma?, TOMAS VENCLOVA, Rok 1984 minął. **NOTATKI. NOWE PUBLIKACJE. NOTY O AUTORACH. SOMMAIRE.**

Numer 20 *Zeszytów Literackich* ukazał się w październiku 1987.  
Do nabycia w redakcji (CAHIERS LITTERAIRES, 44, rue Tiquetonne  
75002 PARIS).

Cena pojedynczego egzemplarza wraz z przesyłką 50 FF  
(7,50 \$US); pocztą lotniczą 56 FF (8,5 \$US).  
Prenumerata roczna — 170 FF (25 \$US); pocztą lotniczą 210 FF  
(30,00 \$US).

## ЛЮДИ И КНИГИ

*Рафаил Блехман*

### ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ ОБ АНТИСИОНИЗМЕ...

Если издание называется "Евреи и еврейская тематика в советских и восточноевропейских публикациях", да еще снабжено подзаголовком "Бюллетень центра по исследованию восточноевропейского еврейства", то можно смело сказать, что репатрианты из СССР в Израиле вряд ли им пылко заинтересуются. И напрасно. Никто ведь не предложит журналу "Вопросы философии", к примеру, переименоваться, скажем, в "Прогулки с философами", дабы привлечь побольше читателей; было бы интересно содержание, а заголовок простят. Так и здесь: назовем издание просто "Бюллетень" и сразу скажем, что он заслуживает большего внимания широкого читателя, чем имеет сейчас, и одна из целей данной рецензии как раз состоит в доказательстве этого тезиса.

Каждый номер "Бюллетеня" (а их вышло пять, хотя в редакцию к нам пока поступили только четыре) содержит 40–60 страниц, поделенных, не вполне равномерно, между статьями, рецензиями и документами. Читая номер за номером, наталкиваешься на одни и те же имена (что неудивительно, учитывая, что это издание определенной научной группы) и постепенно начинаешь узнавать, кто составляет "Центр по изучению..." Чаше других в "Бюллетене" появляются его редактор М. Цигельман-Дымерская, М. Каганская, М. Хейфец, М. Кипнис и доктор Айзенштат (для разнообразия с другим инициалом — Я.) Вклад доктора Я. Айзенштата особенно замечателен: он сопровождает юридическим комментарием советские законы и постановления, и читать этот толковый и умный комментарий — просто наслаждение; он свободен от въедливой "антисоветчины" и в то же время убедительно показывает, каким противоречивым и послушным властям до сих пор остается советское законодательство.

Библиографические заметки и рецензии М. Кипниса замечательны по своему: он, например, проделал огромный труд по исчислению всех антииудаистских и антисоциалистских публикаций, вышедших на Украине за последнюю четверть века (с 1960 года), и установил, что всего "названий" было 149, стремительный рост их числа начинается с 1967 года, а последний пик пришелся на 1982 год, когда в советской верхушке шла борьба за наследие еще живого Брежнева; жаль, в сводке отсутствуют данные за самые последние годы, но вывод все равно знаменателен — Украина стала своего рода испытательным полигоном для такого рода литературы.

Казалось бы, что еще можно сказать плохого о еврействе, иудаизме и сионизме после 149-ти уже выпущенных (только на Украине!) книг и брошюр, где авторы уже вроде бы перебрали все мыслимое и немислимое по данному вопросу? Ан нет, книги продолжают выходить, свидетельством чему — очень интересный раздел рецензий "Бюллетеня", где можно про-

честь о новых "пособиях", "сборниках", "монографиях" и даже "романах", посвященных разоблачению нашей с вами зловещей роли в истории человечества. Если вдуматься, эта паранойя даже немного пугает: только в нацистской Германии были так же одержимы борьбой с "еврейским врагом". И поскольку в основу всей этой литературы положены две-три ложные аксиомы, то естественно ее развитие неизбежно должно идти по пути э с к а л а ц и л ж и; вся "оригинальность" такого рода публикаций состоит в том, что каждая следующая книга обязательно должна переплюнуть предыдущую. Если в романе В. Зуева "Амплитуда" сказано, например, что евреи в Израиле — это "перегной буржуазной нации" (совершенно непонятно, кстати, какой — нееврейской, что ли?), то уже в книге В. Тарасова "Посиди на камне у дороги..." обряд обрезания называется "бармицво", а у Когана и Табачникова, авторов "Отравленного оружия", утверждается, что с 1978 года от руки палестинских террористов погибло всего шесть человек!

Не стоит улыбаться. Пока вы улыбаетесь, думаете о другом, ходите на работу, нянчите детей и все такое прочее, поток этой литературы не ослабевает ни на минуту, он льется в сознание неслышным чудовищным дождем, отравляет и развращает души, и если хотите — он жуток именно этой параноидальной непрерывностью; я прикинул — по данным того же "Бюллетеня" — что не проходит н е д е л и , чтобы в СССР не появилась новая антисионистская, а в действительности — антиеврейская, антисемитская публикация! Каждую неделю, с регулярностью религиозного ритуала, там должны очередной раз заклясть Дьявола.

Естественно, возникает вопрос — почему? Понятно, политика в данном случае командует идеологией; послушность советской идеологической машины печально знаменита: я уверен, что если завтра поступит приказ в о с х в а л я т ь Израиль и евреев, появится не менее мощный поток литературы обратного знака. Но продажностью, душевной коррумпированностью идеологических чиновников все не объяснить: даже на фоне этой пантагрюзлевской желтой струи выделяются публикации, написанные со сладострастной л и ч н о й заинтересованностью — вроде тех же Корнеевых, Бегунов, Емельяновых, Романенко, Евсеевых и иже с ними. И э т о т пласт антисионистской литературы свидетельствует уже о нетривиальном факте: в недрах советского общества возникли достаточно мощные силы искренних — не по заказу — зоологических юдофобов, которые самому Гитлеру нос утрут. Эти силы крайнего русского шовинизма особенно активизировались сейчас, в эпоху "гласности", и изучение их составляет главную задачу Центра, издающего "Бюллетень", как это видно по его главному разделу — статьям.

В сущности, статей этих пока всего три (в опубликованных номерах "Бюллетеня"), но каждая по-своему необычайно интересна. В первом номере Михаил Хейфец анализирует издания серии ЖЗЛ, захваченной пресловутой "партией руситов" (той разновидностью шовинистов, которую он именует "национал-государственниками"), и показывает, как от книги к книге в серии постепенно нарастает антисемитская тенденция, цель которой, по мнению автора, — завоевать симпатии партийного аппарата, для которого юдофобство стало частью "партийной традиции". Самое любо-

пытное в статье М. Хейфеца — не столько примеры, сколько общий вывод: антисемитизм этой группы направлен не только против евреев, но и, не в последнюю очередь, против своих конкурентов в том же “руситском лагере” — солженицынцев с их умеренным национализмом. В то время, как Солженицын считает, что Россия вплоть до революции развивалась по европейскому пути, “национал-государственники” утверждают, что “буржуазная зараза” разъедала страну уже с 1812 года и главным ее носителем были инонациональные, прежде всего — еврейские элементы, тогда как революция означала пробуждение народа от власти “ротшильдовщины”. Иными словами, “национал-государственники” приемлют Октябрь, надеясь на этом пути сомкнуть ряды с властью и предложить ей новую идеологию взамен обанкротившейся.

Уже по статье М. Хейфеца видно направление мысли сотрудников Центра. Еще яснее очерчено оно в статье М. Дымерской, посвященной, казалось бы, неблагоприятному и скучному вопросу — анализу Л. Корнеева “как феномена советского антисемитизма 70-х годов”. Ну, что, в самом деле, можно сказать специфического об одном отдельно взятом антисемите, чем он так уж отличается от другого? Оказывается, можно, оказывается — отличается. Шаг за шагом в своей обстоятельной статье М. Дымерская показывает, как от автора к автору, от одной антиссионистской публикации к другой складывается и развивается советская концепция антисемитизма. О да, тут есть концепция, и не стоит преуменьшать ее значения.

Поначалу критика сионизма шла с чисто классовых позиций; затем Ю. Иванов обогатил ее утверждением о родстве сионизма с фашизмом, каковое родство обусловлено якобы самой “сущностью” еврейства и его религии — иными словами, тут уже начинается расистское обоснование антисемитизма, для чего на помощь привлекается работа К. Маркса “К еврейскому вопросу”; строится извращенная “история” еврейского народа, развивается идея всемирного “еврейского заговора”, формой и орудием которого сегодня стал “сионизм” и таким образом борьба с сионизмом (а в сущности антисемитизм) легитимизируется в освященных марксизмом терминах. Роль Корнеева в развитии этой концепции, говорит М. Дымерская, состоит в том, что он одним из первых стал писать о вредоносной роли евреев в русской истории (а также одним из первых в подкрепление всей “концепции” стал использовать нацистские аргументы и черносотенные фальшивки). При этом Корнеев выводит на уровень Политиздата все три версии, “объясняющие” выдуманную шовинистами “руссофобию сионистов”: русско-православную, по которой евреи ненавидят русский народ как “народ-богоносец”; русско-коммунистическую, по которой они ненавидят его как “лидера лагеря социализма и прогресса”; и русско-цивилизаторскую, по которой ненависть эта — экзистенциальна, ибо отдаленные предки русских якобы заложили — тысячелетия назад! — основы цивилизации, противостоявшей ущербной иудео-христианской цивилизации. Эта последняя выдумка русских шовинистов до работ Корнеева еще не привлекалась на вооружение официальной концепции антисемитизма, и тут Корнеев явно играет роль проводника соответствующих идей в официальную идеологию. Так складывается совершенно но-

в ы й , непохожий даже на нацистский прообраз, феномен советского антисемитизма 70-х–80-х годов, вобравший в себя не только идеи и структурные элементы черносотенной и нацистской доктрин, но и добавивший к ним новые изобретения просоветского и антисоветского русского национализма.

И тут самый раз обратиться к наиболее яркой и значительной (если избегать слова “сенсационной”) статье “Бюллетеня” — публикации Майи Каганской “Влесова книга”: история одной фальшивки”, ибо она посвящена именно этим упомянутым выше “изобретениям” новейшего русского национализма, которые сегодня получают широчайшее хождение в определенных кругах русской интеллигенции в СССР и за их пределами. Несомненная заслуга М. Каганской — в том, что она, собрав большой материал, до того рассеянный и потому как бы незамечаемый, впервые показала, как и на чем строится идеология русского националистического н е о н а ц и з м а вообще — ибо после прочтения ее статьи не остается сомнений, что в России сегодня вырабатывается расистская идеология, весьма сходная с идеологией “Мифа XX века” (не случайно М. Каганская называет ее “Мифом XXI века”). Тут уже роли меняются: антисемитизм, который был осевым стимулом к созданию этой идеологии, в свою очередь стал ее составной частью, а сама она вышла далеко за пределы только антисемитизма, претендуя на роль в с е о х в а т ы в а ю щ е й и с т о р и ч е с к о й с х е м ы глобального значения.

Итак, “Влесова книга”. В сущности, это неумелая фальшивка (происхождение которой загадочно, а существование сомнительно), с недавних пор поднятая на щит советскими “популяризаторами” и “доказывающая”, что цивилизация “славяно-русов” якобы насчитывает уже тысячелетия и все это время противостоит — в борьбе за душу человечества — цивилизации семитской. Не буду пересказывать пикантные подробности этой теории, — о них лучше и интереснее сказано в самой статье; здесь гораздо важнее отметить ее общий вывод: за шумихой вокруг “Влесовой книги” в СССР выявляется сильное, разветвленное общественное течение переносчиков нацистского расизма на русскую почву.

Статью М. Каганской сопровождает столь же уникальная аннотированная библиография советской литературы (в особенности “научно-фантастической”), в которой проводятся основные идеи новой расистской концепции мировой истории. Библиографию эту составил неизменный соавтор М. Каганской блестящий текстовец Зеев Бар-Селла.

Статья М. Каганской была заслуженно воспринята и в Израиле, и за рубежом как одно из самых глубоких открытий в с е р ь е з н о й советологии последних лет. Я бы назвал ее, скорее, вкладом в к у л ь т у р о л о г и ю , ибо мы несомненно имеем здесь дело с анализом глубинной эволюции, важнейших сдвигов русской (и шире — европейской) культуры нашего века.

Так, от “скучного” вопроса об антисиионизме сотрудники Центра переходят к проблемам широким, общим и глубоко злободневным. Как говорил А. Чехов, неважно, о чем писать — можно и о пепельнице. Нужно быть Чеховым, добавим...

Для заключения у меня есть еще одна мысль, к которой я пришел, читая

“Бюллетень”, а затем присутствуя на конференции по антисоциализму, организованной Центром (см. отчет о ней в предыдущем номере “22”). Мысль эта состоит в том, что неприметно, исподволь в Иерусалимском университете, в “Центре исследования... и т. д.” возникла, сложилась особая — и незаурядная — школа исследования советского общества. Антисоциализм и антисемитизм являются для нее лишь окошком для наблюдения; текстологический анализ — общим инструментом, объединяющим всех авторов, но выводы — куда шире и окошка, и инструмента: они ведут к гораздо более глубокому пониманию процессов русской общественной мысли (в том числе и мысли официальной), чем тонны так называемых “социологических” публикаций, посвященных ... ладно, оставим.

Заслуга создания этой новой школы, несомненно, принадлежит профессору Шмуэлю Эттингеру (автору “Краткой истории еврейского народа”, столь популярной среди русских читателей): это он создал некогда Центр и терпеливо, бережно, с широтой, свойственной подлинному ученому, выращивал свои будущие “кадры”. Сегодня он — и мы — свидетели результатов этих многолетних усилий.

Так что вы еще хотели узнать об антисоциализме, но боялись спросить?

*Шмуэль Шницер*

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ СТОЙКОСТИ

Десятый выпуск серии “Еврейство Советского Союза” (“Еврейская интеллигенция из СССР”), под редакцией Давида Притала, вышел в дни ожидания. Возможность перемен в советской эмиграционной политике сегодня реальна, как никогда. Тем не менее надежды по-прежнему чередуются с разочарованиями, и множество людей занято гаданиями. В действительности мы по-видимому находимся в самом начале длительного процесса. И сборник “Еврейская интеллигенция из СССР” отражает эту неопределенность.

Авторы сборника окидывают взглядом прошлое и обдумывают историю своей борьбы. Они смотрят вперед и пытаются понять советского сфинкса — что составляет его движущие мотивы и как можно на него повлиять. Они задаются вопросом — какие шаги может предпринять Израиль, чтобы покончить с явлением неширы, которое превратило борьбу за репатриацию в борьбу за право сменить социалистический галут на капиталистический? Ведь даже при той ничтожной эмиграции, которая была в последние годы, три четверти советских евреев поворачивали в Америку и другие западные страны, и лишь считанные единицы выбирали алию. Как объяснить израильтянам, что они должны бороться за возможность выезда евреев СССР в Соединенные Штаты?

Это — одна из проблем, сопровождающих нынешнюю деятельность еврейских активистов в СССР. Другая проблема связана с осознанием того, что судьбы советского еврейства зависят, в сущности, прежде всего от соперничества сверхдержав. Грубо говоря, эмиграция растет, когда есть детант, и ее нет, когда отношения между сверхдержавами обостряются. Суще-

ствует ли в таких условиях самостоятельная роль государства Израиль? Должны ли евреи добиваться детанта и в какой мере это зависит от политики Израиля? Считается, что СССР добивается участия в ближневосточных делах, и здесь от государства Израиль зависит, способствовать или препятствовать этому. Но каковы тогда должны быть израильские требования?

Авторы сборника исходят из предположения, что переговоры между Израилем и СССР возможны и даже не за горами, хотя пока что признаки этого туманны и неоднозначны. Сегодня главный вопрос — как вести эти переговоры? — и он является главным и в рассматриваемом сборнике. У авторов нет согласия в том, каковы намерения нового советского руководства, как нет и четкого ответа на вопрос, что может и должен предложить Израиль. Составитель не пытается выстроить свой сборник как череду готовых ответов на все возникающие здесь проблемы. Он дает возможность услышать самые разные мнения. Такой либеральный подход позволяет увидеть весь спектр возможных точек зрения и оценок. Наряду с голосами оптимистов, уповающих на реформы Горбачева, слышится и голос пессимистов, утверждающих, что антисемитская идеология приобрела в сегодняшнем СССР почти официальный статус. Между этими полюсами надежды и отчаяния располагается основная часть сборника, в которой делается попытка научно проанализировать и оценить перспективы еврейского движения в СССР.

Разумеется, не все в сборнике равноценно, да и не может быть при таком разнообразии и охвате, но даже эти отдельные недостатки не могут ослабить общее сильное впечатление, вызываемое стойкостью и готовностью к самопожертвованию, которое демонстрируют нам советские евреи. И вот результат этой стойкости: всемогущая, казалось бы, государственная машина не может сломить слабых, измученных, одиноких людей. В этом — главное, что доносит до нас сборник, его благая весть. Благодаря этому сборник может рассчитывать на достойное место в летописи еврейской стойкости — того благословенного нашего свойства, которому мы больше всего обязаны своим выживанием.

## КРАТКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В связи с выходом в свет третьего тома "Краткой Еврейской энциклопедии" на русском языке члены редколлегии Рафаил Нудельман и Яков Цигельман беседовали с руководителями и сотрудниками редакционного коллектива "Энциклопедии" — главным редактором Ицхаком Оренем (Наделем), председателем редакционного совета профессором Шмуэлем Эттингером, заведующей редакцией Эллой Сливкиной и научным редактором доктором Нафтали Пратом. Предлагаем вниманию читателей это интервью.

— Мы поздравляем вас с выходом третьего тома "Энциклопедии". Обращает внимание, что в этом томе главное место, две трети объема, занимает



*одна-единственная статья — “Израиль”. Этот факт, а также характер других статей — как третьего, так и предшествующих томов — сразу вызывает первый вопрос: не является ли основным отличием вашей энциклопедии от обычных ее, так сказать, “евреецентричность”? Мы узнаем из нее об Ираке — но только Ираке еврейском; об Иисусе — но только с еврейской точки зрения. Чем это вызвано? Является ли Краткая энциклопедия попросту начальным сводом еврейских знаний для неподготовленного читателя?*

И. Орен: Было бы очень странно, если бы это было иначе. Энциклопедия не случайно называется “краткой еврейской”. Это не первая еврейская энциклопедия на свете. Все еврейские энциклопедии и шире — все энциклопедии, связанные с какой-то определенной национальной культурой, ограничивают себя той темой, которая служит их основой. Философская энциклопедия говорит только о философии, но не о литературе. В Большой Еврейской энциклопедии в 16-ти томах тоже нет ничего, кроме еврейского. Перед нами — не всеобщая энциклопедия, а — энциклопедия еврейская, всецело посвященная еврейству, иудаизму, еврейской истории, Государству Израиль и Эрец-Исраэль.

Ш. Эттингер: Верно, есть специализированные энциклопедии, и еврейская энциклопедия — так же, как литературная, философская и тому подобные, — является специализированным изданием, предназначенным для читателя, который интересуется именно этой специальной отраслью знаний. Я только хотел бы сделать два замечания. Прежде всего, я бы не стал определять это издание как вступительный курс еврейских знаний, как вы это сформулировали. Наоборот, я считаю, что эта энциклопедия находится на очень высоком информационном и даже научном уровне, и если сравнить ее, с одной стороны, с еврейскими энциклопедиями на разных языках, а с другой — со специализированными энциклопедиями, включая советские, то можно увидеть, что данное издание является весьма основательным вспомогательным источником сведений для людей, намеревающихся изучить еврейскую культуру, равно как и для людей, которые, занимаясь этим, хотят получить необходимую детальную информацию. И второе, об этом упоминается, кстати, и в предисловии: эта энциклопедия отличается тем, что она восстанавливает для русскоязычного читателя отрасль знаний, которая была вычеркнута из публикаций на русском языке в течение десятков лет. За эти годы возник разрыв в знаниях, и разрыв не только терминологический, но и концептуальный. И новая энциклопедия устраняет этот разрыв, опираясь в этом не только на еврейские, но и на общесоветские публикации.

*— В сущности, вы уже подошли к нашему второму вопросу. Каким вы представляете себе читателя вашей энциклопедии? На каком уровне еврейских знаний, полагаете вы, находится его образование? Каков уровень его общекультурных знаний? Каково место его еврейских знаний среди общекультурных? Короче — кто этот читатель?*

Н. Прат: Энциклопедия рассчитана на читателя самого различного. Конечно, на читателя, совершенно не знакомого хотя бы с самыми основами еврейских знаний, она едва ли может быть рассчитана, хотя и ему она может дать очень много. В этой энциклопедии читатель любой степени подготовленности найдет для себя много нового, интересного и информативного. Мы знаем, что сейчас в Советском Союзе уровень знакомства с элементарными ос-

новами иудаизма, еврейской истории и культуры, жизнью государства Израиль значительно выше, чем был десять лет назад. Мне кажется, что энциклопедия рассчитана на читателя, все-таки несколько более подготовленного. Как всякая энциклопедия, она является изданием научно-популярным, просветительским, и адресована поэтому тому, кто хочет знать. Ее с большим интересом для себя прочтет любой человек, для которого приобщение к еврейству является целью духовной жизни.

Э. Сливкина: Вся наша работа — как с точки зрения содержания, так и оформления — была направлена на то, чтобы дать подручное справочное издание любому читателю — как еврею, так и нееврею, независимо от его подготовленности. Работа осложнялась тем, что нам с первых же дней стало ясно, что русский язык лишен нужных для выражения этой темы средств. Терминология, которая существовала когда-то, была искоренена и нам пришлось начинать буквально с нуля. Но трудность состояла не только в терминологии — мы хотели, чтобы наше издание было еще и написано на современном и не бюрократизованном русском языке. Надеемся, что этих целей мы достигли.

— *Удивительно, как вы снова подошли к нашему следующему вопросу. Во всех изданных томах неизменно упоминается проблема терминологии, отсутствия соответствующих понятий и так далее. Не могли бы вы привести примеры своей работы в этой области? Примеры новых терминов, соответствующих понятий? Ведь не идет же речь, мы надеемся, о создании некоего "пиджн энциклопедиш" — вроде "пиджн инглиш" для разговора с неграмотными туземцами?*

И. Орен: Мне жаль, что с нами нет профессора Михаила Занда, который играл главную роль в этой работе по созданию новой терминологии. Если нам что-либо и удалось в этой области, то это его заслуга, в первую очередь. Я мог бы, для примера, взять такое понятие как "филактерии". Еще 17 лет назад, когда мы начинали работать над созданием русского радио в Израиле, я обнаружил у русско-еврейских интеллигентов полное незнание лексики и терминологии старой еврейской энциклопедии. Наш диктор перепутал, извините, филактерии с фекалиями, и разъяснял, что еврей перед молитвой марает себя всякими нечистотами. Это не выдумка, это грустный факт. Превенная лексика была христианского происхождения, все термины восходили к греческому переводу Библии, Септуагинте. То же происходило с русскими переводами талмудической, раввинистической литературы. Они не имели адекватных терминов в современном русском языке. Поэтому если вы хотите увидеть работу над терминологией, вам достаточно сравнить любую статью нашей энциклопедии с соответствующей статьей в старой еврейской энциклопедии на русском языке или с русскими переводами последних десятилетий. Эта наша работа шла на основании филологического анализа, с использованием современной русской научной литературы, в особенности таких авторов как Сергей Аверинцев. Вдобавок мы обновили и транслитерацию, и транскрипцию, приблизив ее к принятой в современном русском языке. Так что я думаю, что если есть что-нибудь, что в нашей энциклопедии буквально бросается в глаза, то это как раз обновление лексики, терминологии, транслитерации и транскрипции. Аверинцев нам помог, быть может, больше, чем кто-либо другой. И тем не менее даже в его терминологии есть некий

уклон — не то, чтобы в идеологическом, но в семантическом плане, — который нам приходится преодолевать, чтобы не вызвать, например, никаких христианских ассоциаций.

Ш. Эттингер: Я бы хотел заметить, что есть трудность, которая существовала еще при работе над старой еврейской энциклопедией. Это — как раз та греческая основа библейских текстов, которой пользовались и пользуются по сей день в России. В европейских странах — Англии, Франции, Германии — уже в XVI веке переводы Библии делались с иврита, и это приблизило такие переводы к современному читателю. В России этого никогда не было, и пресловутый синодальный перевод, хотя, возможно, и корректировался по ивритскому оригиналу, но в основе имел греческий. Поэтому русская культурная традиция в данном вопросе шла своим особым путем, отличным от европейского и даже современного русского. Вот почему обновление языка было одной из важнейших наших задач. Мы переводили, конечно, с иврита, восстанавливая подлинное звучание библейских названий, имен и так далее.

Э. Сливкина: То же относится к библейским местам, к их географическим названиям. Вначале, например, кое-кто считали, что нужно писать не Бет-Лехем, а Вифлеем, не Нацрат, а Назарет и тому подобное. Но постепенно мы все-таки утвердили и здесь подлинное библейское произношение, хотя всюду оговариваем прежнее, знакомое русскому читателю название.

И. Орен: Стоит, действительно, остановиться на этом подробнее — в частности, на проблеме библейских имен. У нас библейские персонажи Авраам, Иаков, Исаак и так далее остались Авраамом, Иаковым, Исааком, хотя в других контекстах у нас пишутся эти имена — Аврахам, Ицхак, Яков. Мы исходили из того, что самые известные имена и названия, за которыми закрепилась многовековая традиция, должны быть сохранены в этой традиции. С другой стороны, когда отец Авраама в синодальном переводе фигурирует как Фара, то совершенно ясно, что это говорит русскому читателю еще меньше, чем подлинное библейское Терах (тем более, если он когда-нибудь слышал от дедушки или бабушки идишистское выражение: "ер зейт ойс ви Терах" — т.е. "он выглядит как Терах"). Тут содержится ответ на ваш вопрос о "пиджн энциклопедиш". Если вы сравните наше издание с другими, на других языках, то увидите, что у нас "пиджн рашен" куда меньше, чем в тех изданиях "пиджн спэниш" или "пиджн френч".

— *Начиная издание новой энциклопедии, коллектив указывал, как на одну из задач, на необходимость обновить направление и словник прежних энциклопедий. Как происходило это обновление? В чем состояло новое направление? Чем вы руководствовались при отборе слов? Какие принципы вам руководили: стремление к полноте знаний или к их широте? Кстати, в этой связи возникает и вопрос о причинах вашего отказа от справочного аппарата — от привычной библиографии в конце каждой статьи.*

Ш. Эттингер: Прежде всего — о библиографии, потому что для нас, как для научного издания, это центральный вопрос. Дело в том, что на русском языке существует очень мало специальной литературы, посвященной еврейским проблемам, персонажам и так далее. Поэтому было очень трудно, не впадая в формальность, дать подлинно научную библиографию — за исключением, разве что, устарелых источников, которые не выдерживают совре-

менной критики. Можно было, конечно, указать, иноязычную литературу. Но мы решили, что если читатель может пользоваться немецкой, французской, английской библиографией, то он может пользоваться и соответствующими энциклопедиями. Поэтому мы пошли иным путем. Мы оставили статьи без библиографии (даже более того — мы оставили их неподписанными, хотя многие из них представляют собой небольшие авторские монографии), зато намерены в последнем, седьмом томе дать общую библиографию по важнейшим разделам — для целых разделов можно будет подобрать более или менее широкую библиографию, которая станет вспомогательным пособием для людей, желающих продолжить свое самообразование.

И. Орен: Чтобы было понятно, как развивались эти три тома, чтобы уловить разницу между первым и третьим томами (а мы льстим себя надеждой, что эта разница — и к лучшему! — существует), надо учесть, что идея нашей энциклопедии вообще зародилась — еще 15 лет назад — как идея двухтомного энциклопедического справочника, который каждый новоприбывший будет получать сразу по прибытии. Этот справочник должен был быть основан на 16-томном издании “Энциклопедии Иудаика” на английском языке. Тогдашний коллектив начал работу с механического сокращения той энциклопедии. Я не буду сейчас рассказывать, что из этого вышло. Вот из этого-то справочника эволюционным путем начала развиваться наша нынешняя энциклопедия. Постепенно подобрался коллектив специалистов, которые к тому же достаточно владели современным русским языком и еврейской культурой — а это почти всегда были два отдельных мира, между которыми — после Сталина — нужно было перебросить мост. И поскольку исходный словарь был составлен очень давно, на основании “Энциклопедии Иудаика”, и к тому же жизнь тоже не стоит на месте, словарь совершенствовался буквально в процессе работы. Но это происходит в любой энциклопедии — ведь ее издание это дело многих лет.

— *Но существовал, наверно, какой-то общий, единый метод отбора слов?*

— Метод, конечно, существует, но сам отбор меняется. Если еще через 20 лет найдутся такие же сумасшедшие, которые этим займутся (впрочем, это уже будут не сумасшедшие, это будут профессионалы), то им, наверное, придется все наши первые тома пересмотреть.

Ш. Эттингер: Как во всякой энциклопедии, мы собираемся после семи томов начать выпуск ежегодников...

И. Орен. Метод был очень простой. И он остался неизменным. Уже на самых ранних этапах было решено, что если мы и не совсем порываем с “Энциклопедией Иудаика”, то мы от нее отходим, отдаляемся, потому что читатель, его ментальность, его культура, его ориентация в иудаизме — совершенно иные. Поэтому механическое сокращение статей — это чуть ли не богохульство. Кроме того, поскольку наш главный читатель все-таки в России, то мы должны были учесть еще и его локальные интересы. Стало быть, в основу отбора были положены три основных принципа: центральное положение Израиля в еврейской истории и еврейской жизни; повышенное значение русско-еврейской темы (деятели русского еврейства описываются у нас подробнее, чем аналогичные или, быть может, даже более значительные деятели других еврейских общин) и, наконец, особое внимание к некоторым уникальным темам, которые по тем или иным причинам не были освещены в ев-

рейских энциклопедиях на других языках (например, наши статьи о татских евреях, о бухарских евреях — которые чуть не больше статьи о немецком еврействе — или, скажем, “еврейско-татский язык” и так далее). На этом основан словарь, который тем не менее меняется с течением времени, непрерывно.

— *Вы и тут опережаете наш вопрос. В третьем томе, в предисловии к нему, настойчиво подчеркивается, что его сквозной идеей является идея центральности Эрец-Исраэль в истории и жизни еврейского народа. Однако создается такое впечатление — несомненно, объективное, — что эта идея скорее декларируется, чем обосновывается и раскрывается. Правильно ли такое ощущение? Вы удовлетворены достигнутым результатом в этом плане?*

И. Орен: У меня есть, что ответить, но я предпочел бы услышать сначала, что скажут коллеги.

Н. Прат: Меня удивляет такая постановка вопроса, потому что мне казалось, что именно для третьего тома характерно особое подчеркивание центральности Эрец-Исраэль. Ведь очень большая часть этого тома занята статьей “Израиль”. Статья эта построена так, как ни в одной другой еврейской энциклопедии еще не строилась. Она разделена на такие разделы, как Израиль — страна, Израиль — народ (соответственно, и народ в диаспоре) и Израиль — государство, причем все они объединены в единую систему не только названием, но и тематически. Связь между ними можно проследить буквально на каждой странице. Конечно, такое построение статьи может вызвать определенные возражения в силу своего новаторства, но мне кажется, что оно вполне оправдано. Кроме того, в любой статье, относящейся к еврейству диаспоры, всюду, где в какой-то степени можно проследить ее отношение к Эрец-Исраэль, эта линия всячески подчеркивается. Я думаю, что и во всех остальных статьях при пристальном чтении можно обнаружить тот же принцип.

И. Орен: Прежде всего, напомним, что во всех еврейских энциклопедиях статья Израиль (как страна) так и составлена: в основе ее лежит сплошная история Эрец-Исраэль, от древности до современности. Шестой том Всеобщей энциклопедии на иврите весь занят этой статьей, которая начинается даже еще до праотца Авраама и доведена до процесса Эйхмана. Там нет ни одного слова о диаспоре — о ней говорится потом. В “Энциклопедии Иудаика” история страны доводится до семьдесят третьего года. Поэтому выдержанная нами непрерывность не является новаторством. Напротив, новым в нашей энциклопедии является как раз прерывность: у нас внутри статьи помещен раздел: Израиль как народ в диаспоре. Почему же мы поместили раздел о государстве Израиль в завершение статьи? Потому что даже антисиионисты не могут не признать, что венцом еврейской истории является государство Израиль. Его возникновение венчает трех-с-половиной-тысячелетнюю историю еврейского народа, и рассказ о нем действительно доказывает непрерывность этой истории. В старых энциклопедиях не было такой возможности, и они прибегали к очень странным искусственным приемам, рассказывая о “народе и отечестве”, о “народе и культуре”, “народе и традиции” и так далее. Наше построение является абсолютно естественным. Оно подчинено принципу исторической перспективы: вся еврейская история выглядит иначе теперь, когда мы знаем, что она увенчалась созданием еврейского государства. И мы создаем энциклопедию именно в это время, когда в Эрец-

Израэль живет почти треть еврейского народа. Так что вопрос о центральности Эрец-Исраэль для любого еврея — уже в сущности и не вопрос сегодня, это аксиома. Наше начало было здесь, и сюда мы вернулись. Эта перспектива фактически всегда присутствовала в еврейской истории, она ее освещала. И вместо того, чтобы искусственно относить ее к статьям типа “еврейский народ” или еще что-нибудь, мы приняли принцип сосредоточения ее в статье “Израиль”. Ведь государство получило свое название по тысячелетней традиции имени всего еврейского народа. Эрец-Исраэль — это страна народа Израиля. Верно, история древнееврейского государства, которое существовало около шестисот лет, занимает у нас меньше места, чем часть о государстве Израиль, но ведь верно и то, что там мы не даем ни статистики, скажем, рождений, ни обзора экономики, ни анализа политической структуры — всего того, что мы даем в статье об Израиле.

Ш. Эттингер: Я хочу сказать, что идея центральности Эрец-Исраэль и государства Израиль, конечно, отражает перспективу нынешнего взгляда на еврейское прошлое, на пути еврейской цивилизации. Если бы такая же статья писалась, скажем, немецким еврейским ученым в середине XIX века, то перспектива была бы совершенно другой. Это не значит, что Эрец-Исраэль во все периоды была центральным элементом еврейской жизни. Не только с точки зрения материальной, политической, культурной и так далее, — но даже с точки зрения духовной. Всегда была связь с Эрец-Исраэль, и ее спиритуальный образ всегда сохранялся в умах. Но не всегда это приобретало конкретный характер. Существуют, например, “респонсы” раввинов, а среди них — ответы на вопрос, что делать, если муж хочет переехать в Эрец-Исраэль, а жена против этого. Некоторые раввины отвечали, что в таком случае муж обязан дать ей развод, другие говорили даже, что муж должен посчитаться с нежеланием жены. Это, конечно, отражает различие мнений о значимости Эрец-Исраэль среди тогдашнего еврейства. Есть и другой, более интересный пример. Существует такая поговорка: у того, кто живет в Эрец-Исраэль как бы есть Бог, у того, кто живет в галуте, как бы нет Бога. Так вот, кое-кто толковал ее таким образом: у галутного еврея “как бы” нет Бога, но в действительности есть, а у живущего в Эрец-Исраэль — наоборот. Так что отношение к Эрец-Исраэль менялось с течением веков. Но с точки зрения нашей исторической перспективы, когда выяснилось, что не только в критические моменты нашего существования в 30-е и 40-е годы у евреев не было другого убежища, кроме Эрец-Исраэль, когда выяснилось, что сионизм — единственное еврейское движение, выжившее из всех течений начала века, но и стало ясно, что главным процессом еврейской жизни в наше время является постепенная концентрация евреев в Эрец-Исраэль — с точки зрения такой перспективы мы просто обязаны были провозгласить идею центральности Эрец-Исраэль. И я считаю достоинством, а не недостатком, что это дано у нас открыто, а не “органически”. Ибо “органически” означало бы в данном случае только идеологически. Мой покойный учитель, профессор Динур, действительно так и формулировал: во все периоды еврейской истории Эрец-Исраэль была центром еврейской жизни. Почему? Потому что его сионистская идеология приводила его к крайности. Я никак не могу согласиться с этим, потому что хорошо знаю, что были очень большие периоды, когда дело обстояло не так. Мы даем в энциклопедии объективный взгляд на еврейскую историю,

но с другой стороны — новый взгляд. Мы видим сегодня еврейскую историю иначе, нежели ее видели раввины двенадцатого века или просветители восемнадцатого.

И. Орен: Самым ярким доказательством реальной центральности Израйля в современной еврейской истории является, как ни смешно, тот факт, что враги наши всех мастей видят главного врага именно в Израиле.

— Ну, это попросту зеркало, в котором мы видим самих себя. Антисемитизм — это еврейская история, вывернутая наизнанку.

Ш. Эттингер: Я все-таки не удержусь от еще одного примера. В прошлом веке широко циркулировала так называемая "Речь пражского раввина" — анонимное произведение, которое переводилось на многие языки. В нем рассказывается, что раз в году на пражском кладбище собираются якобы главные представители еврейских колен, держит речь пражский раввин, который обзвевает прошедшую за год историю евреев, а затем раввины отдельных колен дают отчет о проделанном в той области, за которую они отвечают. Так вот, если в девятнадцатом веке нужно было изобретать такое фиктивное собрание, то сегодня этими представителями всего еврейского народа являются израильские парламентарии, политики, общественные деятели...

— Профессор Эттингер, упомянув о своем учителе, затронул вопрос, который нас интересует применительно к энциклопедии. Существует ли какая-нибудь определенная идеология за вашим изданием? Конечно, сама позиция авторов — людей, выбравших сионистский путь, людей, живущих в Эрец-Исраэль, — уже определяет во многом их подход, как мы это видели на примере идеи центральности Израйля. Если бы эту энциклопедию издавал Любавичский ребе или кто-нибудь из секулярных евреев в Америке, то картина, может быть, была бы иной. Какая же идеология стоит за вашим изданием? Может быть, сионистская? Мы не боимся этого слова...

Н. Прат: Я боюсь слова "идеология"...

— Давайте и его тоже не бояться. И второе, связанное с этим: какова позиция авторского коллектива в отношении огромного материка еврейской традиции? Представляется, что в статьях энциклопедии он рассматривается с очень специфической позиции. Можно ли назвать ее позицией секулярного иудаизма? Грубо говоря: к чему ведут авторы своего читателя?

Н. Прат: Прежде всего, мы никуда его не хотим вести. Энциклопедия — не пропагандистское издание, это прежде всего энциклопедия, то есть научное издание. Конечно, авторы — люди со своими симпатиями и антипатиями, но в той мере, в какой это возможно, они стараются дать максимально объективное изложение материала. По крайней мере — сознательно не искаженное привнесением каких бы то ни было эмоциональных и идеологических моментов. В этом особенность энциклопедии как издания. Но, конечно, существует определенный взгляд на еврейство и еврейскую историю, который, разумеется, неотделим от того, что эта энциклопедия издается в государстве Израиль, что она издается людьми, в большей или меньшей степени разделяющими сионистские убеждения, что она рассматривает государство Израиль как центр мирового еврейства и еврейской истории. Но при этом энциклопедии все же стараются не навязывать эти взгляды своему читателю. Что касается отношения к традиции, то учитывая множественность точек зрения — ортодоксальной, реформистской и прочих — энциклопедия

старается соблюдать известное равновесие, в общем исходя из научных взглядов, но в то же время давая возможность традиции быть представленной на ее страницах достаточно объективно и непредвзято.

Ш. Эттингер: Я бы все-таки отказался от термина "секулярный иудаизм". За этим термином скрываются определенные идеологические положения — равно как и за религиозно-ортодоксальной точкой зрения. Человек, принадлежащий к лагерю секулярного иудаизма, не может сохранять объективность, описывая, скажем, такое явление как хасидизм — он поневоле будет писать о нем критично. Я согласен с доктором Прафом — мы стараемся подходить ко всем вопросам прежде всего с точки зрения научной, иными словами — объективно-критической. Для нас нет "авторитетов" — ни религиозных, ни секулярных. Как и любая другая энциклопедия, наша написана не иудаистами, а людьми, которые представляют читателю еврейскую цивилизацию во всем ее объеме.

И. Орен: И в ней очень большое место занимает традиция и религия. Подход к традиции — совсем другой вопрос. Взять, например, статью "Иом-Кипур" — я нигде не видел столь емкой, современной, информативной статьи. И то же самое во всех других вопросах: Талмуд, раввинистическая литература, мицвот, законы — по всем этим пунктам дается полнейшая информация, прежде всего. Мы не избегаем и описания различных мнений внутри религии. Повторяю — я не знаю другой энциклопедии, где традиция была бы представлена так полно и объективно (конечно, пропорционально ее объему) ...

Ш. Эттингер: В "Энциклопедии ислама" больше...

И. Орен. Но мы же говорим не о религиозной энциклопедии. И к тому же — о еврейской. И так же, как широкая информативность, нашей энциклопедии присуща глубокая объективность. Далее, во всех ее статьях сквозной линией проходит та мысль, что еврейский народ сохранился именно благодаря традиции. Третье — насчет объективности. Не забудьте, что мы даем буквально кипящую, бурлящую тему — Израиль. Мы доводим ее до 86-го года, когда вопрос о плюрализме стоял в стране необычайно остро. Мы давали эту статью на отзыв специалистам самых разных, порой крайних взглядов — а у нас, слава Богу, нет недостатка в крайностях, — и все они согласились с нашей трактовкой, отметив ее подлинную объективность.

— *Здесь прозвучали два термина, которые привлекли наше внимание: еврейская цивилизация и еврейский народ. Конечно, вы знаете, что русские евреи находятся под непрерывной атакой советской пропаганды, которая твердит, что еврейского народа не существует, не только теоретически, но и исторически (в последних антисионистских публикациях)...*

Ш. Эттингер: ...не только в антисионистских, но и в советской энциклопедии говорится: евреи — группа, возводящая свое происхождение к родовым племенам, которые бытовали в Палестине...

— *...ну, а раз нет народа, то нет и цивилизации...*

Ш. Эттингер: С этим я совершенно не согласен! Нет шумерского народа, но есть шумерийская цивилизация.

— *Мы принимаем вашу поправку. Но вопрос остается: как авторы энциклопедии учитывали эту скрытую полемичность своего труда?*

Ш. Эттингер: Конечно, мы исходим не только из признания факта существ-



вованя еврейского народа, как народа, со всеми признаками этноса, но и из его непрерывности в истории — как непрерывности его общественной организации, так и непрерывности его самосознания — национального, религиозного и так далее. Мы видим в этой истории преемственность, начиная с древнейших времен и до нашего периода. Это наше основное положение: несмотря на рассеяние, евреи существуют как этническая, национальная группа, позже как нация, во все исторические периоды — по крайней мере, со времен Моисея и уж во всяком случае — с тех времен, о которых есть материальные свидетельства. Но мы не ограничиваемся этим, и я не случайно употребил термин “еврейская цивилизация”. Ибо евреи из-за рассеяния, из-за необходимости реагировать на политические, культурные и религиозные перемены в цивилизациях своего пребывания, создали специфическую культурную, религиозную и общественную жизнь, которую мы называем еврейской цивилизацией. И именно эта универсальность — характерный признак еврейской цивилизации. Конечно, есть признаки, которые отличали евреев уже в древнейшие времена — например, монотеизм или мессианство, проекция золотого века вместо прошлого в будущее. Но это еще не все в еврейской цивилизации. Главное — это обмен с окружающим миром, этот метаболизм. В религиозных понятиях, в культуре, в общественной организации — всюду можно обнаружить следы этого обмена, вавилонские, персидские, греческие, арабские, европейские влияния. Все они органически включены в творчество этой цивилизации. Возьмите величайшего средневекового еврейского философа Маймонида — это аристотелический философ, все это знают, который писал свои произведения на арабском языке. И в этом разница между еврейской цивилизацией и простой биологической преемственностью. Скажем, если мы возьмем самаритян, то это просто биологическая преемственность: им удалось сделать то, что хотели бы сделать с нами Любавичский ребе или Нетурей карта, создать стену между собой и миром. Но тогда евреи сегодня выглядели бы, как выглядят самаритяне.

И. Орен: Я хотел бы только добавить один пункт. Мы возвращаемся к очень важной проблеме — народ и цивилизация. Мы не будем, конечно, сейчас определять эти понятия, но обратим внимание на еврейскую уникальность в этом пункте. Народ, этот носитель цивилизации, тысячелетия держался на стержне религии; и тем не менее, когда религия перестала быть фактором, способным сплотить народное единство, перестала быть основным связующим элементом, этот народ сделал беспрецедентный шаг — создал новый сплачивающий фактор, государство. В сущности, он поставил на себе беспрецедентный исторический эксперимент: попытаться заменить то, что нас держало в течение тысяч лет, другими элементами — общностью древнего языка, культуры и социальной жизни. Насколько этот эксперимент удастся, никто не может решить. Но самоналичие этого эксперимента говорит об уникальности еврейской цивилизации, которая ответила им на вызов безрелигиозной современности. Она ищет новые формы своего сохранения и возвращается к своим истокам, хотя уже в совершенно иной форме. И тут мы видим второй момент уникальности — преемственность еврейской культуры. Конечно, в процессе развития эта цивилизация меняется, но во всех изменениях сохраняет эту живую преемственность. Египтяне старше нас на пару тысячелетий, но они не ощущают своего прямого родства с фараонами. Ислам прервал эту связующую нить.

Ш. Эттингер: Тут любопытно, что несмотря на эволюцию еврейской религии, она в принципе осталась той же самой. В вопросе преемственности религия играет решающую роль.

И. Орен: Я считаю себя продуктом эволюции еврейства от Авраама и Моисея, хотя я абсолютный, можно сказать, атеист. Почему? Потому что эта нить не прерывалась. В египетской культуре нет такой сквозной нити. Они не обращаются к Рамзесу так, как мы обращаемся сегодня к Моисею.

— *Несколько маленьких вопросов, приятных и неприятных. На три первых тома потребовалось пятнадцать лет. Кто же из советских евреев дождался ее последних томов? Они раньше выучат иврит здесь, в Израиле, чем завершится ваше издание...*

И. Орен: На это у нас нет ответа...

Ш. Эттингер: Мы планируем издать следующие четыре тома за ближайшие шесть лет, и я надеюсь, что выполним это обещание. У нас есть план.

И. Орен: План есть, но не забудьте еще условия, в которых мы работаем. Громада материала — и ничтожное количество людей. Я еще раз напомню, — пятнадцать лет назад профессор Эттингер сказал: это задание невыполнимо. Сегодня он — главный энтузиаст всей нашей затеи, ушел в нее с головой. Но для меня вопрос остается, — может, он все-таки был прав? Не знаю. А теперь — маленький секрет. Когда издание только начиналось и многие, включая меня, не очень верили, что оно будет доведено до конца, я предложил создать один центральный том, в котором будет собрана вся важнейшая информация. И вот этот том вышел. И я испытываю чувство огромного облегчения.

— *И еще вопрос: какова роль репатриантов из СССР в создании этой уникальной энциклопедии?*

И. Орен: Решающая.

Н. Прат: Ну, решающая — это, конечно, преувеличено.

— *Хорошо: сколько репатриантов в редакционном коллективе?*

Э. Сливкина: Только Ицхак Орен, Шмуэль Эттингер и Перец Хейн — так сказать, “израильяне”, остальные двенадцать человек — все репатрианты из СССР. Это не относится, конечно, к научным консультантам извне. Они почти все — старожилы, ведущие эксперты в различных отраслях еврейских наук.

— *И последний вопрос: будет ли энциклопедия представлена на предстоящей Московской книжной ярмарке? И будет ли она по карману тамошнему читателю?*

Ш. Эттингер: Увы, у нас вряд ли будет возможность продавать энциклопедию в Москве. Пока, во всяком случае. Так что вопрос о цене не имеет значения. Но представлена она будет. Второй том нам не удалось представить, но теперь я почти уверен, что третий том в Москве побывает. А кроме того, его приобретает целый ряд советских учреждений. Мы уже натолкнулись на советские публикации, где есть ссылки на нашу энциклопедию. Так что представлена она будет. А вот утащить ее с выставки будет, пожалуй, труднее, чем какой-нибудь израильский роман...

— *Ну, что ж, зато интерес к ней, мы уверены, будет гораздо больший.*

## ВОСПОМИНАНИЯ

...Мало кто знает, что в России, в начале нашего столетия, существовала ячейка партии "Гдуд-авода". О ней я хочу написать. Но прежде я хочу отклониться.

У детей, которые с начала жизни своей росли без родителей, нет потребности в них, нет чувства, они не знают, что это такое — родители. Но они тоже, как все, ищут человеческой теплоты...

Так и наш народ.

Двадцать веков наш народ жил без родины. Мы ее не знали и у нас не было потребности в ней. Мы были безродные, как собаки. Каждый мог нас оскорбить, ограбить, убить без всякой вины. И мы искали приют, где можно было бы жить наравне со всеми народами, без банд, без погромов, без слова "жид". Именно поэтому в начале века так много евреев уехало из России. Но мало кто из них направился в Палестину — большинство ехало в Америку, о которой говорили — "свободная страна". А когда в России слышались слова "коммунизм" и "интернационализм", сулившие евреям равные со всеми права, они отозвались и на этот клич. И кому, действительно, нужнее был этот интернационализм, чем нам, евреям?

В то время все верили, что советская власть приведет страну к интернационализму, — и верили в это не только русские евреи, но и палестинские члены левой партии "Гдуд-авода", или "гдудники", как они себя называли (враги называли их "мопсами").

Вот эти-то гдудники в 1928 году, под руководством своего руководителя Мендла Элькинда, по разрешению Коминтерна (который тогда существовал в России), решили переехать в СССР — строить новую, светлую жизнь. Наркомзем дал

*Ривка Тагер*

**РАСПРАВА**

им земли бывшей помещичьей усадьбы в Крыму для посева зерновых, выращивания овощей, винограда, хлопка и т. п. Им дали также материалы для постройки жилья, коровника, кошар и прочего.

Всю работу, техническую и физическую, они выполняли, в духе своих традиций, сами, без помощи и наемных рабочих.

Все они были интеллигентными людьми, умелыми работниками, хорошими хозяйственниками, честными товарищами и активными участниками коммунальной жизни.

Для пополнения своих рядов они вербовали молодежь из украинских местечек, в основном — из евреев. В первой группе завербованных оказалась и я (для меня это было большое счастье, потому что я принадлежала к так называемым “деклассированным” и для меня все другие дороги были закрыты).

Нас, новоприбывших, гдудники учили быть такими же, как они. И хотя прошло уже более полувека, я хорошо помню, как наставляла меня Рохка Ежовская: “Когда выполняешь работу, постарайся, чтобы она принесла наибольшую пользу. Вот это сорго (она показала на срезанные ветви) перерабатывается в силос, то есть зимний корм для скота, и если срезанные ветви будут лежать под солнцем, соки в них высохнут, они станут непригодными для еды, и пропадет не только твой труд, но и труд тех, кто это сорго выращивал, а скот останется на зиму без корма — это хуже, чем если бы ты совсем не работала...”

Мы, новички, быстро научились работать и привыкли к коммунальной жизни.

Так гдудники, бывшие палестинцы, построили в тогдашней советской России первый настоящий киббуц — коммуны “Войо-ново” (что на эсперанто означало “Новый путь”).

Но... не может петь соловей в клетке, и не могла еврейская коммуна существовать под властью сталинской партии.

ОЗЕТ (организация, которая занималась переселением евреев в колхозы) начала присылать в коммуны всяких неподходящих людей — больных, которые не могли работать, здоровых, которые работать не хотели.

“Мы, — кричали они, — работать на земле не можем, не приучены, нам говорили, что мы едем в коммуны, где работать не обязательно, кушать все равно дадут...”

Председатель коммуны Элькинд поехал в Евпаторию, в ОЗЕТ, и спросил: “Зачем к нам послали таких людей?” — “Это постановление райкома партии”, — ответили ему.

В райкоме Элькинда встретили “радушно”.

“Коммуна — наша конечная цель, — приветствовал его первый секретарь, — а если эти люди еще не сознательны, перевоспитайте их...” — “Но перевоспитывать можно только молодых, а эти...” — “Не спорьте, — перебил партийный начальник. — Вы приехали в нашу страну и обязаны выполнять приказы нашей партии, приказ товарища Сталина”.

Растерялись наши гдудники, поняли, что в Советском Союзе не все так делается, как говорится, и после первой ошибки совершили вторую. Вместо того, чтобы вернуться во-свояси (тогда еще можно было это сделать), они бросили коммуны и разбрелись по всей, для них чужой, стране.

Первым уехал сам Элькинд — уехал в столицу, в Москву, надеясь, что там ему будет лучше.

А дни летели за днями, унося годы. Коммуна с ее беззаботной, веселой, интересной, дружной жизнью постепенно превратилась в обычный сталинский колхоз с трудоднями, с недостатками, с недоверием, завистью и страхом...

Мы с мужем (он тоже был гдудник) переехали в город Джанкой, в Крыму, но связь с бывшими друзьями из бывшей коммуны не прервали и знали все, что там происходит.

Пришел 1937 год...

Все ли знают, что такое сталинские репрессии? Нет, не все. И не ищите, пожалуйста, это слово в словаре — там оно означает наказание, расправу за что-то. А сталинская репрессия — это совсем другое, это — уничтожение безвинных.

В городе начались разговоры исподтишка, по секрету передавали друг другу: "Ночью забрали заместителя прокурора, ночью забрали директора завода "Агроджойнт"... ночью забрали... ночью забрали..." Не "арестовали", а именно "забрали", не днем, а ночью. Когда город спит.

В Джанкое мы с мужем работали на заводе "Агроджойнт", но в разных цехах. Однако обедали мы вместе. В этот раз, когда я вошла в столовую, муж встретил меня словами: "Шимона забрали..." — "Тебя тоже заберут", — вдруг вырвалось у меня из горла. До этого я никогда так не думала и все не хотела этого сказать — эти слова вырвались сами собой, будто какая-то сила вытолкнула их, без моего сознания.

Минуту мы оба молчали, глядя друг другу в глаза...

"А за что забрали Шимона? — отвечала я на немой вопрос мужа. — За что забрали всех наших войо-новских?" Я словно оправдывалась за резкий, болезненный выкрик.

Через три дня Иосиф (мой муж) пришел со второй смены, мы поели, посидели и пошли спать. В час ночи раздался тихий стук в дверь.

"Кто?" — спросила я. "Я", — услышала я тихий голос хозяйки.

Не успела я снять крючок, как дверь рванули с такой силой, будто снаружи боялись, что я могу опять закрыть. Два энкаведиста оттолкнули хозяйку и ворвались в комнату. Один с наганом в руке подбежал к кровати, где лежал муж и выкрикнул: "Одевайся! Ты арестован!" Другой начал делать обыск. Бандит с наганом подтолкнул моего мужа к двери, и они вышли в темную зимнюю ночь.

Это было 27 февраля 1938 года.

Утром я пошла в милицию.

"Тагер Иосиф здесь, — сказали мне, — но сегодня вы ничего не узнаете, приходите через неделю..."

Через неделю мне сказали: "Возьмите разрешение у следователя, тогда можете принести передачу".

"Так скоро? — сказал следователь. — Да если вы будете его так кормить, он и домой не захочет... Мы им разрешаем одну передачу в две недели".  
Ровно через две недели я опять пришла к нему за разрешением.

"Я сейчас занят, — сказал он, — приходите завтра".

"У меня много работы, кончается месяц, — сказала я, — завтра меня не отпустят, пожалуйста, прошу вас..."

“Ну, ладно, вот вам разрешение, уходите...”

Я вышла из кабинета с разрешением и кошелкой в одной руке, ведя сына другой. Не успели мы дойти до наружной двери, как она открылась — и на пороге появился мой муж в сопровождении милиционера с винтовкой. Увидев отца, ребенок вырвал у меня руку и бросился к нему. Иосиф схватил сына, прижал к груди и начал целовать. Милиционер сначала будто остолбенел, потом начал кричать, отрывая ребенка от отца. Дима (так звали нашего сына) еще крепче к нему прижался и обхватил руками его шею. В эту минуту открылась дверь и вышел следователь.

“Где разрешение? — крикнул он мне, потом увидел бумажку в моей руке, вырвал ее и порвал в клочья. — Больше за разрешением не приходи-те!”

“Я согласен остаться без передачи за поцелуй сына”, — сказал муж.

Даже у сталинского палача что-то шевельнулось в душе.

“Заберите ребенка и уходите”, — сказал он мне уже мягче.

Это была последняя встреча-прощание моего Иосифа с нашим Димой. Отца убили бандиты Сталина. Сына убили бандиты Гитлера. Какая разница?

...Мир не без добрых людей. Войдя в заводскую столовую, я услышала: “Ривка, иди сюда, здесь свободное место!”

С тех пор, как забрали моего мужа, меня никто не звал, даже самые близкие друзья, которые раньше без нас обойтись не могли, гордились дружбой с Иосифом, обращались к нему за советом. Но в первый же день, как его забрали, они сказали мне: “К нам больше не ходи” — а встречая на улице, отворачивались. Я стала для них хуже прокаженной.

Позвавшая меня, незнакомая мне женщина прошептала: “Ты после работы идешь за ребенком в ясли? Я тоже там буду, если придешь раньше, подожди меня...”

Февральские вечера наступают быстро. Боковые улицы Джанкоя не освещались, и когда мы вышли из ясель, было уже совсем темно.

“Я понимаю твое положение, — заговорила она, — мне тоже было тяжело те три месяца, что муж сидел в тюрьме, хотя наши друзья меня не покинули. Вчера мужа освободили, и он хочет передать тебе привет от Иосифа. Но ты же понимаешь: за тобой, наверно, следят, а он только вчера вышел из тюрьмы, поэтому он хотел встретиться с тобой на улице... А вот и он”, — и она показала на человека, который вышел из-за угла.

“Здравствуй, Ривуся, — обратился он ко мне теми же словами, какими обращался муж, — и ты, Дима. А где твой папа?” — “Папу забрали энкавдэ...” — сказал Дима. — “Ничего, малыш, скоро и твой папа придет домой. — Он перевел взгляд на меня. — Иосиф мне рассказывал, как вы встретились в коридоре следователя...” — “В чем его обвиняют?” — “Он руководил на заводе антирелигиозным кружком, так теперь они говорят, что он там агитировал за сионизм. Твой муж приехал из Палестины, и они утверждают, что он приехал по заданию сионистов. Теперь следователь лишил его передачи, но вы не беспокойтесь, мы не дали ему голодать, подкармливали в камере. А вам нужно сделать вот что: возле кино сидит старушка, продает семечки — подойдите к ней, дайте ей десять рублей и скажите, что это вы одолжили у ее сына, Толик его зовут, пусть она ему передаст, что

“Маша” ей вернула деньги, я уж ей говорил, чтобы она передала Толику побольше еды, и будьте уверены — Толик накормит Иосифа...”

Пока муж сидел в Джанкое, я еще на что-то надеялась. Но перевод в симферопольскую тюрьму ничего хорошего не сулил. А тут еще на работе меня вызвал главный бухгалтер. “Здесь полный расчет, — сказал он, когда я зашла к нему в кабинет. — Деньги получите в кассе...” — “За что меня увольняют?” — “Об этом вам скажет директор”.

“За что меня увольняют?” — спросила я, переступив порог директорского кабинета.

“Я ничего не могу поделать. Главный бухгалтер тоже огорчен вашим увольнением. Но мы получили приказ свыше и обязаны его выполнить...”

...Чтобы передать передачу в тюрьму, приходилось выстаивать огромную очередь. В четыре часа окошко уже закрывали, и все, не успевшие к нему, отправлялись по домам, а те, у кого не было ночлега в Симферополе и денег на гостиницу, устраивались прямо на земле, возле тюремной стены. Среди них была и я с Димой (мне не с кем было оставить его в Джанкое на ночь). Я подстелила под сына подол своей юбки, но ночью хлынул дождь, и я, подхватив сына в кошелку с передачей, бросилась на вокзал. Тут было хоть и светло, но так тесно, что негде было даже сесть.

Повторю еще раз: мир не без добрых людей. Какой-то незнакомый человек, увидев, как я стою со спящим ребенком на руках и с тяжелой кошелкой, вдруг поднялся и уступил мне свое место: “Садитесь, вам, наверно, тяжело стоять...”

Как хорошо! Намучившись целый день под крымским знойным солнцем, я отдыхаю, и меня не будят даже крики милиционера, расхаживающего по залу и тормозящего уснувших своей дубинкой.

Но не прошло и получаса, как раздался крик дежурного: “Всем встать, освободить помещение, начинается уборка!” Опять я выхожу на улицу со спящим ребенком и кошелкой, а там дождь льет еще сильнее, чем прежде. Я ищу в темноте укрытие, а в голове стучит одна-единственная мысль: “Хоть бы завтра успеть передать передачу, чтобы не зря были все эти муки...”

...Бывших гдуцовцев, которых забрали из Войно-ново, было двадцать шесть человек. Мы, их жены, и раньше жили дружно, как сестры, но теперь общая судьба еще больше нас спаяла.

Что делается в тюрьме, мы сначала не знали. Только потом стало известно, что в камерах нет нар, люди сидят на полу и в такой тесноте, что не могут вытянуть ноги. За все два года, что наши мужья провели под следствием, нам только один раз дали пропуск к следователю, — звали его Марголин, высокий, толстый, рыжий еврей. Меня он вообще не хотел слушать и ни о чем не спрашивал, сказал только, что Иосиф Тагер обвиняется по статьям 58—1а и 58—10. Когда я спросила: “За что?” — он ответил: “За сионизм”. Такой же ответ получили все другие.

Среди завербованной местечковой молодежи был Коневский — умный, культурный, хороший товарищ, и был Центнер — глупый, безграмотный сквернослов. Теперь этот Центнер хвастал, что его вызывали в НКВД и спрашивали, что он может сказать о людях, приехавших из Палестины. Ни-

сколько не стесняясь, он рассказывал, что ответил: "Когда их нет, нам лучше".

Коневский, который все время молчал, так что мы даже не знали, что его тоже вызывали, в один страшный день вернулся из Симферополя и сообщил, что следствие закончено, предстоит суд, для этого приезжает специальная "Тройка" из Москвы. Он назвал и дату суда.

В тот день мы, конечно, все без исключения были у здания суда в Симферополе. Внутри нас не пустили — мы стояли на улице и видели только, как к зданию подъехал "черный ворон", дверца его открылась и оттуда начали выводить наших мужей. Первым шел Фудим. Мы уже знали от следователя, что "специалисты" по фабрикации "преступников" сделали из него "руководителя группы", и он все это время просидел в одиночке, в затемненной камере. Фудим шел с опущенной головой, глядя под ноги, видимо, еще не привыкнув к свету. Его жена и двое детей были тут же, в толпе, они звали его, кричали, но он ни на что не реагировал. Потом один за другим вышли остальные. Мы окликали их по именам, они отвечали нам, поднимая руку, но ни один из них не улыбнулся в ответ — все они были измученные, грустные, по их лицам можно было понять, что они пережили и что делается у них в душе.

Первым из зала суда вышел Лисовенко — я даже не знала, что этого яркого антисемита НКВД использовал как "свидетеля". Я бросилась к нему, но он, увидев меня, отвернулся и быстро зашагал прочь.

Затем вышел Центнер. Когда-то, в коммуне, он был хорошим работником, но всегда ходил сердитый, матюкался, ни с кем не дружил. Его жена, Полина, была веселой, хорошей девушкой, но после замужества стала ходить, как в воду опущенная, вечно с синяками.

Когда Центнер вышел из здания суда, мы все его окружили.

"Я подписал..." — ответил он на наш безмолвный вопрос.

"Что они спрашивали? Что ты подписал?"

"Не знаю. Там сидят большие люди, они лучше меня знают, а мне знать не полагается. Мне сказали, подпиши — и я подписал..."

Наконец, из здания вышел Коневский. Мы сразу увидели по его лицу, что он несет хорошие новости.

"Радуйтесь, — сказал он, улыбаясь. — Их скоро отпустят. Дело отложили на пересмотр, теперь следователи будут вести следствие правильно, и их всех освободят..."

Мы стали спрашивать, как велось следствие. Коневский рассказал: "Когда меня вызвали в первый раз, следователь спросил, что я могу рассказать о гудниках. Я говорил только правду. — Меня это не интересует, — перебил он, — расскажи лучше, зачем они приехали из Палестины? Я сказал, что они приехали, потому что им не нравился тамошний строй, они приехали сюда строить коммунизм. Тогда он начал на меня кричать: это неправда, мы знаем, что они приехали по заданию сионистов, агитировать евреев ехать в Палестину. Я сказал, что мне об этом ничего не известно, я от них никогда такого не слышал. Следователь меня отпустил, посоветовав, чтобы я дома вспомнил то, что надо. Потом меня вызвали второй раз, и следователь спросил: ну, что, вспомнил? Я опять сказал, что ничего такого не помню. — Ну, если ты их покрываешь, — сказал он, — значит, ты такой же преступник, не



то, что наши люди в коммуне, которые рассказали нам про них всю правду. Подумай еще... И помни, что теперь ты у нас на подозрении, у тебя ведь жена и дети.

На третий раз следователь сразу протянул мне лист бумаги: прочти и подпиши. Я прочел и сказал, что подписать не могу — я этого не писал и не говорил. Тогда он вынул наган: это видел? Эти стены, — он обвел рукой стены кабинета, — никому ничего не расскажут. Ты отсюда не выйдешь живым, пока не подпишешь...

И я подписал. А теперь, на суде, от меня потребовали, чтобы я говорил всю правду. И я рассказал, как меня под угрозой заставили подписать клевету..."

"А что на это судья?" — спросил кто-то. — "Ничего. Он все выслушал и отложил дело на пересмотр". — "А что говорил Центнер?" — "Центнер говорил, что они все сионисты. Судья его спросил: откуда вы это знаете? Они, что, говорили вам, чтобы вы ехали в Палестину. — Нет, они мне не говорили, но они пели сионистские песни. — А какие слова были в этих песнях? — Я слов не понимаю, они были на иврите. — Как же вы знаете, что песни были сионистские? — А в них мотив был такой... — Мотив не бывает сионистский или коммунистический. Может, вам кто-то сказал, что они сионисты? — Да, меня вызывали в НКВД, там сидят большие люди, они лучше знают, а мне знать не нужно. Мне сказали: подпиши — я подписал..."

Мы ждали у здания, пока не вывели наших мужей. Выходили они с изменившимися лицами, почти все улыбались — кроме моего мужа.

Мы разъехались по домам — ждать мужей и слать передачи. А через некоторое время всех нас вызвал прокурор и сообщил... что наши мужья осуждены. На вопрос, когда же проходил пересмотр, он грубо рявкнул: "А чего там пересматривать, и так все ясно! Мы отправили дело в Москву на Особое Совещание, там их и судили — заочно..."

Прокурор дал нам разрешение на свидание с мужьями. В ту пору я жила на квартире Сарры Гехман, жены одного из осужденных, Якова Вихмана. Сарра была в командировке, но я имела с ней связь. Когда прокурор объявил, что наши мужья осуждены, я дала Сарре телеграмму. Она не приехала. Тогда я взяла передачу и сама пошла в тюрьму на свидание с Вихманом. Однако он отказался от встречи со мной и потребовал, чтобы пришла Сарра. Я дала ей вторую телеграмму — на этот раз с успехом.

Когда Сарра встретилась с мужем, он отдал ей свое старое пальто, в котором находился в тюрьме. Она спросила, почему он его отдает, ведь в Сибири будет, наверняка, холодно. Он что-то пробормотал: мол, пальто равное, пусть зашьет и пришлет ему в лагерь, — и между делом произнес на иврите слово "лацкан". Надзиратели, конечно, ничего не поняли, а мы с Саррой, когда она вернулась, тут же бросились распаривать этот лацкан — и обнаружили в нем кусок белой ткани, вырванный из рубахи. На нем Яков писал:

"На допросах меня ни о чем не спрашивали, а дали готовые напечатанные листы, где было написано, что в Палестине мы проходили специальные курсы, где нас учили, как вести антисоветскую пропаганду, как агитировать евреев ехать в Палестину, как маскировать себя, и еще — что мы построили

коммуны для маскировки, и в партию вступили для того же, чтобы обмануть советскую власть, а потом разъехались по всей стране, чтобы выполнять задание сионистов. Нам говорили, что наш руководитель Элкинд уже сидит в московской тюрьме и во всем признался, но мы не верили. пытки, которые эти садисты применяли, чтобы заставить подписать, человеческий мозг вообразить не в состоянии. Мы решили, что в лагере еще, может, останемся в живых, но здесь... Я подписал, когда дуло нагана было прижато к моему виску, вот так..."

Еще Яков писал, что после первого суда их никто не вызывал и ни о чем не спрашивал. А последнюю фразу мы с Саррой долго не могли понять: "Я счастлив, что выдержал все пытки и сумел не втянуть тебя в эту пропасть..."

Они не вернулись.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"**

выпускает новую книгу

**НИНА ВОРОНЕЛЬ.**

**ШЕСТЬЮ ВОСЕМЬ – СОРОК ВОСЕМЬ**

*(сборник фантастических пьес)*

Один из критиков назвал эти остроумные, веселые и торжествующе-добрые пьесы "поучительным чтением для взрослых мизантропов". Но это прежде всего — увлекательное чтение для всех, кто любит юмор и игру, независимо от возраста.

Предполагаемый объем — 200 стр. Цена — 14 долл.

При предварительном заказе в издательстве цена 11 долл. Заказы и чеки принимаются по адресу: "Moscow-Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

## ЮБИЛЕЙНОЕ – ИРОНИЧЕСКОЕ

### ЛЮБИМОВУ – 70 ЛЕТ

(отрывки из капустника, представленного на юбилейном  
вечере силами Реховотского клуба еврейской  
интеллигенции из СССР)

Внимание, внимание!

От Суэцкого информбюро! 30 сентября 1987 года в столице нашей Родины Иерусалиме произведен запуск космического корабля "Юбилей" с "Добрим человеком" на борту. Корабль режиссирует бывший гражданин Советского Союза, а ныне гражданин Соединенных Штатов Израиля Любимов Юрий Петрович, 1917 года рождения, уже беспартийный там, еще беспартийный здесь. Юбиляр благополучно перенес переход в состояние невесомости и впервые в жизни чувствует себя отлично. Сегодня, 5 октября, корабль приземлился в окрестностях города Реховота, где юбиляру будет присвоен почетный титул "старый реховотник".

К исполнению Гимна Суэцкого Союза просим всех встать!

### Гимн Суэцкого Союза

Союз нерушимый евреев свободных  
Сплотила навеки еврейская грусть.  
Да здравствует созданный волей народа  
Великий Израиль, хоть маленький пусть!  
Славься, отечество  
Наше любимое...  
Сделав его театральным вождем,  
С Юрий-Петровичем,  
С нашим Любимовым  
Всяких арабских врагов победим!

*Александр Гольдман*

### ОБРАЩЕНИЕ ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ К ЮБИЛЯРУ

*(почти по М. Цветаевой)*

Не пожелал в ногах лежать  
И власть прогнившую и ржавую,

Не побоясь вождей послать,  
Равнял с китайскою державою.  
Жить приказал в сплошном огне,  
Битком — Таганка опустелая...  
Любимов, что ты сделал мне?  
Любимов, что тебе я сделала?  
Еще вчера в руках держал,  
Еще вчера газеты хаяли,  
Враз обе рученьки разжал —  
И вот теперь живешь в Израиле.  
А тут страна в сплошном говне,  
От моря Черного до Белого...  
Любимов, что ты сделал мне?  
Любимов, что тебе я сделала?  
Ты, говорят, богат, как Крез,  
Не зря ж давно косился в сторону,  
К твоим услугам "Мерседес", —  
А мог бы ездить в "Черном вороне"!  
Оставил нас играть "На дне"...  
Пять лет почти, как не у дела я...  
Любимов, что ты сделал мне?  
Любимов, что тебе я сделала?  
Любому дай нас главрежу,  
Хоть гениальному, хоть смелому,  
Я и тогда тебе скажу:  
"Любимов, что тебе я сделала?"

*Георгий Дризлих*

## ОБРАЩЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ К ЮБИЛЯРУ

*(почти по А. Пушкину)*

Театр уж полон, ложи блещут,  
Партер и кресла — все кипит,  
В райке нетерпеливо плещут  
И, взвившись, занавес шумит.  
Волшебный край! Там в наши годы  
Сатиры смелый властелин  
Блистал Любимов, друг свободы,  
Аристократ и гражданин.  
О сколько раз невсильны дани  
Народных слез, рукоплесканий  
С молодой Демидовой делил.  
Там наш Любимов воскресил  
Шекспира гений величавый

И правил властною рукой,  
Там Мастер потерял покой,  
Высоцкий там венчался славой,  
Там, там, под сению кулис,  
Младые дни мои неслись.  
Услышу ль вновь я ваши хоры?  
Узрю ли русской Терпсихоры  
Душой исполненный полет?  
Где взор унылый их найдет —  
В Нью-Йорке, Лондоне, Париже  
Или к Святой Земле поближе?  
Туда, туда отправлюсь я!  
Ведь вреден Север для меня...

*Александр Гольдман*

## **НЕСКОЛЬКО ЗОНГОВ ИЗ ЮБИЛЕЙНОГО СПЕКТАКЛЯ**

### **Зонг о зарезанном спектакле**

Над павшим спектаклем не ставят крестов,  
Актеры над ним отрыдают,  
Процедит начальничек несколько слов,  
И тут же бюджет закрывают  
Здесь билась вчера режиссерская мысль, —  
А вот схоронили навечно  
И пьесу, и внятный отысканный смысл...  
Искусство — оно скоротечно.  
Здесь нет панихид, нет прощания слов,  
Лишь стиснуты зубы покрепче...  
Над павшим спектаклем не ставят крестов,  
Но разве от этого легче?

### **Зонг о Светлане Аллилуевой, современнице юбиляра**

Дремлет Сталин пьяный  
Тихо у стола...  
Что же ты, Светлана,  
Каплеру дала?  
Как же ты, имея  
Женихов полки,  
Выбрала еврея  
В по-лю-бов-ни-ки?  
Сказано ведь было —  
Ты жидов не трожь...

Чем тебе Любимов,  
Скажем, нехорош?  
Ты доверься папе,  
Ты уж потерпи...  
Над тобой не Капле...р  
Спи, Светлана, спи...  
Приказал Алешу  
Я в Сибирь сослать...  
Папка — он хороший:  
Мог ведь расстрелять!

#### **Зонг об исключении Любимова из рядов КПСС**

Любимов, ты остался с носом,  
И наши выводы просты:  
За неуплату членских взносов  
Из наших членов изгнан ты.  
Ах, наша партия нетленна,  
Теперь тебя мы будем без...  
Не надо нам такого члена —  
И ни в КП, и ни в СС!

*Георгий Дризлих*

#### **Песня об эмиграции**

Быть эмигрантом и не просто, и не сладко,  
И с каждым годом все, конечно, тяжелей,  
И в государстве датском тоже нет порядка,  
Но ты о прошлом понапрасну не жалея  
Нет на березе места ветке Палестины,  
Ты твердо знаешь эту истину, еврей...  
В ОВиР уходят настоящие мужчины,  
Трус — выбирает хоккей!

#### **Песня об алии**

Здесь вам не Россия,  
Здесь климат иной,  
Идет алия волна за волной  
И вся страна как один гигантский ульпан,  
И можно свернуть,  
Сохнут обогнуть,  
Но мы выбираем трудный путь,  
Опасный, как военная тропа.  
Ты принял решение —  
Ни шагу назад,

И пусть от волненья колени дрожат,  
И сердце готово от боли бежать из груди  
Весь мир на ладони,  
Ты счастлив и нем,  
И только немного завидуешь тем,  
Исход у которых еще впереди...

### Песня об Израиле

Березки и осины клонятся на ветру,  
А я в стране хамсинов страдаю поутру.  
О, если бы с похмелья — считал бы: повезло,  
Но не повинно зелье, я трезвый, как стекло.  
Не то, чтоб не хватает нам этого добра,  
Здесь водку отпускают с семи часов утра.  
Снабжают нас отлично, прилавки бьют ключом  
Смирновской, и Столичной, и местным первачем.  
Нет, дело не в отраве, я не был пьян в дугу,  
И голову поправить я пивом не могу.  
Не пью я, больше, братцы, проклятое вино,  
И вусмерть набираться мне больше не дано.  
Нет счастья иудею и в родственном кругу:  
Я больше не балдею, я вздрогнуть не могу.  
Нет, пить мне нет резона — одни шипы без роз.  
Остались в прошлом зона, метели и мороз,  
Березки и осины, ознобы на ветру...  
Я по другим причинам страдаю поутру.

*Александр Гольдман*

### ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЗОНГОВ ОБ ОСТАВЛЕННОЙ РОССИИ

#### Зонг о перестройке

*(почти по Вертинскому)*

Мчится перестройка... Но не верю,  
Что проделать ей далекий путь...  
Прежде, чем начнете это "пере",  
Вы сперва постройте что-нибудь...  
Ах, птица-троечка, ах, перестроечка,  
Гуди-ликуй, обманутый народ,  
Разит шинелями  
с чуть-чуть шанелями  
Дубовый запах  
липовых свобод...

## **Зонг о гласности**

*(почти русская народная)*

Эх, гласность!  
Всюду гласность!  
Но  
    не дрем-лет  
        Гос-  
            безопасность!  
А когда  
    все это  
        кон-  
            чится,  
Включим мы магнито-  
                    фончики...  
Тем, кто болтали,  
Нас раздражали,  
Мы припомним эту глас-  
                    ность...

## **ФИНАЛЬНЫЙ ЗОНГ**

Зазвучали мы чуточку грустненько,  
А к финалу звучим веселей...  
Режиссеров находят в капустнике,  
Как в капусте — обычных людей.  
    Милый Юрий Петрович Любимов,  
    Вам и Воланд не брат, говорят,  
    А "Закат" ваш в театре "Габима" —  
    Он не ваш режиссерский закат...  
Здесь у нас до черта чертовщины,  
Здесь неясен спектакля конец...  
Пусть в Москве вы солидный мужчина,  
А в Израиле — просто юнец.  
    Так что скажем вам: молодо-зелено,  
    Позади половина пути,  
    Так как жить нам в Израиле велено  
    Лет хотя бы до ста двадцати...



*Главный редактор* — Рафаил НУДЕЛЬМАН

*Редакционная коллегия:*

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,  
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, Н. РУБИНШТЕЙН,  
М. ХЕЙФЕЦ, Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией* — Мириам БАР-ОР  
*технический редактор* — Наталья РУБИНА

*Всю корреспонденцию направлять  
по адресу: "22", Р. О. Б. 7045, Рамат-Ган.  
Телефон редакции — /031-394525*

**Представители журнала за рубежом:**

**США:** L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805.

**ФРГ:** L. Roitman, 67 Oettingenstr. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22.

**Великобритания:** R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4 4DD.

**Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.**

**Стоимость годовой подписки в Израиле — 50 шек., за рубежом — 40 долл. (авиапочтой в Европу — 50, в США — 56 долл.), для организаций — 50 долл. (авиапочтой в Европу — 60, в США — 66 долл.).**

**Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС", ул. Рош-Пина 22, Тель-Авив**

# את סליף בון

סלפאק יגיע היום לישראל • "מסום שהישראלים מאת כחבי סוכנויות הידיעות במוסקבה - אל במספר 17 שנה, יצא אתמול מברית-הישראלים. בפרס יצא, קיבל נכח ל כ בוינה ודשני, אמר סלפאק עם הגיעו ל פרס נובל התקבלו סלפאק ואי יאלימי פנים בשמה של - אל - ויתר לה דומברג - ייטיח - את -

## אל עלות ליל היהודי מאש

להמש שנות גלות ליל בולגו רירתו במוסקבה ז יצאו בניו, אלכסנדר לא ראה אותם. ולוח קיבל סלפאק השנה התפטר ופתח פני שעלה למסום לו ז בריה"מ ברגשות זל, אך אני עצוב, ז שים, אשר רוצים ג יים סובייטיים קיבל מט 945 בלבד בכני המפורסמת ביותר, יבישה את בקשתו ק. נרדל אמרה, כ ישה זאת מסום /, היא אמרה. כיגו, כותב העני זוראה מסוכ - מ. שום שהישראליות ואשר עלייתו זא מגריר בקרק בדרום, הסוכן מ אפסל. ש.א.פי, ז לורע מורא ז שנה, קיבל ז לעזוב את המו עד אשר כלתו יגיע למוסקבה לר נצויעו, אך האמ אל"י, ראה כתבה בעמ' 18



שלנו, יהודי יישיש, הומני אותי ולדבר. ניר, נא השני ל



שעשיתי במוסקבה לפני שהוצעתי לראו שמשפתו קיבלה יהודי יציאה ובקושי לישראל.



החלטתי לעלות לישראל ובני 71 בציאה. בעבודה הגשתי בקשה לקבל המהנדס הראשי במכון היה אנטישמ מנישה רוח' והוא היה שואל: איזה היה זה, בכלל לא שייך לך. ואני שייך לך, זה של המדינה. הוא ייש שורשים בארמה הזו ואר שאלתי חברה שלי למה הוא הוא מתכוון לומר שאת יהוד כשהתלחתי לפגוש אסרות יציאה, כמה מהם כדי שלא תזיה סיבה לך 70 נדרש עם גורמי יבואו במגע עם גורמי אנשים בחו"ל. חברי חתמתי עלול לה אמרתי: אני ארא שאינני פוחדת זה.

מכתבים מיוני 5 י ב' בכל ליבם. יחוב ספר או חסרי כורה כילה לשרוד לך לשרוד, אל לא לעזור לחצו עמדה מאחורי כל זעת. חברי במוסקבה ובכ אפילו הכלבה שלי סיי

ז הדחה לו התנסות עצוב י: יודעת שאנשים במחנה אינצ'אטי ואסור להשוות בין נכרתי אני. מנקודת ביו ז רגיל ועכרתי אותו מבלי לה להסביר איך מודע לא ימים שפרים ועוד לא מושלם אי ריאליסטי

ולאו ישראל. אמש לישראל. בישות-היציאה מברית-הי ישראל. המתגורר ב... סני הזוג בנם. אלכסנדר, המתגורר ב... עמקים שמענו שלא נתראה את יציאת סלפאק בפעו... שנים רבות. את סירובם לאפשר את יציאת סלפאק ב... סלפאק ואשתו, מאריה, הוגלו ב-1978 לאחר שתלנו על ה... אשתך הוזמנו בני הזוג לתור פסח עם מבוים האמריקאי. גר'... באוקטובר, קיבל לפתע סלפאק יהודי יציאה. מוסום יתח מזוד הערב ב-7. ובמקום תתקיים קבלת פנים. בתמ... (כתבה: נדב שרגאי וסופר אישי בווינה)

במכ העובדי להגר. יום ש... יבין' כותב, סלפאק הברס' ר החליטו ר זח ושל נחלים מנוטה שבע את סיבת מותו. ו-1 יעיו להשגתו כנסת לואיס יעיו למסקנה, כי הוא היה תמיד הגיעה לאתר' זעתי מסר